

Николай Лесков Праведники

Предисловие

«Без трех праведных несть граду стояния».

При мне в сорок восьмой раз умирал один большой русский писатель. Он и теперь живет, как жил после сорока семи своих прежних кончин, наблюдавшихся другими людьми и при другой обстановке.

При мне он лежал, одинок во всю ширь необъятного дивана и приготавливался диктовать мне свое завещание, но вместо того начал браниться,

Я могу без застенчивости рассказать, как это было и к каким повело последствиям.

Смерть писателю угрожала по вине театрально-литературного комитета, который в эту пору бестрепетною рукою убивал его пьесу. Ни в одной аптеке не могло быть никакого лекарства против мучительных болей, причиненных этим авторскому здоровью.

— Душа уязвлена и все кишки попутались в утробе, — говорил страдалец, глядя на потолок гостиничного номера, и потом, переводя их на меня, он неожиданно прикрикнул:

— Что же ты молчишь, будто черт знает чем рот набил. Гадость какая у вас, питерцев, на сердце: никогда вы человеку утешения не скажете; хоть сейчас на ваших глазах испускай дух.

Я был первый раз при кончине этого замечательного человека и, не поняв его предсмертной истомы, сказал ему:

— Чем мне вас утешить? Скажу разве одно, что всем будет чрезвычайно прискорбно, если театрально-литературный комитет своим суровым определением прекратит драгоценную жизнь вашу, но...

— Ты недурно начал, — перебил писатель, — продолжай, пожалуйста, говорить, а я, может быть, усну.

— Извольте, — отвечал я, — итак, уверены ли вы, что вы теперь умираете?

— Уверен ли? Говорю тебе, что помираю!

— Прекрасно, — отвечаю, — но обдумали ли вы хорошенько: стоит ли это огорчение того, чтобы вы кончились?

— Разумеется, стоит; это стоит тысячу рублей, — простонал умирающий.

— Да, к сожалению, — отвечал я, — пьеса едва ли принесла бы вам более тысячи рублей и потому...

Но умирающий не дал мне окончить: он быстро приподнялся с дивана и вскричал:

— Это еще что за гнусное рассуждение! Подари мне, пожалуйста, тысячу рублей и тогда рассуждай как знаешь.

— Да я, — говорю, — почему же обязан платить за чужой грех?

— А я за что должен терять?

— За то, что вы, зная наши театральные порядки, описали в своей пьесе всех титулованных лиц и всех их представили одно другого хуже и пошлее.

— Да-а; так вот каково ваше утешение. По-вашему небось все надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости.

— Это у вас болезнь зрения.

— Может быть, — отвечал, совсем обозлясь, умирающий, — но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзости, не вижу, и за то суще мне господь бог и поможет теперь от себя отворотиться к стене и заснуть со спокойной совестью, а завтра уехать, презирая всю мою родину и твои утешения.

И молитва страдальца была услышана: он «суще» прекрасно выспался и на другой день

я проводил его на станцию; но зато самым мною овладело от его слов лютое беспокойство.

«Как, — думал я, — неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, — одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живет в моей и твоей душе, мой читатель?»

Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых «несть граду стояния», но куда я ни обращался, кого ни спрашивал — все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так, кое-каких хороших людей и тот, и другой знавали. Я и стал это записывать. Праведны они, думаю себе, или неправедны, — все это надо собрать и потом разобрать: что тут возвышается над чертою простой нравственности и потому «свято господу».

И вот кое-что из моих записей.

ОДНОДУМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В царствование Екатерины II, у некоторых приказного рода супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю кн. Гагарина, значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары; кроме того, значится «довольно деятельная торговля известью и дегтем». В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы.

Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка, или, впоследствии, Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозвищу «Однодум».

Родители Алексашки имели собственный дом — один из тех домиков, которые в здешней лесной местности ничего не стоят, но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или по крайней мере о них мне ничего не сказано.

Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, «ничего не стоил». Но вдова-приказничиха сама дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая «в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», — простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно.

Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным — с кашею и горохом; вдова выносила их в ночвах на площадь и продавала по медному пятак за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку «мастерице»; мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподавал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления.

Дьяк, «отучив» Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдовый сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.

Алексашке тогда было четырнадцать лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю.

Молодой Рыжов пороною удался в мать: он был рослый, плечистый, — почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал стеною на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, — та считалась непобедимою. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи.

В четырнадцать лет он уже считал грехом есть материн хлеб; поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен; к торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил.

В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения: между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые носили суму с пакетами. Это называлась пешая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора в месяц «на своих харчах и при своей обуви». Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным: не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству?

Всякий, кому довелось о том слышать, — раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболіе устроило Рыжовкина Алексашку.

— Он, — говорили, — сирота: ему больше господь простит, — особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогою медведь или волк задерет и он на суд предстанет, одно отвечать: «не разумел, господи», да и только.

И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего?

Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик: он смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Бориса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, — не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудака «Однодум». Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая сума до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.

Книга эта была Библия.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову «вышел чин». После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом: охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, — опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь

свои пироги.

Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например лет за двенадцать, — надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения.

Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое богословие которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис и все богословие.

Старый человек, знавший во время своей юности восьмидесятипятилетнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя «Однодума», говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то «дуб на болоте», где он особенно любил отдыхать и «кричать ветру».

— Стану, — говорит, — бывало, и воплю встречу воздуху:

«Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а людие мои неразумеша. Семя лукавое; сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь, — всякое сердце в плач. — Что ми множество жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хочу. Не приходите явиться ми. И аще принесете ми семидал — всеу; кадило мерзость ми есть. Новомесячий ваших, и суббот, и дне великого не потерплю: поста, и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ненавидит душа моя. — Егда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления, — не услышу вас. Измыйтесь, отымите лукавство от душ ваших. Научитесь добро творити, и приидите истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное — убелю их яко снег. Но князи не покоряются, — общницы татем любяще дары, гоняще воздаяние — сего ради глаголет Саваоф: горе крепким, — не престанет бо ярость моя на противных».

И выкрикивал сирота-мальчуган это «горе, горе крепким» над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем «сухие кости» лежат, не шевелятся; не нарастает на них живая плоть, и не оживает в груди истлевшее сердце.

Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, — по его словам: «дышал любовью и дерзновением».

Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте.

Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии «горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое.

Впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскою наградою.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ту отдаленную пору, к которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что, по понятию многих русских людей, каждый городничий был «третье лицо в государстве». Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего — монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве — государь, правящий всем государством; за ним второе — губернатор, который правит губернию, и потом прямо за

губернатором непосредственно следует третье — городничий, «сидящий на городу». Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии: исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии и, кто их ни сек, — одинаково ногами перебирали.

Введение новых судебных учреждений, ограничившее прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов, попортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, — по крайней мере для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством.

Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу «Однодум» — все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки: доступ к ним был труден, и предстояние им «сопряжено со страхом»; они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные, по усердию, даже земно; протопопы их «сретали» с крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала, в лице немногих избранных своих представителей, просить их «в восприемники к купели». И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили «ризки» и принимали почет «в лице пославшего». Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, не доброму и не серьезному.

Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве: в Солигаличе умер старый квартальный, и Рыжов задумал проситься на его место.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты; но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалованья по этой четвертой в государстве должности полагалось всего десять рублей ассигнациями в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый квартальный «донимал» с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь «по касающемуся делу». Без этого «донимания» невозможно было обходиться, и даже сами вольтеррианцы против этого не восставали. О «неберущем» квартальном никто и не думал, и потому если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи.

Городничий, к которому Рыжов обратился за квартальничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов, — и он был сделан солигалическим квартальным, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки: блюсти вес верный и меру полную и утрясенную.

Городничий сделал ему только одно внушение:

— Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай.

Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний.

Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен: придя на базар, он разместил там возы; рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частью урезонил, а частью поучил рукою властно, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал, и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающее ему «царь жалует, а мзду брать бог запрещает».

День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше: обошел весь город, и кого застал на ходу в поздний час, расспросил: откуда, куда и по какой надобности? С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному-другому пьяному уху надрал, да будошникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился к городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в будошниках.

— Проводят, — говорит, — они время в праздности и спросонья ходят без надобности, — людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу; одним будошникам могло не нравиться, да закону не соответствовало; но будошников кто думал спрашивать, а закон... городничий судил о нем русским судом: «закон — что конь: куда надо — туда и вороти его». Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: «в поте лица твоего ешь хлеб твой», и по тому закону выходило, что всякие лишние «приставники» — бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу, — «потному».

И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр, и опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда: не свáрился народ — не кормил воевод, — ниоткуда ничто не касалось, и, кроме уборки огорода, не было правителю прибылей ни больших, ни средних, ни малых.

Городничий возмутился духом, вник в дело, увидал, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение.

Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия, но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет.

— Пресечь советую оный торг, ей ныне по сыну не подобающий, и уничтожится тогда ему оная его непомерная гордыня, и он прикоснется.

— Пресеку, — отвечал городничий и сказал Рыжову: — Твоей матери на торгу сидеть не годится.

— Хорошо, — отвечал Рыжов и взял мать с ночвами с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему, — не прикасался.

Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупко похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли.

Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у

прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ретузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести за 2 руб. 87 коп. месячного жалованья, на которое жил, служа верою и правдою.

К тому же произошел случай, потребовавший денег: умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги.

Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, «скаречно», чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и сорокоуста не заказал.

Еретик! И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли, — первая за пригон на ее огород бударей, а вторая по какой-то тайной причине, лежавшей в ее «характере сопротивления».

В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и кротко сказал:

— За усердие благодарю, а даров не приемлю. Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две коленкоровые манишки своего древнего рукоделья от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудак и этого не взял.

— Нельзя, — говорит, — дары брать, да и, одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не нахожу.

Тут и сказала протопопица мужу в злости зазорное слово:

— Вот бы, — говорит, — кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.

Протопоп осердился, — велел жене молчать, а сам все лежал да думал:

«Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать».

Так он этим забредил и с бреда составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Подходил Великий пост, и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия.

С этою целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух полосатого квартального на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и, гневом божиим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного и за что он всего касающегося чуждается и даров не приемлет. А затем сказал: «Увидим по открытому страхом виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух».

Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кийждо своя отыскать может.

Городничий тоже сделал свое дело.

— Нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе, — сказал он, — надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение.

Рыжов отвечал, что он согласен.

— Изволь же, братец, говеть и исповедаться.

— Согласен, — отвечал Рыжов.

— И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячучись. Я к протопопу на дух хожу, — он всех в духовенстве опытнее, — и ты к нему иди.

— Пойду к протопопу.

— Да и иди ты на первой неделе, а я на последней пойду, — так и разделимся.

— И на это согласен.

Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти.

— Каялся, — говорит, — в одном, другом, в третьем, — во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня «по касающему» доносить не думает. А что «даров не приемлет», — то это по одной вредной фантазии.

— Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается?

— Библии начитался.

— Ишь его, дурака, угораздило!

— Да; начитался от скуки и позабыть не может.

— Экий дурак! Что же теперь с ним сделать?

— Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.

— Неужели до самого до «Христа» дошел?

— Всю, всю прочитал.

— Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато такие люди что юродивые, — они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова «по касающему», отец протопоп преподавал городничему мудрый, но жестокий совет, — чтобы женить Александра Афанасьевича.

— Женатый человек, — развивал протопоп, — хотя и «до Христа дочитается», но ему свою честность соблюсти трудно: жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так дойма, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит, а станет к дарам примчив и начальству предан.

Городничему совет пришел по мыслям, и он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот как знает, а непременно женился, потому что холостые люди на политических должностях ненадежны.

— Как хочешь, — говорит, — брат, а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься.

— Почему?

— Холостой.

— Что же в том за укоризна?

— В том укоризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь теперь что? — схватил свою бибель да и весь тут.

— Весь тут.

— Вот это и неблагонадежно.

— А разве женатый благонадежнее?

— И сравненья нет; из женатого я, — говорит, — хоть веревку вей, он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет, а холостой сам что птица, — ему доверять нельзя. Так вот — либо уходи, либо женись.

Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, нимало не смутился и отвечал:

— Что же, — и женитьба вещь добрая, она от бога показана: если требуется — я женюсь.

— Но только ты руби дерево по себе.

— По себе вырублю.

— И выбирай поскорее.

— Да у меня уже выбрана: надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие. Городничий над ним посмеялся:

— Ишь ты, — говорит, — греховодник, — будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену высмотрел.

— Где грехам не водиться! — отвечал Александр Афанасьевич, — полон сосуд мерзости, а только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть.

— А где она у тебя, — не здешняя, верно, — дальняя?

— Да так, и не здешняя и не дальняя, — у ручья при болотце живет.

Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и заинтересованный, ждет когда его чудака вернется и что скажет?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рыжов действительно срубил дерево по себе: через неделю он привел в город жену — ражую, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысло, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданым.

Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы Козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья за болотом и слыла злою колдуньей. Все думали, что Рыжов взял себе колдунью девочку в работницы.

Это отчасти так и было, но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, — перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше; здоровые руки его жены никогда не были праздны: она себе и пряла и ткала, да еще оказалась мастерицею валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которою библейский чудака мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего.

Обращение с женою у Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное: он ей говорил «ты», а она ему «вы»; он звал ее «баба», а она его Александр Афанасьевич; она ему служила, а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала, — когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиною, что у них появился плод супружества. Плод был один — единственный сын, которого «баба» выкормила, а в воспитание его не вмешивалась.

Любила ли «баба» своего библейского мужа или не любила — это в их отношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу — это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоты она не знала, и Александр Афанасьевич не желал пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастьем; этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большом довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам — в остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти «баба» летнею порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но к сожалению ее, заготавливала их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда «баба» однажды насолила кадочку груздей солью, которую ей подарил в мешочке откупщик, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, «бабу», патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее епитимий за ослушание против заветов мужа, а грибы целою кадкою собственноручно прикатил к откупщику двору и велел взять «куда хотят», а

откупщику сделал выговор.

Таков был этот чудака, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего; сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующееся ничьим особенным сочувствием, и ничьего особенного сочувствия не искал; солигаличские верховоды считали его «поврежденным от Библии», а простецы судили о нем просто, что он «такой-некий-этакой».

Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное.

Рыжов нимало не заботился, что о нем думают; он честно служил всем и особенно не угождал никому; в мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт — философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее — это неизвестно, но он не был горд, и своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительною надписью: «Однодум».

Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа — осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его «Однодум» пропал, да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего «Однодума», были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы «Однодума», о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на оклейку стен или, может быть, и сожжены, во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за которые тогда и автора и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь.

Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалича происшествия.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не могу с точностью вспомнить и не знаю, где справиться, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской, впоследствии граф и известный министр внутренних дел. Сановник этот, по меткому замечанию одного его современника, «имел сильный ум и надменную фигуру», и такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю.

Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку.

Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова солигаличским квартальным, и притом еще при некоторых особенных обстоятельствах.

По вступлении Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру многих деятелей, прежде всего «размел губернию», то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своею должностью чиновников, в числе коих был и солигаличский Городничий, при котором состоял квартальным Рыжов.

По изгнании со службы негодных лиц новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не попасть на таких же, а может быть, еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, «ориентироваться».

С этою целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии,

затрепетавшей странным трепетом от одних слухов о его «надменной фигуре».

Александр Афанасьевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом замещительстве отменного от прежних «сталых» порядков, — этого не знаю; но, разумеется, он не брал взятки на городничестве, как не брал их на своем квартальничестве. Образа жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял, — даже не садился на городнический стул перед зеркало, а подписывался «за городничего», сидя за своим изъеденным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозом его жизни. У Александра Афанасьевича и после многих лет его службы точно так же, как и в первые дни его квартальничества, не было форменного платья, и он правил «за городничего» все в том же просаленном и перештопанном бешмете. А потому на представления письмоводителя пересесть на место он отвечал:

— Не могу: хитон обличает мя, яко несть брачен.

Все это так и было записано им собственною рукою в его «Однодуме», с добавлением, что письмоводитель предлагал ему «пересесть в бешмете, но снять орла на зеркале», однако Александр Афанасьевич «оставил сию непристойность» и продолжал сидеть на прежнем месте в бешмете.

Делу полицейской расправы в городе эта неформенность не мешала, но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде «надменной фигуры». Александр Афанасьевич в качестве градоначальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Солигалича, а также отвечать на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать.

Рыжов действительно имел задачу: как ему отбыть все это в своем бешмете? Но об этом нимало не заботился, зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов своим безобразием мог на первом же шагу прогневить «надменную фигуру». Никому и в голову не приходило, что именно Александру-то Афанасьевичу и предстояло удивить и даже обрадовать всех пугавшую «надменную фигуру» и даже напороочить ему повышение.

Вообще заботливый Александр Афанасьевич нимало не смущался, как он явится, и совсем не разделял общей чиновничьей робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало, или, по выражению некоего духовного летописца, «жестко подвалилися». Тогда губернаторы ездили «страшно», а встречали их «притрепетно». Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь, и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою; на шлагбаумы заново наводилась национальная пестрядь казенной трехцветки; бударям и инвалидам внушали «голова и усы наваксить», — из больниц шла усиленная выписка в «оздоровку». Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли; из деревень на тракты сгоняли баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты; на станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмещивали беспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимою душевною твердостью заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади «выстаивались» под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства болтливой прессы

всяк, стар и млад, знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше, и все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразным своим чувствам. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства — в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, а кончалось веселою операциею обметания стен и мытья полов. Поломойство — это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликovalo, имея одну заботу: пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертную скукою соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастья, пользовались здесь пленительными правами своего пола — услаждать долю смертных. Декольте и маншкурт, с которыми они приступали к работе, столь возбuditельно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые «поломойные дети» — не признанного, но несомненно благородного происхождения.

В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ретузы и приготавливали слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала провешивали в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных; потом мундиры выбивали прутьями, растянув на подушке или на войлочке; затем их трясли, еще позже их штопали, утюжили и, наконец, раскидывали на кресле в зале или другой парадной комнате, и в заключение всего — в конце концов их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленскою водою, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещеньева дня до другого и нимало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением «Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние Твое».

Исходя в сретение особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при оффенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению; отцам же нашим, имевшим настоящую, крепкую веру, давалось по их вере.

Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготавливался тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда; но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал, и тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию, так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать со крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге, к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответствующую сторону.

Это служило сторожу развлечением, а обществу ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала; случалось, что сторож обладал способностью альбатроса: он спал, ходя и кланяясь, а спросонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету, и тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивавшееся тем, что чиновники снова размундиривались и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли.

Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всю свою тягостю главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился

вскачь навстречу, первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы и потом опять, стоя же, скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники «играть на понижение». Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят: подножек им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов.

Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем; он первый изведывал: лют или благостен прибывший губернатор. И, надо правду сказать, от городничего многое зависело: он мог испортить дело вначале, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать; а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение.

Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественна была тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобразного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого, вдобавок ко всем его личным неудобным качествам, весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужичьей шапке.

Вот что первое должно было ударить прямо в очи «надменной фигуре», о которой уже досужие языки довели до Солигалича самые страшные вести... Чего было ожидать доброго?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние; он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни у одного жителя ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрою и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал:

— Не должно вводить народ в убытки: разве губернатор изнуритель края? он пусть проедет, а забор пусть останется. — Требования же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет достатков и что, говорит, имею, — в том и являюсь: богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести, — по платью встречают — по уму провожают.

Переупрямить Рыжова никто не надеялся, а между тем это было очень важно не столько для упряма Рыжова, которому, может быть, и ничего с его библейской точки зрения, если его второе лицо в государстве сгонит с глаз долой в его бешмете; но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневется, увидя такую невидаль, как городничий в бешмете.

Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигаличские чины добивались только двух вещей: 1) чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора, и 2) чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть?

Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить и городничего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжова никуда не годилось.

Он сказал: «Это дар, а я даров не приемлю». Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелый в сужденье отец протопоп. Он не видал нужды ни в какой складчине ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее, а всех провиннее, по его мнению, был откупщик.

На него все должно и пасть. Он один обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал, сретая губернатора, упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайноглаголемой запрестольной молитве. Кроме того, отец протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю, сверх ординарии, тройную порцию рому, французской водки и кизлярки, до которых заседатель охоч. И пусть заседатель за то отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию и на улицу не выходит, а свой мундир, одной с полицейским формы, отпустит Рыжову, от чего сей последний, вероятно, не найдет причины отказаться, и будут тогда и овцы целы и волки сыты.

План этот тем более был удачен, что непременный заседатель ростом-дородством несколько походил на Рыжова, и притом, женись недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, оставалось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжелой болезни и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить — и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливый Александр Афанасьевич, для общего счастья, согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ретузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ретузами положено было закрыть соответственно же канифасовою надшивкою, которою этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злему року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить, и притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестряди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, и еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалич. Тотчас же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка с телегою, в которую Александр Афанасьевич должен был вспрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу «надменной фигуре».

В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладающий Рыжов. Он решился «быть всегда на своем месте»: перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде — в мундире и белых ретузах, с рапортом за бортом, сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здесь, как столпник, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а напротив, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидеть, как на тракте за клубилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с фореитором, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор.

Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему:

— Батюшка, сбрось штанцы!

— Что такое? — переспросил Рыжов.

— Штанцы сбрось, батюшка, штанцы, — отвечали люди. — Погляди-ка, на каком месте сидел, так к белому, весь шланбов припечатал.

Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительной отчетливостью отпечатались на его ретузах.

Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: «Сюда начальству глядеть нечего» и пустил вскачь тройку навстречу «надменной особе».

Люди только руками махнули:

— Отчаянный! что-то ему теперь будет?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатора Рыжов, но теперь уже всем было самому до себя.

Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезались две фигуры: приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священной водою в «апликовой» чаше, которая ходуном ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением: на площади показалась борзо скачущая тройкою почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ретузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли следовавшую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя, в кургузом мундире, нимало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ретузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этою странностию, значение которой не так легко было понять и определить.

Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты.

Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно «надменную фигуру», в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал: «Благословен грядый во имя Господне», и затем покропил его легонько священной водою.

Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил первый в церковь. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось, — все было «надменно». Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился — ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы, к амвону.

Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностям высшего быть примером для низших, — и благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную.

Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к солее, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес:

— Раб божий Сергей! входи во храм господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, — вот как!

С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал навытяжку.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о солигаличском антике, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова, но о Ланском сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, «сменил свою горделивую надменность умным самообладанием». Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру.

Здесь Ланской принял чиновников — коронных и выборных и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил о Рыжове: что это за человек и каким образом он терпится в обществе.

— Это наш квартальный Рыжов, — отвечал его голова.

— Что же он... вероятно, в помешательстве?

— Никак нет: просто всегда такой.

— Так зачем же держать такого на службе?

— Он по службе хорош.

— Дерзок.

— Самый смирный: на шею ему старший сядь, — рассудит: «поэтому везть надо» — и повезет, но только он много в Библии начитавшись и через то расстроен.

— Вы говорите несообразное: Библия книга божественная.

— Это точно так, только ее не всякому честь пристойно: в иночестве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается.

— Какие пустяки! — возразил Ланской и продолжал расспрашивать.

— А как он насчет взяток: умерен ли?

— Помилуйте, — говорит голова, — он совсем ничего не берет...

Губернатор еще больше не поверил.

— Этому, — говорит, — я уже ни за что не поверю.

— Нет; действительно не берет.

— А как же, — говорит, — он какими средствами живет?

— Живет на жалованье.

— Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет.

— Точно, — отвечает, — нет; но у нас такой объявился.

— А сколько ему жалованья положено?

— В месяц десять рублей.

— Ведь на это, — говорит, — овцу прокормить нельзя.

— Действительно, — говорит, — мудрено жить — только он живет.

— Отчего же так всем нельзя, а он обходится?

— Библии начитался.

— Хорошо, «Библии начитался», а что же он ест?

— Хлеб да воду.

И тут голова и рассказал о Рыжове, каков он во всех делах своих.

— Так это совсем удивительный человек! — воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова.

Александр Афанасьевич явился и стал у притолки, иже по подчинению.

— Откуда вы родом? — спросил его Ланской.

— Здесь, на Нижней улице, родился, — отвечал Рыжов.

— А где воспитывались?

— Не имел воспитания... у матери рос, а матушка пироги пекла.

— Учились где-нибудь?

- У дьячка.
- Исповедания какого?
- Христианин.
- У вас очень странные поступки.
- Не замечаю: всякому то кажется странно, что самому не свойственно.

Ланской подумал, что это вызывающий, дерзкий намек, и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил:

- Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?
- Здесь нет секты: я в собор хожу.
- Исповедуетесь?
- Богу при протопопе каюсь.
- Семья у вас есть?
- Есть жена с сыном.
- Жалованье малое получаете?
- Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся.
- Беру, — говорит, — в месяц десять рублей, а не знаю: как это — много или мало.
- Это не много.
- Доложите государю, что для лукавого раба это мало.
- А для верного?
- Достаточно.

— Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь?

Рыжов посмотрел и промолчал.

- Скажите по совести: быть ли это может так?
- А отчего же не может быть?
- Очень малые средства.
- Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно.
- Но зачем вы не проситесь на другую должность?
- А кто же эту занимать станет?
- Кто-нибудь другой.
- Разве он лучше меня справит?

Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсем заинтересовал его не чуждую теплоты душу.

— Послушайте, — сказал он, — вы чудаки; я вас прошу сесть.

Рыжов сел vis-à-vis с «надменным».

- Вы, говорят, знаток Библии?
- Читаю, сколько время позволяет, и вам советую.

Хорошо; но... могу ли я вас уверить, что вы можете со мною говорить совсем откровенно и по справедливости.

- Ложь заповедью запрещена — я лгать не стану.
- Хорошо. Уважаете ли вы власти?
- Не уважаю.
- За что?
- Ленивы, алчны и пред престолом криводушны, — отвечал Рыжов.
- Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?
- Нет; а по Библии вывожу, что ясно следует.
- Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод? Рыжов отвечал, что может, — и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум».

— Что тут есть пророчественного о прошлом и сбывшемся? — спросил Ланской.

Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал: «Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца».

На отлинеенном поле против этого места отмечено: «Исполнилось при огорчительном

сватовстве Павла Петровича».

— Покажите еще что-нибудь.

Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем: «Издан указ о попенном сборе. Отныне хлад бедных хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания». И на поле опять отметка: «Исполнилось, — зри страницу такую-то», а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра Первого с отметкою: «Сие последовало за назначение налога на лес».

— Но позвольте однако, — спросил Ланской, — ведь леса составляют собственность?

— Да; а греть воздух в жилье составляет потребность.

— Вы против собственности?

— Нет; я только чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло.

— А как Вы судите о податях: следует ли облагать людей податью?

— Надо наложить, и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного.

— Гм, гм! вы ниоткуда это учение не почерпаете?

— Из Священного Писания и моей совести.

— Не руководят ли вас к сему иные источники нового времени?

— Все другие источники не чисты и полны суемудрия.

— Теперь скажите в последнее: как вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали?

— Что пишу, то про себя пишу, а что в храме сделал, то должен был учинить, цареву власть оберегаючи.

— Почему цареву?

— Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными.

— Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь.

Рыжов посмотрел на него «с сожалением» и отвечал:

— А какое же зло можно сделать тому, кто на десять рублей в месяц умеет с семьей жить?

— Я мог велеть вас арестовать.

— В остроге сытей едят.

— Вас сослали бы за эту дерзость.

— Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже и где бы бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его никого не страшно.

Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову.

— Характер ваш почтенен, — сказал он и велел ему выйти.

Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолюдинов.

Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали:

— Он у нас такой-некий-этакой.

Более положительного из них о нем никто не знал.

Прощаясь, Ланской сказал Рыжову:

— Я о вас не забуду и совет ваш исполню — прочту Библию.

— Да только этого мало, а вы и на десять рублей в месяц жить поучитесь, — добавил Рыжов.

Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал:

— Чудак, чудак!

Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего «Однодума» и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солигалич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневною сутолокою, как вдруг нежданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в обревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное: квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство владимирский крест — первый владимирский крест, пожалованный квартальному.

Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сея чести и сего пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского.

Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух:

— Чудак, чудак! — А в «Однодуме» против имени Ланского отметил: «Быть ему графом», — что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову было не на чем.

Кавалер Рыжов жил почти девяносто лет, аккуратно и своеобразно отмечая все в своем «Однодуме», который, вероятно, издержан при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям, было «сомнительно». Рыжов и в вере был человек такой-некий-этакой, но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что кроме «одной дряни», — чем и да будет он помянут в самом начале розыска о «трех праведниках».

Впервые опубликовано — «Еженедельное новое время», 1879.

ПИГМЕЙ

Расскажу вам одно истинное событие, о котором недавно вспомнили в одном скромном кружке, по поводу замечаемого нынче чрезмерного усиления в нашем обществе холодного и бесстрастного эгоизма и безучастия. Некоторым из собеседников казалось, что будто прежде так не было, — им сдавалось, будто еще и в недавнее время сердца были немножко потеплее и души поучастливее, и один из собеседников, мой земляк, пожилой и весьма почтенный человек, сказал нам:

— Да вот как, господа: я сейчас еще знаю у нас в губернии одного старичка, самого мелкопоместного дворянина, настоящего пигмея, который никогда в жизни не играл никакой значительной роли, а между тем он, живучи здесь в Петербурге, по одному благородному побуждению, сделал раз такое дело, что этому даже, пожалуй, и поверить трудно. И если я вам это расскажу, так вы увидите, что может сделать для ближнего самый маленький человек, когда он серьезно захочет помочь ему; — наше нынешнее горе в том, что никто ничего не хочет сделать для человека, если не чаёт от этого себе выгоды.

И рассказчик сообщил нам следующее.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мелкопоместный дворянин, о котором я говорю, назывался С***, он еще здравствует и доживает свой век в своем маленьком хуторочке в К. уезде. Прежде чем состариться, он служил здесь в Петербурге в ведомстве с. — петербургской полиции и на самом ничтожном месте: на обязанности его лежало распоряжаться исполнением публичных телесных наказаний. В то сравнительно весьма недавнее время у нас на святой Руси людей непривелегированного класса секли плетями и клеймили. За свою долговременную службу нынешний старичок С., разумеется, «привел в исполнение» этих наказаний такое бесчисленное множество, что совершенно привык к такому неприятному занятию и

распоряжался этим холодно и бестрепетно, как самым обыкновенным служебным делом. Но вот раз с ним случилось такое событие, что он сам себе изменил и, по собственным его словам, «вместо того, чтобы благоразумно долг свой исполнить — наделал глупостей».

Событие это произошло в 1853 г., когда русские отношения к Франции были очень натянуты и в столице сильно уже поговаривали о возможности решительного разрыва. В это время раз чиновнику С. передают «для исполнения» бумагу о наказании плетью, через палача, молодого француза N, осужденного к этому за самый гадкий поступок над малолетней девочкой. Я не назову вам этого француза, потому что он жив и довольно известен; а как его имя берегла от оглашения скромность «пигмея», то и я не великан, чтобы его выдать.

— Прочел, — говорит С., — я эту бумагу, пометил, и что же еще тут долго думать: отшлепаем молодца яко старца, да и дело с концом; и я дал в порядке приказ подрядчику, чтобы завтра эшафот на площади сладить, а сам велел привести арестанта, чтобы посмотреть на него: здоров ли он и можно ли его безопасно подвергнуть этой процедуре.

Приводят человека такого тщедушного, дохлого; бледный, плачет, дрожит и руки ломает, а сам все жалостно лепечет.

— Ах ты, думаю, господи боже мой: надо же было ему, этакому французскому поганцу, сюда заехать и этакое пакостное дело здесь учинить, чтобы мы его тут на свой фасон как сидорову козу лупили.

И вдруг жаль мне его стало.

— Что, говорю, ты это себе наделал! Как ты дерзнул на бедное дитя покуситься...

А он падает в ноги, ручонки в кандалах к небу поднимает, гремит цепями и плачет.

— Мусье, мусье! Небо видит...

— Что, говорю: «Небо»! нечего теперь, братец, землю обесчестивши, на небо топыриться, — готовься: завтра экзекуция, — что заслужил, то и примешь.

— Я, говорит, занапрасно (он, три года в остроге сидя, таки подучился немножко по-русски).

— Ну, уже это, говорю, мон ами, врешь, — занапрасно бы у нас тебя не присудили: суд знает, за что карает.

— Ей-богу, говорит, занапрасно... вот бог, дье, дье меня убей... и тому подобное, и так горько, так горько бедный плачет, что всего меня встревожил. Много я в своей жизни всяких слез перед казнью видел, но а этаких жарких, горячих да дробных слез, право, не видал. Так вот и видно, что их напраслина жмет...

— Ну, а мне-то, скажите, — что же я, пигмей, могу ему сделать? — мое дело одно, что надо его отпороть, заклеить, да сослать «во исполнение решения», вот и все, и толковать тут не о чем. И я кивнул часовым, чтобы взяли его, потому что для чего же мне его держать, — и самому тревожиться, и его напрасно волновать раньше времени.

— Ведите, говорю, его назад в тюрьму.

Но он, как услышал это, так обхватил мою ногу руками и замер: а слезы или лицо это у него такое горячее, что даже сквозь сапог мою ногу жжет.

— Тьфу, провались ты совсем, думаю, вот на горе свое я с ним разговаривал: и никак его с ноги стряхнуть не могу; а самому мне в ухо вдруг что-то шептать начало: «расспроси его, расспроси, послушай, да заступись».

— Ну, чего тут, помилуйте, заступаться мне, ничтожному исполнительному чиновнику, когда дело уголовным судом решено и уже и подрядчику, и смотрителю насчет палача приказ дан. Какие тут заступничества? А оно, это что-то незримое, знай все свое в ухо шепчет: «расспроси, заступись».

Я и соблазнился: заступаться, думаю, я хоть и не буду, а расспросить, пожалуй, расспрошу.

— Валяй, говорю, рассказывай по всей истине, как дело было! Да только смотри — не ври.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он мне, сколько ему позволяли слезы и рыдания, рассказал, что жил он на Морской у парикмахера; туда ходила к ним, к стригачам, от прачки девочка, двенадцати — не то тринадцати лет, — очень хорошенькая. И говорит, что она не то на его сестренку или, как там по-ихнему, на кузинку его какую, что ли, очень похожа была. Ну, а он, это, знаете, как француз... ну, разумеется, со вкусом тоже и фантазией: нравится ему дитя, — он ей нынче бантик, завтра апельсинчик, после рубль, или полтинничек, бомбошки — все баловал ее. Говорит, без всякой будто цели; а мать-то ее пройдоха была: зазвала его к себе да с девчонкою их и заперла, а девчонку научила ему рожу расцарапать, да кричать, будто ее страшно обидеть хотел. Сбежался народ, акт составили, в тюрьму, — в тюрьме три года продержали и к плетям, да к ссылке присудили.

Выслушал я все это, и все мне показалось это так, как он рассказал, и обратил я внимание на его рубец, что эта девочка ему на носу сделала: глубокий рубец, — зажил, но побелелый шрам так и остался. Престранный шрам: точно нарочно рассчитано, на каком месте его отметить. По большей части это никогда так не бывает: по большей части женщина в таких случаях прямо в глаза, а еще больше в щеки цапает, — потому она, когда ее одолевают, руками со сторон к лицу взмахивает; а это как-то по-кошачьи, прямо в середину, как раз по носу и к губе пущено...

Думаю, чего доброго, бог знает, ведь есть такие проходимки; в полиции как послужишь, так ведь на каких негодяев не насмотришься, и говорю ему, — это вам даже смешно должно показаться, — говорю:

— Ну, хорошо, мусье: если все это так, как ты мне сказал, — то, может быть, бог напраслины не допустит: — молись и надейся.

Он руки у меня расцеловал и забрякал цепями, пошел, а я остался на своем месте и думаю себе: вот и два дурака вместе собрались. Первый он, что меня за пророка почел, а другой я, что ему напрасную надежду подал.

А во лбу так-таки вот и стоит, что это напраслина и ужасная напраслина, и между тем вот мы завтра его бить будем и это его шуплое французское тельце будет на деревянной кобыле ежиться, кровью обливаться и будет он визжать, как живой поросенок на вертеле... Ах, ты, лихо бы тебя било, да не я бы на это смотрел! Не могу; просто так за него растревожился, что не могу самой пустой бумажонки на столе распределить.

Подозвал младшего чиновника и говорю:

— Сделайте тут, что нужно, а у меня очень голова разболелась, — я домой пойду.

Пришел домой, ходил-ходил, ругался-ругался со всеми, и с женою, и с прислугою — не могу успокоиться да и баста! Стоит у меня француз перед глазами и никак его не выпихнешь.

Жена уговаривает, «что ты, да что с тобою»? — потому что я никогда такой не был, а я еще хуже томлюсь.

Подали обедать; я сел, но сейчас же опять вскочил, не могу да и только. Жаль француза, да и конец.

Не выдержал и, чтобы не видали домашние, как я мучусь, схватил шляпу и побежал из дома, и вот с этих-то пор я уже словно не сам собою управлял, а начало мною орудовать какое-то вдохновение: я задумал измену.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вышел я и прямо к приставу, у которого это происшествие было; спрашиваю: как это все тогда, три года назад, происходило и что за баба мать этой девочки.

Пристав говорит:

— Черт их знает, — это дело еще не при мне было, а баба, мать этой девочки, — большая негодяйка, и она, говорит, с своею дочкою еще после того не раз этакую же

историю подводила. А впрочем, говорит, кто их разберет: кто прав, кто виноват.

Ну, довольно, думаю, с меня: мы с тобою, брат, этого не разберем, а бог разберет, да с этим прямо в Конюшенную, на каретную биржу: договорил себе карету глубокую, четвероместную, в каких больных возят, и велел как можно скорее гнать в Измайловский полк, к одному приятелю, который был семейный и при детях держал гувернера француза. Этот француз давно в России жил и по-русски понимал все, как надо.

Прикатил я к приятелю и говорю:

— Дай, говорю, голубчик, мне на подержание своего французешку, что у тебя служит: он мне нужен.

— Зачем тебе? — спрашивает.

— Так, говорю, нужен он мне, — на самое короткое время, — всего часа на два.

И говорю это, знаете, так, что приятель мой легко мог заметить, что я не спокоен, потому что задыхаюсь, тороплюсь и волнуюсь, и чем это больше скрыть хочу, тем больше себя, к досаде своей, высказываю и ввожу его насчет себя в сомнение, а тем у него, разумеется, еще больше вопросы вызываю: «что ты, да на что тебе?»

Насилу нашелся увернуться от его долгих расспросов, сказавши, что будто бы встревожен оттого, что получил известие о болезни брата, и не могу удержаться, хочу съездить к французенке гадалке на ленорманских картах погадать: выздоровеет ли мой брат или умрет? ну, а как сам я по-французски не маракую, то... и прочее, и прочее, и прочее.

Не знаю: поверил ли мне приятель или не поверил, но только расспрашивать больше не стал и француза мне отпустил; а я, взявши того, сейчас же опять с ним в карету и говорю:

— Ну, слушай, мусье: знаешь ли ты, по какому делу я тебя взял?

А тот, смотрю, глядит на меня и бледнеет, потому, знаете: наша полицейская служба к нам вольнолюбивых людей не располагает. Особенно в тогдашнее время, для француза я мог быть очень неприятен, так как, напоминая вам, тогда наши русские отношения с Францией сильно уже портились и у нас по полиции часто секретные распоряжения были за разными людьми их нации постороже присматривать.

— Что ты это, кажется, — говорю: — сробел? А уже его и лихорадка колотит.

— Помилуйте, — отвечает: — я ни в чем не виноват!

— Да, дуй тебя горою: кто тебе говорит, что ты в чем-нибудь виноват! Тут я, братец, во всем виноват, потому что я изменник: я в такое время вмешиваюсь в дело, куда мне совсем и носа совать не следует; ну, да некуда податься, видно богу так угодно, чтобы я сюда сунулся. И, вообразите себе, я, действительно, в то время так чувствовал, что это богу угодно совершить то, что я делаю. Разумеется, самомнение.

— Слушай же, — говорю: — так и так, вот в чем дело: вот что с одним твоим компатриотом случилось и что ему завтра неотразимо угрожает — плети, а я его от этого намерен избавить.

Спутник мой и рот разинул: он хоть и иностранец был, но давно, как я вам сказал, у нас в России живши, имел о наших порядках понятие и потому, конечно, мог разве за сумасшествие принять, что маленький полицейский исполнительный чиновник вызывается отменить судебное уголовное решение, утвержденное высшею властью. Но я ему говорю:

— Я тебя прошу, любезный друг, на меня открытым ртом не зевать и не ахать, а послужить богу в этом деле, для чего я тебя и взял: знаешь ли ты, куда я тебя теперь везу?

— Не знаю, — говорит.

— Ну, так вот знай, вот сейчас мы остановимся у вашего посольства; мне туда заходить никак нельзя, потому что я полицейский чиновник и нам законом запрещено в посольские дома вступать, а ты войди, и как ваши послы столь просты, что своих соотечественников во всякое время принимают, то добейся, чтобы тебя герцог сейчас принял,¹ и все ему расскажи.

¹ В Петербурге в это время французским послом и полномочным министром находился, кажется, герцог де-Гиш, который заступил с 10-го (22-го) августа 1853 г. барона Бюринью де-Варень, бывшего поверенного по делам.

А я, тем временем, здесь в карете сидеть буду — тебя дожидаться, и если посол скажет, чтобы меня позвать, ну, ты тогда пришли за мной, и я явлюсь и все подтверждаю; но, может быть, он и так поверит и сам узнает, что ему надо сделать.

Подъехали мы к посольскому дому, остановились; француз мой вылез и за зеркальные двери в подъезд ушел, а я велел извозчику подальше немножко отъехать и забился в уголок кареты — и жду. И тут вдруг я сообразил всю свою измену и меня начала лихорадка бить...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вдруг, знаете, сразу мне все ясно представилось: за какое я непосильное дело взялся, и это... полицейский-то я чиновник, и как будто на свое правительство... жалуюсь... да еще иностранному послу, да еще французскому, и в такое политическое время... Эх, скверно! изменник я, чистый изменник! И что больше думаю, то все хуже выходит... Эх, как скверно! А французика моего все нет как нет, из-за этих зеркальных дверей, а мне видно, как по той стороне улицы, по противоположному тротуару, все квартальный ходит... Думаю себе: недаром же он тут прогуливается... И, ведь поди, на мой грех, может быть, еще этакий... из внимательных, орденков, гляди, хочет выслужить и стоит, теперь, пожалуй, да соображает, что, мол, это за карета к посольскому дому подъехала? нет ли тут чего? да возьмет, вор, и заглянет в окно; а я вот тут и есть! Узнает, бездельник, потому что меня по полиции все знали, и скажет: «А-а, милостивый государь, так вы изменять!» да сейчас донесет по начальству; и поминай как звали... И дома не побываешь, а прямо через Троицкий мост, да в Петропавловскую крепость, а там для нас, изменников, обители многи суть... Страх такой обнял, что лежу в углу кареты, как мокрый пес колечком свернувшись, а сам так же, как пес на холоду, и дрожу, и уже ругательски себя ругаю, что заварил такую кругую кашу... И все, знаете, одним глазком поглядываю из окошечка на квартального, который насупротив гуляет, а сам все книзу, да книзу с сиденья на пол кареты спускаюсь, и норовлю, чтобы пятками дверцу оттолкнуть, да по низку стрекача дать, благо — я тут вблизи пролетный двор знал — и искать бы меня негде было.

Так я и устроил: в карете на сиденье положил два целковых, что за экипаж следовало, а сам открыл дверцу — и только задом-то выполз и ступил на мостовую, как вдруг слышу: «б-гись!», и мимо самой моей спины пролетела пара вороных лошадей в коляске и прямо к подъезду, и я вижу — французский посол в мундире и во всех орденах скоро сел и поскакал, а возле меня как из земли вырос этот мой посол-француз, тоже очень взволнован, и говорит:

— Зачем, — говорит, — вы вылезли?

А я от нечистой совести так перепугался, что одурел, и давай врать:

— Что такое, — говорю, — вам нужно? Я вас вовсе не знаю и ниоткуда я не вылезал.

— А видели вы?

— Да что такое, — говорю, — видеть? — отстаньте вы от меня: ничего я не видал.

— Герцог-то наш, — говорит, — уже поехал.

— Да какое мне дело до вашего герцога... что вы ко мне приклеились?

— Как, — говорит, — какое дело: да вы знаете ли, куда он отправился?

— Ничего, ровно ничего я не знаю, и знать мне незачем, а вы если от меня не уйдете, так я сейчас полицейского кликну.

Он смотрит на меня, что я так странен, должно быть, ему в своих речах показался, и шепчет:

— Герцог в Зимний дворец поехал.

— Да отойдите же, — говорю: — вы от меня: — я вам сказал, что я ничего не знаю; и с этим отпихнул его, да скорее через знакомый пролетный двор, да домой к птенцам, чтобы, пока еще время есть, хоть раз их к своему сердцу прижать. И не успел этим распорядиться, как вдруг нарочный, с запиской от генерала, чтобы завтра наказание такого-то француза

отменить.

Батюшки мои, думаю, как заиграло.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я только язык прикусил, да поскорее написал всем кому надо отмену церемонии и всю ночь потом не ложился, а все ходил в этаким в самом странном каком-то состоянии. Еще сам себе не отдавал отчета: как это я сделал и что из этого дальше выйдет? А и страшно, и словно благодать какая в душе. Думаю, конечно, и о том: не попадусь ли я тут сам каким-нибудь манером и чего буду за мою измену удостоен, но и за беднягу французишку нарадоваться не могу. И только насилу перед самым утром, с этими нелегкими мыслями, у себя в кабинете в кресле задремал, как вдруг слышу в передней возле двери шум и пререкание, жена кого-то упрасивает повременить, говорит, что я только сейчас заснул; а тот, чужой голос, настаивает, чтобы тотчас разбудить и точно как будто имя государя мне послышалось. Сейчас мне припомнилась моя измена, и сразу вся моя дрема прошла.

Бросился я, как был, в халате к двери, смотрю — курьер стоит с этакую солидную рожею, каких нарочно по осторожным делам посылают, и подает мне молча пакет.

Я, знаете, и пакет беру, и руки-то ходенем ходят, насилу разломил печать и вижу белый лист, а на нем посредине всего одно слово выведено «благодарю», а в середине деньги... Сосчитал — как раз полторы тысячи рублей денег.

Ведь не поймешь этого ничего как-то в первую минуту: что это и от кого, и потому не знаешь, к кому в таком затруднении готов за объяснениями обратиться. Так и я курьера-то этого хочу спросить, а его уже след простыл... Ну, тут я на пакет то этот глянул, чьей рукою имя-то мое написано и «благодарю-то» это священное для меня выведено, и вспомнил, чей это почерк... да уж зато тут-то уже я себе и дал волю: то есть, этак, я вам говорю, я дурачки ревел, этак я сладко вырыдался, что мое вам почтение... Два раза во всю мою жизнь потом только этак и плакал: во второй это было, как император Николай Павлович умер, и я ему к его гробу ночью свое «благодарю» ходил сказывать за то, про что мы с ним двое только из всех русских знали: он, мой царь, да я, — его изменник. И еще после я в третий раз так же плакал, по иному случаю, из этой же, впрочем, истории вытекшему.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Этого французика мы так совсем плетями и не секли, а велено было его просто выслать вон из России с подпискою, чтобы никогда в пределы оной возвращаться не смел. Ну, да где уж ему, дураку, было желать сюда возвращаться, да и незачем — он дивным образом очень богат сделался в Париже. А я эти полторы тысячи-то, которые мне как с неба упали, припрятал себе на лечение и из них в несколько лет к отставке моей из полторы две или даже немножко более стало, я и поехал в Виши водами от своего сиденья полечиться... Наполеон там еще императорствовал, ну, и все это еще у них тогда по-старому было; а на обратном пути, облегчаясь, я в Париж завернул: посмотреть там, что поинтереснее, да домой своим дамкам, знаете, какой-нибудь галантерейщины и парфюмерии прихватить. У нас, я слыхал, в Петербурге все Пино, парижского парфюмера, предпочитают, и говорю своему проводнику:

— Сведите-ка меня, батюшка, к Пино, душков да помадки у него какие получше набрать. А проводник мне возражает:

— Зачем же, — говорит: — вам к Пино ехать?

— Да ведь он, — говорю: — самый лучший.

— Помилуйте, — отвечает: — это бог знает, как давно было, что он лучшим считался, а теперь не Пино, а другой парфюмер здесь всех лучше, и назвал мне, знаете, фамилию, которая так меня сразу чем-то знакомим по уху и щелкнула.

— Как, — говорю: — вы его называете?

Тот повторил.

— Ах, батюшки мои, — вспомнил я себе: — да ведь это чуть ли и мой давнишний крестник тоже так назывался! и спрашиваю:

— Не был ли этот ваш знаменитый парфюмер когда-нибудь в России?

— Как же, — говорит: — был, только он в 1853 г. — перед крымскою кампанией, за политические вмешательства оттуда выслан из Петербурга.

— Гм, знаю, мол, я эту политику.

— Ну, а все-таки, — говорю, — мы уже, батюшка, лучше к Пино покупать-то поедем, а к этому не поедем.

Проводник мой меня отговаривать, но я, однако, на своем уперся.

— Нет, нет, нет, — говорю, — мне это не идет... Бог его еще знает там, как он, хорошо ли делает; мало ли кто у вас тут на короткое время в моду входит, а Пино, говорю, — это фирма старая, и он у нас славится: так уж вы меня, пожалуйста, к Пино свезите.

Избегал, разумеется, чтобы не встретиться, знаете... Ну, что хорошего этакое скверное, что уже прошло, опять человеку напоминать?

Но тут, должен вам сознаться в своей маленькой слабости: проводник мне начал рассказывать, как этот господин очень богат; какая у него богатая фабрика и какой щегольский магазин и живет в собственном доме, — не знаю уже, как эта улица у них называется, а только, близ самой Вандомской колонны... Я дом-то и захотел посмотреть.

— Что же, думаю: хоть не на него, так, по крайней мере, на его имущество взгляну: отчего же не взглянуть? ведь это ему ничего, — он и знать не будет. Разумеется, не хорошо, и этого не следовало, потому что суетно. Но, как хотите, ведь интересно, потому что хоть небольшое дело я ему сделал, а все же он с моих рук жить пошел.

Вот мы и поехали: проезжаем мимо, нарочно тихо — в колясочке, и вижу: дом как дворец; вывеска фабрики на три улицы; окна в магазине — хоть шестериком в них поворачивай.

— Быть, — говорю, не может, чтобы это тот самый человек!

— Нет, тот самый, что у вас из России за политику выслан.

— Да что ты, думаю, дурачок, толкуешь, много ты понимаешь меня, о чем я думаю? По-твоему это тот, а по-моему это не тот политик, про которого я разумею.

Ну, а впрочем, что я ему стану рассказывать, какие там у моего крестника кондуиты: я только не верю, чтобы могла судьба этак играть человеком и дать вдруг, после такого унижения, такое большое богатство.

— Когда бы мне можно было на него как-нибудь взглянуть, — говорю: — вот бы это мне было очень интересно!

— Отчего же, — говорит: — это очень можно.

— Только я к нему в магазин не пойду, а нельзя ли так... где-нибудь в щелочку, чтобы он меня не видал, а я бы его видел?

— Очень можно, — говорит: — да он сам в магазин и редко приходит, и в доме-то этом теперь летом не живет.

— А где же он живет?

— У себя на даче, в Пасси.

— У него и дача, — говорю, — есть?

— Не одна, — говорит, — а две: одна этакая полулетняя, по-ихнему «демисезон», тут недалеко над Трокадеро, а другая, настоящая, в Пасси, — такой, говорит, загородный дом, что редко можно другой встретить, и он, говорит, всегда в семь часов у себя над открытым цветником, на веранде, кофе с гостями пьет, а иногда с женою и детьми в серсо играет: вот мы можем потихоньку раз или два мимо пройти, вы его и увидите.

— Что же, и отлично!

На дворе было как раз часов шесть, и я уже по-своему, по-русски, был пообедавши и проводник мой тоже накормлен, я и говорю ему:

— Да что, батюшка, далеко-то откладывать: велите-ка извозчику сейчас прямо туда

ехать. Эй, ты, братец, говорю: — коше, пошел-ка, брат, в Пасси, да порезвее, на водку хорошо получишь.

Проводник перевел, — мы и поехали.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Поехали, и как путь лежал чрез Трокадеро, то мой проводник и домик мне этого моего старого знакомого показал, — важный домик, хоть бы принцу жить не стыдно; ну, а в Пасси так просто замок этакий маленький, стены каменные, высокие, все плющом заросли, и подъезд из узенького переулочка, а за решеткою виден цветник, а за цветником дом и веранда... И что же вы изволите думать: застали мы здесь все, будто по писаному, как мой проводник мне предсказал: в цветнике детки резвятся, на веранде гости сидят и хозяин... Я спрятался за угол стенки, вынул из кармана бинокль, навел на него и вижу, нет сомнения, — это он, мой крестник! Возмужал и постарел, да и отъелся, разумеется, хорошо в благополучной жизни; а у носика-то белый рубчик все-таки остался.

— Не знаете ли, батюшка, — говорю я своему проводнику: — хороший ли он муж?

— Превосходный, — говорит, человек; отлично они живут, — и жена у него чудесная, и дети добрые, и сам он добрый, и бедных людей очень помнит.

— Вот за это, — говорю, — молодец, что бедных помнит.

А в это самое время, как мы, таким образом, за углом перешептываемся, он нас, должно быть, заметил — и кричит дочке:

— Алина!

И вдруг решетчатая калиточка хлопнула и ко мне подпорхнула милая, как ангелок, девочка, в розовом платьице, и не успел опомниться, как она мне сунула в руку, франк, проговорила: «о ном де Жезю», или как там по-ихнему вроде нашего: «прими, Христа ради» и скрылась.

Я это, знаете, в пальто в своем, в русском, был и шляпа на мне мягкая пуховая и, действительно, я на бульварного воюка был похож, ну, она мне и подала за отца «Христа ради». Что же такое: я этот франк ее принял и о сю пору берегу: говорят, будто нищенское хорошо для счастья, но я не для суеверия, а так... для памяти дорожу. Ну-с, вот тут-то вот, я, как назад в свой номеришка ехал, уже сам себе изменил: опять в третий раз всю дорогу сладко-пресладко плакал. Проводник-то, я думаю, каким дураком меня считал, да и стоило. Только ведь, знаете, не удержишься, потому что, как в старинных стихах говорится:

Почувствовать добра приятство

Такое есть души богатство,

Какого Крез не собирал.

Как же за эти незаслуженные ощущения бога хоть слезою не поблагодарить!

Впервые опубликовано — «Гражданин», 1876.

КАДЕТСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться — они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше чем когда-нибудь пряталось от света. И, заметьте, все не из чернородья и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее; но тогда были... Верно и теперь есть, только, разумеется, искать надо.

Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности, — сразу

о четырех праведных людях так называемой «глухой поры», хотя я уверен, что тогда подобных было очень много.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Воспоминания мои касаются Первого петербургского кадетского корпуса, и именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу въявь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история.

До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст — на камеры. В каждой камере было по двадцати человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые «аббаты», — французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по пяти тысяч рублей в год жалованья, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по две недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знание иностранных языков между кадетами было очень значительно, и этим, конечно, объясняется, почему Первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений.

Император Павел Петрович как приехал в корпус в первый раз по своему воцарении, сейчас же приказал: «Аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых».²

С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках.

Я прошу верить, а лично слышащих меня — засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чужд направлений нашей литературы: я читал и до сих пор читаю не только, что мне нравится, но часто и то, что не нравится, и знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь «скалозубами», что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем.

Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время; видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то и другое, а я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и как воспитывал, то есть какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатались на сердце, потому что — грешный человек — вне этого, то есть без живого возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны.

Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

№ 1. Директор, генерал-майор Перский (из воспитанников лучшего времени Первого же корпуса). Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы

² Из «Краткой истории Первого кадетского корпуса», составленной Висковатовым, видно, что это произошло 16 января 1797 года. (Прим. Лескова.).

были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное «матушкою Екатериною». Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упорность, что на него махнули рукою и подаренное ему «матушкою» имение оставили в его владении.

Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него «внимания и покровительства».

Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно потому, что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал:

— Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное — вы знайте только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды.

На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегозчик», и этого преступления кадеты никогда не прощали. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош и худ, но он несомненно воспитывал в детях понятия чести, которыми кадеты бывших времен недаром славилась и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба.

Михаил Степанович Перский был замечательная личность: он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре или он считал обязанностью служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами и все, что ни делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом: всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу «по форме», держался прямо и молодцевато и имел важную, величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха.

Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, и один раз, когда его увидели с сопровождавшим его вестовым на тротуаре, — весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: «Михаил Степанович прошел по улице!»

Ему, впрочем, и некогда было разгуливать: будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности четыре раза в день непременно обходил все классы. У нас было четыре перемены уроков, и Перский непременно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери.

Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтную часть и наказания за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание: кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя, и скажет своим чистым, отчетливым голосом:

— Ду-ур-рной кадет!..

И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем «утешить Михаила Степановича».

Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же у места будет сказать, что это, кажется, совершенно

справедливо. По крайней мере знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал:

— Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных, — и это в его правдивых устах, конечно, была не фраза.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, — он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал, да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов: комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты.

Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дортуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлетнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платье, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с судками за обедом, не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими жестряпунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много, и Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие.

Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а, имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников вверенного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошности перейти в привычную леность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный балл, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным, белым пальцем в лоб и скажет:

— Дурной кадет.

И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранился, вероятно потому, что нельзя было, по тогдашнему обычаю, обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны.

Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Ореус.

Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписания и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того чтобы завтра опять встать немного нас пораньше.

Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключать со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил и умер честным человеком, без пятна и упрека; но этого мало: это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие, однако все это только честность. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали своею, то есть нашею, кадетскою, потому что Михайло Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предания кадетства.

ГЛАВА ПЯТАЯ

По некоторому стечению обстоятельств мы, ребяташки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а резервная рота выходила на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам, из наших окон, было все видно.

Кто знает графически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю.

Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исаакиевским мостом. Из окон фаса нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из баталиона Московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после шести часов вечера открыли огонь из шести орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, человек шестнадцать вошли в ворота корпуса, и тут который где привалились, — кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям.

Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего баталиона Московского полка.

Кадеты, услышав об этом или увидав раненых, без удержу, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались с своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую «Передачу», то есть по всему фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть, — раненым. Пирогов не есть, — раненым...» Эта «передача»³ была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные «на хлеб и на воду».

Делалось это таким образом: когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, «шло приказание», передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой, лаконической форме. Например:

— Есть арестанты — пироги не есть.

Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет, и несмотря на то, что утаить и вынести из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. «Не едят, уносят, — ну и пускай уносят». Худа в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела: оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему

³ Воспитанники корпуса позднейших выпусков говорят, что у них не было слова «передача», но я оставляю так, как мне сказано кадетом-старцем. (Прим. Лескова.).

самоотвержения и доблести.

Так было и в этот для некоторых из нас очень много-последственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу:

— Пирогов не есть, — раненым.

И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято: пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны.

День кончился по обыкновению, и мы уснули, нимало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело.

Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова охудения, а напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание.

Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности, а она была начеку и двигалась на нас как будто нарочно затем, чтобы показать нам Михаила Степановича в таком величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пятнадцатого декабря в корпус неожиданно приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен.

Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и, по обыкновению, отрапортовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса.

Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать:

— Здесь дух нехороший!

— Военный, ваше величество, — отвечал полным и спокойным голосом Перский.

— Отсюда Рылеев и Бестужев! — по-прежнему с неудовольствием сказал император.

— Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев — все главнокомандующие, и отсюда Толь, — с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский.

— Они бунтовщиков кормили! — сказал, показав на нас рукою, государь.

— Они так воспитаны, ваше величество: драться с неприятелем, но после победы призывать раненых, как своих.

Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал.

Перский своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человеческое, но уже недолго: близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова был назначен генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии Николай Иванович Демидов, человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом, а для нас он получил особенное приказание «подтянуть».

Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, баталионного командира полковника Шмидта (человека превосходной честности) и ротных командиров: Ореуса (секуна), Шмидта 2-го, Эллермана и Черкасова, который перед тем долгое время преподавал фортификацию, так что пожалованный в графы Толь в 1822 году

был его учеником.

Демидов начал с того, что сказал:

— Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый список.

— У нас нет худых кадет, — отвечал Перский.

— Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже.

— Да, это так; но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие.

— Должны быть внесены в список самые худшие, и они в пример прочим будут посланы в полки унтер-офицерами.

Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразил со всегдашним своим самообладанием и спокойствием:

— Как в унтер-офицеры! За что?

— За дурное поведение.

— Нам вверили их родители с четырехлетнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами. Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры?

— Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить.

— А! в таком случае не для чего было собирать совет, — отвечал Перский. — Вы бы изволили так сказать сначала, и что приказано, то должно быть исполнено. Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, классы обходил адъютант: Демидова Багговут и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение.

Вызванным Багговут приказал идти в фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. И мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей и наших товарищей одели в эти шинели. Затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам.

Само собою разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться. Для оценки поведения была назначена отметка сто баллов и сказано, что если кто будет иметь менее семидесяти пяти баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицеры.

Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой, столбальной системе, и мы слыхали об этом недоумении переговоры, которые окончились тем, что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребячьим грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха вдруг заменилось у нас еще большею отвагою: скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собою Демидова, как «варвар», и вместо того, чтобы робеть и трястись его образцового жестокосердия, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой хотя всем пропасть, но показать ему «наше презрение к нему и ко всем опасностям».

Случай представился к этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подоспели нам на помощь находчивый ум и большой такт никогда не ходившего за словом в карман Перского.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ровно через неделю после того, как от нас были отлучены и сосланы в унтер-офицеры наши товарищи, нам было приказано идти в ту же фехтовальную залу и построиться там в колонны. Мы исполнили приказание и ждали, что будет, а на душе у всех жутко. Вспомнили,

что стоим на тех самых половицах, на которых стояли наши несчастные товарищи перед грудями приготовленных для них солдатских шинелей, и так вот варом и закипит на душе... Как они, сердечные, должно быть, были изумлены и поражены этою неожиданностью, и где-то и как они стали приходить в себя и проч. и проч. Словом сказать: душевная мука, — и стоим мы все, понунив головочки уныло, и вспоминаем Демидова «варвара», но ни капли его не боимся. Пропадать, так всем заодно пропадать, — знаете, ступень такая... освоились. И в это-то время вдруг отворяются двери, и является сам Демидов вместе с Перским и говорит:

— Здравствуйте, деточки!

Все молчали. Ни уговора, ни моментальной «передачи» при его появлении не было, а так просто, от чувства негодования ни у одного уста не раскрылись отвечать. Демидов повторил:

— Здравствуйте, деточки!

Мы опять молчали. Дело переходило в сознательное упорство, и момент принимал самый острый характер. Тогда Перский, видя, что из этого произойдет большая неприятность, сказал Демидову громко, так что все мы слышали:

— Они не отвечают, потому что не привыкли к выражению вашему «деточки». Если вы поздороваетесь с ними и скажете: «здравствуйте, кадеты», они непременно вам ответят.

Мы очень уважали Перского и поняли, что, говоря эти слова так громко и так уверенно Демидову, он в то же время главным образом адресует их нам, доверяя себя самого нашей совестливости и нашему рассудку. Опять, без всякого уговора, все сразу поняли его едиными сердцами и поддерживали его едиными устами. Когда Демидов сказал: «Здравствуйте, кадеты!», мы единогласно ответили известным возгласом: «Здравия желаем!»

Но это не был конец истории.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После того как мы прокричали свое «здравия желаем», Демидов спустил с себя строгость, которою начал было набираться, когда мы не отвечали на его противную ласку, но сделал нечто, еще более для нас неприятное.

— Вот, — сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным, — вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим.

Он кивнул вестовому Ананьеву, который скорыми шагами вышел за двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, несших большие корзины с дорогими кондитерскими конфетами в изукрашенных бумажках.

Демидов остановил корзины и, обратясь к нам, сказал:

— Вот тут целые пять пудов конфет (кажется, пять, а может быть, было и более) — это все для вас, берите и кушайте.

Мы не трогались.

— Берите же, — это для вас.

А мы тоже ни с места; но Перский, видя это, дал знак солдатам, державшим демидовское угощение, и те стали носить корзины по рядам.

Мы опять поняли, чего хочет наш директор, и не позволили себе против него никакой неуместности, но демидовское угощение мы все-таки есть не стали и нашли ему особое определение. В то самое мгновение, как первый фланговый из наших старших гренадеров протянул руку к корзине и взял горсть конфет, он успел шепнуть соседу:

— Конфеты не есть — в яму.

И в одну минуту «передача» эта пробежала по всему фронту с быстротою и с незаметностью электрической искры, и ни одна конфета не была съедена. Как только начальство ушло и нас пустили порезвиться, мы все друг за другом, веревочкою, пришли в известное место, держа в руках конфеты, и все бросили их туда, куда было указано.

Так и кончилось это демидовское угощение. Ни один малыш не слукавил и не соблазнился конфетою: все бросили. Да иначе и нельзя было: дух дружества и

товарищества был удивительный, и самый маленький новичок проникался им быстро и подчинялся ему с каким-то священным восторгом. Нас нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами: мы так были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которые видели в таких людях, как Михаил Степанович Перский — главный командир, или, лучше сказать, игумен нашего кадетского монастыря, где он под стать себе умел подобрать таких же и старцев.

Впрочем, он ли их умел подбирать или они сами к нему под стать подбирались, дабы жить в отрадном согласии, — этого я не знаю, потому что мы малы были, чтобы вникать в такие вещи; но что знаю о сподвижниках Михаила Степановича, то тоже расскажу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит эконому. Так было и у нас, в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым эконом в чине бригадира — Андрей Петрович Бобров.

Я ставлю его вторым только по подчиненности и потому, что нельзя всех поставить вместе в первых, но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее.

Он, разумеется, был холост, как и надо по монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят, — теоретически, в рассуждениях, что, мол, «это будущность России», или «наша надежда», или же еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое, за чем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия. А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить.

Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный-презасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно, но Андрей Петрович нимало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле и с ним же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем. Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалованье, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшество.

У Боброва была Анна с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно, а уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире.

Он заведывал всей экономической частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспреданно занятый научною частью, директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство, да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично.

В ведении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги без исключения. Сумма расходов простиралась до шестисот тысяч рублей ежегодно, а за сорок лет его экономского служения у него, значит, обратилось до двадцати четырех миллионов, но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже три тысячи рублей положенного ему жалованья он не получал, а только в нем расписывался, и когда этот денежный человек на сороковом году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша, и его хоронили на казенный счет.

Я скажу в конце, куда он девал свое жалованье, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император Николай Павлович.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. Сорок кряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, «чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты». Мошенники это были мы, — так он называл кадет, разумеется употребляя это слово как ласку, как шутку. Мы это знали.

Всякий день он вставал в пять часов утра и являлся к нам в шесть часов, когда мы пили сбитень; после этого мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил «кормить» и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего «старого Бобра».⁴ Порций, как это водится во всех заведениях, у нас при Боброве не было — все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо; белье заставлял переменять три раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим, но не всё: водились и такие вещи, которые Андрей Петрович по добросердечию своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны, и он, бригадир, скрывался с ними, как школьник. Это больше всего касалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был, сдерживался, но внутренне ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не «утешить мошенника». Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет:

— Пошел, мошенник, вперед себя не доводи!

Особенная же забота у него шла о кадетях-арестантах, которых сажали на хлеб на воду, в такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подавание. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных, но кадеты не опускали случая с своей стороны еще ему особенно об этом напомнить. Бывало, проходя мимо его из столовой, под ритмический топот шагов, как бы безотносительно произносятся:

— Пять арестантов, пять арестантов, пять арестантов.

А он или стоит только, выпуча свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном:

— Мне что за дело, мне что за дело, мне что за дело.

Но когда посаженных на хлеб на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил, а по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел.

Сам им, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит:

— Скорее, мошенник, скорее глотай!

Все при этом часто плакали — и арестанты, и он, их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира.

Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если, бывало, случится ему по неосторожности попасть в это время на плац, то сейчас же раздавался крик:

— Андрей Петрович на плацу!

Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать: все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно.

Это ему было тяжело, потому что он был толстенький кубик, — ворочается, бывало, у

⁴ В «<Краткой> истории Первого кадетского корпуса» (1832 г.) есть упоминание о том, что государь император Александр Николаевич в отрочестве посещал корпус и там кушал с кадетами. (Прим. Лескова.).

нас на руках, кричит:

— Мошенники! вы меня уроните, убьете... Это мне нездорово, — но это не помогало.

Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалованья, а только расписываться.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

У нас очень много было людей бедных, и когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалованье. А мы ведь были младенцы, о доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мыслей не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, а говорили:

— Следите за газетами: если только наш полк будет в деле, — на приступе первым я.

Все так собирались, а многие и исполнили. Идеалисты были ужасные. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы и из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданое — серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки, по четыре чайных, восемьдесят четвертой пробы. Белье давалось для себя, а серебро — для «общежития».

— Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать шей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое, — так вот, чтобы было чем...

Так это и соразмерялось — накормить хоть одного, а чайком напоить до четырех собратов. Все до мелочей и вдаль, на всю жизнь, внушалось о товариществе, и диво ли, что оно было?

Ужасно трогательный был человек, и сам растрогивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять, и Рылеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами;

О ты, почтенный эконо Бобров!

Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности, и любовь эта в нас не ослабевала ни с годами, ни с переменой положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус «явиться Андрею Петровичу» — «старому Бобру». И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека незнакомого с знаками заслуг, а иногда и в большом чине, и встретит официально вопросом: «Что вам угодно?» А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другою отстраняет гостя.

— Позвольте, позвольте, — говорит, — позвольте!

И если тот не спешил вполне открыться, то он ворчал:

— У нас был... мошенник... не из наших ли?..

— Ваш, ваш, Андрей Петрович! — отвечал гость или же, порываясь к хозяину, показывал ему его «благословение» — серебряную ложечку.

Но тут вся сцена становилась какою-то дрожащею. Бобров топал ногами, кричал: «Прочь, прочь, мошенник!» и с этим сам быстро прятался в угол дивана за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком и не плакал, а рыдал, рыдал звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина, так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала и лицо наливалось кровью.

Удержать его было невозможно, а так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то денщик его это знал и сейчас ставил перед ним на подносике стакан воды. Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась, старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом:

— Ну... теперь поцелуй, мошенник!

И они целовались долго-долго, причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки, а он уже только с блаженством повторял:

— Вспомнил, мошенник, старика, вспомнил. — И сейчас же усаживал гостя и сам

принимался доставать из шкафа какой-то графинчик, а денщика посылал на кухню за кушаньем.

Отказаться от этого никто не мог. Иной, бывало, отпрашивается:

— Андрей Петрович! я, — говорит, — зван и обещался к такому-то, или к такому-то, какому-нибудь важному лицу.

Ни за что не отпустит.

— Знать ничего не хочу, — говорит, — важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты мой, — и должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу.

И не выпустит.

Рацей он никогда не читал, а только жил перед нами и остался жить после того, как его в конце сорокового года службы за недостаточностию на казенный счет похоронили.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Теперь третий постоянный инок нашего монастыря — наш корпусный доктор Зеленский. Он тоже был холост, тоже был домосед. Этот даже превзошел двух первых тем, что жил в лазарете, в последней комнате. Ни фельдшер, ни прислуга — никто никогда не могли себя предостеречь от внезапного его появления у больных: он был тут как днем, так и ночью. Числа визитаций у него не полагалось, а он всегда был при больных. В день несколько раз обойдет, а кроме того еще навернется иногда невзначай и ночью. Если же случался труднобольной кадет, так Зеленский и вовсе его не оставлял — тут и отдыхал возле больного на соседней койке.

Этот доктор по опрятности был противоположность Перскому и родной брат эконому Боброву. Он ходил в сюртуке, редко вычищенном, часто очень изношенном и всегда расстегнутом, и цвет воротника у него был такой же, как у Андрея Петровича, то есть нераспознаваемый.

Он был телом и душою наш человек, как и два первые. Из корпуса он не выходил. Это, может быть, покажется невероятным, но это так. Никакими деньгами нельзя было его заставить выехать с визитом на сторону. Был один пример, что он изменил своему правилу, когда приехал в Петербург великий князь Константин Павлович из Варшавы. Его высочество посетил одну статс-даму, которую застал в страшном горе: у нее был очень болен маленький сын, которому не могли помочь тогдашние лучшие доктора столицы. Она посылала за Зеленским, который славился отличным знатоком детских болезней, в коих имел, разумеется, огромный навык, но он дал свой обыкновенный ответ:

— У меня на руках тысяча триста детей, за жизнь и здоровье которых я отвечаю и на стороны разбрасываться не могу.

Огорченная его отказом статс-дама сказала об этом великому князю, и Константин Павлович, будучи шефом Первого кадетского корпуса, изволил приказать Зеленскому поехать в дом этой дамы и вылечить ее ребенка.

Доктор повиновался — поехал и скоро вылечил больное дитя, но платы за свой труд не взял. Одобряет ли кто или не одобряет этот его поступок, но я говорю, как происходило.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Зеленский был доктор отличный и, сколько я могу теперь понимать, вероятно, относился к новой медицинской школе: он был гигиенист и к лекарствам прибегал только в самых редких случаях; но тогда насчет медикаментов и других нужных врачебных пособий был требователен и чрезвычайно настойчив. Что он назначил и потребовал, — это уже чтоб было, да, впрочем, и сопротивления-то некому было оказывать. О пище уж и говорить нечего: разумеется, какую порцию ни потребуй, Бобров не откажет. Он и здоровых «мошенников» любил кормить досыта, а про больных уже и говорить нечего. Но я помню

раз такой случай, что доктор Зеленский для какого-то больного потребовал вина и назначил его на рецепте словами: «такой-то номер по преискуранту Английского магазина».

Солдат понес требование эконому, и через несколько минут идет сам Андрей Петрович.

— Батенька, — говорит, — вы знаете ли, сколько этот номер вина за бутылку стоит? Он ведь стоит восемнадцать рублей.

А Зеленский ему отвечал:

— Я и знать, — говорит, — этого не хочу: это вино для ребенка нужно.

— Ну а если нужно, так и толковать не о чем, — отвечал Бобров и сейчас же вынул деньги и послал в Английский магазин за указанным вином.

Привожу это, между прочим, в пример тому, как они все были между собою согласны в том, что нужно для нашей выгоды, и приписываю это именно той их крепкой друг в друге уверенности, что ни у кого из них нет более драгоценной цели, как наше благо.

Имея на руках в числе тысячи трехсот человек двести пятьдесят малолетних от четырех до восьми лет, Зеленский тщательнейше наблюдал, чтобы не допускать повальных и заразительных болезней, и заболевавших скарлатиною сейчас же отделял и лечил в темных комнатах, куда не допускал капли света. Над этой системой позже смеялись, но он считал ее делом серьезным и всегда ее держался, и оттого ли или не оттого, но результат был чудесный. Не было случая, чтобы у нас не выздоровел мальчик, заболевший скарлатиною. Зеленский на этот счет немножко бравировал. У него была поговорка:

— Если ребенок умрет от горячки, доктора надо повесить за шею, а если от скарлатины — то за ноги.

Мелких чиновных лиц у нас в корпусе было очень мало. Например, вся канцелярия такого громадного учреждения состояла из одного бухгалтера Паутова — человека, имевшего феноменальную память, да трех писарей. Только и всего, и всегда все, что нужно, было сделано, но при больнице Зеленский держал большой комплект фельдшеров, и ему в этом не отказывали. К каждому серьезному больному приставлялся отдельный фельдшер, который так возле него и сидел — поправлял его, одевал, если раскидывается, и подавал лекарство. Отойти он, разумеется, не смел и подумать, потому что Зеленский был тут же, за дверью, и каждую минуту мог выйти; а тогда, по старине, много не говоря, сейчас же короткая расправа: зуботычина — и опять сиди на месте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Веруя и постоянно говоря, что «главное дело не в лечении, а в недопущении, в предупреждении болезней». Зеленский был чрезвычайно строг к прислуге, и зуботычины у него летели за малейшее неисполнение его гигиенических приказаний, к которым, как известно, наши русские люди относятся как к какой-то неосновательной прихоти. Зная это, Зеленский держался с ними морали крыловской басни «Кот и повар». Не исполнено или неточно исполнено его приказание — не станет рассуждать, а сейчас же щелк по зубам, и пошел мимо.

Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку доктора Зеленского, чтобы скорые на осуждение современные люди не сказали: «вот какой драчун или Держиморда», но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слова не выкинешь. Скажу только, что он не был Держиморда, а был даже добряк и наисправедливейший и великодушнейший человек, но был, разумеется, человек своего времени, а время его было такое, что зуботычина за великое не считалась. Тогда была другая мерка: от человека требовали, чтобы «никого не сделать несчастным», и этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский.

В видах недопущения болезней, прежде чем кадет вводили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждой был термометр. Он требовал, чтобы в классах было не меньше 13° и не больше 15°. Истопники и сторожа должны были находиться тут же, и если температура не выдержана — сейчас врачебная зубочистка. Когда мы садились за

классные занятия, он точно так же обходил роты, и там опять происходило то же самое.

Пищу нашу он знал хорошо, потому что сам другой пищи не ел; он всегда обедал или с больными в лазарете, или с здоровыми, но не за особым, а за общим кадетским столом, и притом не позволял ставить себе избранного прибора, а садился где попало и ел то самое, чем питались мы.

Осматривал он нас каждую баню в предбаннике, но, кроме того, производил еще внезапные ревизии: вдруг остановит кадета и прикажет раздеться донага; осмотрит все тело, все белье, даже ногти на ногах оглядит — выстрижены ли.

Редкое преполезное внимание!

Но теперь, оканчивая и с ним, я скажу, что у этого третьего известного мне истинного друга детей составляло его удовольствие.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Удовольствие доктора Зеленского заключалось в том, что, когда назначенные из кадет к выпуску в офицеры ожидали высочайшего приказа о производстве, он выбирал из них пять-шесть человек, которых знал, отличал за способности и любил. Он записывал их больными и помещал в лазарете, рядом с своей комнатой, давал им читать книги хороших авторов и вел с ними долгие беседы о самых разнообразных предметах.

Это, конечно, составляло некоторое злоупотребление, но если вникнуть в дело, то как это злоупотребление покажется простительно!

Надо только вспомнить, что было наделано с корпусами с тех пор, как они попали в руки Демидова, который, как выше было сказано, получил приказание их «подтянуть» и, кажется, слишком переусердствовал в исполнении. Думаю так потому, что графы Строганов и Уваров, действуя в то же время, ничего того не наделали, что наделал Демидов с корпусами. Под словом «подтянуть» Демидов понял — остановить образование. Теперь уже, разумеется, не было никакого места прежней задаче, чтобы корпус мог выпускать таких образованных людей, из коих при прежних порядках без нужды выбирали лиц, способных ко всякой служебной карьере, не исключая и дипломатической. Наоборот, все дело шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музей. Библиотеку приказали запереть, в музей не водить и наблюдать, чтобы никто не смел приносить с собою никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или, еще хуже, сам написал что-либо, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность: если кадет изобличался в прозаическом авторстве (конечно, смирного содержания), то ему давали двадцать пять ударов, а если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка всеобщей истории, не знаю кем составленная, была у нас едва ли не в двадцать страничек, и на обертке ее было обозначено: «Для воинов и для жителей». Прежде она была надписана: «Для воинов и для граждан» — так надписал ее искусный составитель, — но это было кем-то признано за неудобное, и вместо «для граждан» было поставлено «для жителей». Даже географические глобусы велено было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли, а стену, на которой в старину были сделаны крупные надписи важных исторических дат, — закрасить... Было принято правилом, которое потом и выражено в инструкции, что «никакие учебные заведения в Европе не могут для заведений наших служить образцом» — они «уединоображиваются».⁵

⁵ См. не действующее более «Наставление к образованию воспитанников военно-учебных заведений», 24 декабря 1848 года, СПб, Типография военно-учебных заведений. (Прим. Лескова).

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Можно представить: как мы при таком учении выходили учены... А впереди стояла целая жизнь. Добрый и просвещенный человек, каким, несомненно, был наш доктор Зеленский, не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться если не пополнить ужасающий пробел в наших сведениях (потому что это было невозможно), то по крайней мере хоть возбудить в нас какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направление нашим мыслям.

Правда, что это не составляет предмета заботливости врача казенного заведения, но он же был человек, он любил нас, он желал нам счастья и добра, а какое же счастье при круглом невежестве? Мы годились к чему-нибудь в корпусе, но выходили в жизнь в полном смысле ребятами, правда, с задатками чести и хороших правил, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрец при новой обстановке мог нас сбивать и вести по пути недоброму, которого мы не сумели бы ни понять, ни оценить. Как к этому быть равнодушным!

И вот Зеленский забирал нас к себе в лазарет и подшпиговывал нас то чтением, то беседами.

Известно ли об этом было Перскому, я не знаю, но может быть, что и было известно, только он не любил знать о том, о чем не считал нужным знать. Тогда было строго, но формалистики меньше.

Читали мы у Зеленского, опять повторяю, книги самые позволительные, а из бесед я помню только одну, и то потому, что она имела анекдотическое основание и через то особенно прочно засела в голову. Но, говорят, человек ни в чем так легко не намечается, как в своем любимом анекдоте, а потому я его здесь и приведу.

Зеленский говорил, что в жизнь надо внести с собою как можно более добрых чувств, способных порождать добрые настроения, из которых в свою очередь непременно должно вытечь доброе же поведение. А потому будут целесообразнее и все поступки, в каждом столкновении и при всех случайностях. Всего предвидеть и распределить, где как поступить, невозможно, а надо все с добрым настроением и рассмотрением и без упрямства: приложить одно, а если не действует и раздражает, обратиться благоразумно к другому. Он все это из медицины брал и к ней приравнивал и говорил, что у него, в молодой поре, был упрямый главный доктор.

Подходит, говорит, к больному и спрашивает:

— Что у него?

— Так и так, — отвечает Зеленский, — весь аппарат бездействует, что-то вроде *miserere*.⁶

— *Oleum ricini*?⁷ давали?

— Давали.

И еще там что-то спросил: давали?

— Давали.

— А *oleum crotoni*?⁸

— Давали.

— Сколько?

— Две капли.

— Дать двадцать!

⁶ Жалеть, иметь сострадание (лат.); здесь — безнадежное состояние больного.

⁷ касторовое масло (лат.)

⁸ кротонное масло (лат.)

Зеленский только было рот раскрыл, чтобы возразить, а тот остановил:

— Дать двадцать!

— Слушаю-с.

На другой день спрашивает:

— А что больной с *miserere*: дали ему двадцать капель?

— Дали.

— Ну, и что он?

— Умер.

— Однако проняло?

— Да, проняло.

— То-то и есть.

И, довольный, что по его сделано, старший доктор начинал преспокойно бумаги подписывать. А что больной умер, до этого дела нет: лишь бы проняло.

Поскольку к чему этот медицинский анекдот мог быть приложим, он нам нравился и казался понятен, а уж насколько он кого-нибудь из нас воздерживал от вредного упрямства в выборе сильных, но вредно действующих средств, этого не знаю.

Зеленский служил в корпусе тридцать лет и оставил после себя всего богатства пятьдесят рублей.

Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита; но надо помянуть еще четвертого, пришедшего в наш монастырь с своим уставом, но также попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит из назначавшихся к архиерейству. Разумеется, это большею частию были люди очень умные и хорошие, но особенно дорог и памятен нам остался последний, который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали их просто «отец архимандрит», а справиться о его имени теперь трудно. Пусть этот будет так, без имени. Он был сердового возраста, небольшого роста, сухощав и брюнет, энергический, живой, с звучным голосом и весьма приятными манерами, любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходившей в сад, торчала медная труба телескопа, в который он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем Перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Мне теперь думается, да и прежде в жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзыв о религии, что она будто скучна и бесполезна, — я всегда думал: «вздор мелете, милашки: это вы говорите только оттого, что на мастера не попали, который бы вас заинтересовал и раскрыл вам эту поэзию вечной правды и неумирающей жизни». А сам сейчас думаю о том последнем архимандрите нашего корпуса, который навеки меня благодетельствовал, образовав мое религиозное чувство. Да и для многих он был таким благодетелем. Он учил в классе и проповедовал в церкви, но мы никогда не могли его вволю послушаться, и он это видел: всякий день, когда нас выпускали в сад, он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все игры и смехи тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целою толпою кадет, которые так теснились вокруг него со всех сторон, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право, мне это напоминает что-то древнее апостольское. Мы перед ним все были открыты; выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать.

Архимандрит нас выслушивал терпеливо и утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни, но так же, как Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное образование очень недостаточно и что мы должны это помнить и, по выходе, стараться приобретать познания. О Демидове он от себя ничего не говорил, но мы по едва заметному

движению его губ замечали, что он его презирает. Это потом скоро и высказалось в одном оригинальном и очень памятном событии.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Я выше сказал, что Демидов был большой ханжа, он постоянно крестился, ставил свечи и прикладывался ко всем иконам, но в религии был суевер и невежда. Он считал за преступление рассуждать о религии, может быть потому, что не мог рассуждать о ней. Нам он ужасно надоедал, кстати и некстати приставая: «молитесь, деточки, молитесь, вы ангелы, ваши молитвы бог слышит». Точно ему сообщено, чьи молитвы доходят до бога и чьи не доходят. А потом этих же «ангелов» растягивали и драли, как сидоровых коз. Сам же себя он, как большинство ханжей, считал полным, совершенным христианином и ревнителем веры. Архимандрит же был христианин в другом роде, и притом, как я сказал, он был умен и образован. Проповеди его были не подготовленные, очень простые, теплые, всегда направленные к подъему наших чувств в христианском духе, и он произносил их прекрасным звучным голосом, который долетал во все углы церкви. Уроки же, или лекции его отличались необыкновенною простотою и тем, что мы могли его обо всем спрашивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать. Эти уроки были наш бенефис — наш праздник. Как образец, приведу одну лекцию, которую очень хорошо помню.

«Подумаем, — так говорил архимандрит, — не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого недоумения и сомнения, которые длятся так много лет, Иисус Христос пришел не скромно в образе человеческого, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное сонмом светлых, служебных духов. Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество, в чем теперь очень многие сомневаются. Как вы об этом думаете?»

Кадеты, разумеется, молчали. Что тут кто-нибудь из нас мог бы сказать, да мы бы на такого говоруна и рассердились, чтобы не лез не в свое дело. Мы ждали его разъяснения, и ждали страстно, жадно и затаив дыхание. А он прошелся перед нами и, остановясь, продолжал так:

«Когда я, сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, говорю в церкви проповедь и объясняю, что нужно терпеливо сносить холод и голод, то я в это время читаю на лицах слушателей: „Хорошо тебе, монах, рассуждать, когда ты в шелку да сыт. А посмотрели бы мы, как бы ты заговорил о терпении, если бы тебе от голода живот к спине подвело, а от стужи все тело посинело“. И я думаю, что, если бы Господь наш пришел в славе, то и Ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Сказали бы, пожалуй: „Там Тебе на небе отлично, пришел к нам на время и учишь. Нет, вот если бы Ты промеж нас родился да от колыбели до гроба претерпел, что нам терпеть здесь приходится, тогда бы другое дело“. И это очень важно и основательно, и для этого он и сошел босой и пробрел по земле без приюта».

Демидов, я говорю, ничего не понимал, но чувствовал, что это человек не в его духе, чувствовал, что это заправский, настоящий христианин, а такие ханжам хуже и противнее самого крайнего севера. Но поделать он с ним ничего не мог, потому что не смел открыто порицать доброе боговедение и рассуждение архимандрита, пока этот не дал на себя иного оружия. Архимандрит вышел из терпения и опять не за себя, а за нас, потому что Демидов своим пустосвятством разрушал его работу, портив наше религиозное настроение и доводя нас до шалостей, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Демидов был чрезвычайно суеверен: у него были счастливые и несчастные дни; он

боялся трех свечей, креста, встречи с духовными и имел многие другие глупые предрассудки. Мы со свойственною детям наблюдательностью очень скоро подметили эти странности главного директора и обратили их в свою пользу. Мы отлично знали, что Демидов ни за что не приедет ни в понедельник, ни в пятницу, ни в другой тяжелый день или тринадцатого числа; но главное всего нас выручали кресты... Один раз, заметив, что Демидов, где ни увидит крест, сейчас крестится и обходит, мы начали ему всюду подготавливать эти сюрпризы; в те дни, когда можно было ожидать, что он приедет в корпус, у нас уже были приготовлены кресты из палочек, из цветных шерстинок или даже из соломинок. Они делались разной величины и разного фасона, но особенно хорошо действовали кресты вроде надмогильных — с покрывечками. Их особенно боялся Демидов, вероятно имевший какую-нибудь скрытую надежду на бессмертие. Кресты эти мы разбрасывали на полу, а всего больше помещали их под карнизы лестничных ступеней. Как, бывало, начальство за этим ни смотрит, чтобы этого не было, а уже мы ухитримся — крестик подбросим. Бывало, все идут, и никто не заметит, а Демидов непременно увидит и сейчас же отпрыгнет, закрестится, закрестится и вернется назад. Ни за что решительно он не мог наступить на ступеньку, на которой был брошен крестик. То же самое было, если крестик оказывался на полу посреди проходной комнаты, чрез которую лежал его путь. Он сейчас отскочит, закрестится и уйдет, и нам в этот раз полегчает, но потом начнется дознание и окончится или карцером для многих, или даже наказанием на теле для некоторых.

Архимандрита это возмущало, и хотя он нам ничего не говорил на Демидова, но один раз, когда подобная шалость окончилась обширной разделкой на теле многих, он побледнел и сказал:

— Я запрещаю вам это делать, и кто меня хоть немножко любит, тот послушается.

И мы дали слово не метать больше крестиков, и не метали, а рядом с тем, в следующее же воскресенье, архимандрит по окончании обедни сказал в присутствии Демидова проповедь «о предрассудках и пустосвятстве», где только не называл Демидова по имени, а перечислял все его ханжеские глупости и даже упомянул о крестиках.

Демидов стоял полотна белее, весь трясся и вышел, не подойдя к кресту, но архимандрит на это не обратил никакого внимания. Надо было, чтобы у них сочинился особенный духовно-военный турнир, в котором я не знаю, кому приписать победу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Через неделю, в воскресенье, следовавшее за знаменитою проповедью «о предрассудках», Демидов не сманкировал, а приехал в церковь, но, опоздав, вошел в половине обедни. Он до конца отстоял службу и проповедь, которая на этот раз касалась вещей обыкновенных и ничего острого в себе для него не заключала; но тут он выкинул удивительную штуку, на которую архимандрит ответил еще более удивительною.

Когда архимандрит, возгласив «благословение господне на вас», закрыл царские двери, Демидов вдруг тут же с церкви гласно с нами поздоровался.

Мы, разумеется, как привыкли отвечать, громко отвечали ему:

— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство! — и хотели уже поворачиваться и выходить, как вдруг завеса, гремя колечками по рубчатой проволоке, неожиданно распахнулась, и в открытых царских дверях появился еще не успевший разоблачиться архимандрит.

— Дети я вам говорю, — воскликнул он скоро, но спокойно, — в храме божьем уместны только одни возгласы — возгласы в честь и славу живого бога и никакие другие. Здесь я имею право и долг запрещать и приказывать, и я вам запрещаю делать возгласы начальству. Аминь.

Он повернулся и закрыл двери. Демидов поскакал жаловаться, и архимандрит от нас выехал, а с тем вместе было сделано распоряжение, чтобы архимандритов впредь в корпуса вовсе не назначали. Это был последний.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я кончил, больше мне сказать об этих людях нечего, да, кажется, ничего и не нужно. Их время прошло, нынче действуют другие люди, и ко всему другие требования, особенно к воспитанию, которое уже не «уединоображивается». Может быть, те, про которых я рассказал, теперь были бы недостаточно учены или, как говорят, «не педагогичны» и не могли бы быть допущены к делу воспитания, но позабыть их не следует. То время, когда все жалось и тряслось, мы, целые тысячи русских детей, как рыбки резвились в воде, по которой маслом плыла их защищавшая нас от всех бурь елейность. Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, сильнее других делают историю. И если их «педагогичность» даже не выдержит критики, то все-таки их память почтенна, и души их во благих водворятся.

ПРИБАВЛЕНИЕ К РАССКАЗУ О КАДЕТСКОМ МОНАСТЫРЕ

В долголетнюю бытность покойного Андрея Петровича экономом 1-го кадетского корпуса там состоял старшим поваром некий Кулаков.

Повар этот умер скоропостижно на своем поварском посту — у плиты, и смерть его была очень заметным событием в корпусе. Кулаков честный человек — не вор, и потому честный эконо Бобров уважал Кулакова при жизни и скорбел о его трагической кончине. После того как Кулаков умер, «стоя у плиты», на смену ему долго не было мужа с такою же нравственною доблестию. Со смертью Кулакова, при всей строгости досмотра со стороны бригадира Боброва, «просел кисель» и «тертый картофель потерял свою густоту». Особенно повредился картофель, составлявший важный элемент при кадетском столе. После Кулакова картофель не полз меланхолически, сходя с ложки на тарелки кадет, но лился и «лопотал». Бобров видел это и огорчился — даже, случалось, дрался с поварами, но никак не мог добиться секрета стирать картофель так, чтобы он был «как масло». Секрет этот, быть может, навсегда утрачен вместе с Кулаковым, и потому понятно, что Кулакова в корпусе сильно вспоминали, и вспоминали добром. Находившийся тогда в числе кадет Кондратий Федорович Рылеев († 14-го июля 1826 года), видя скорбь Боброва и ценя утрату Кулакова для всего заведения, написал по этому случаю комическую поэму в двух песнях, под заглавием «Кулакиада». Поэма, исчислив заслуги и доблести Кулакова, описывает его смерть у плиты и его погребение, а затем она оканчивалась следующим воззванием к Андрею Петровичу Боброву:

Я знаю то, что не достоин
Вещать о всех делах твоих:
Я не поэт, я просто воин, —
В моих устах нескладен стих,
Но ты, о мудрый, знаменитый
Царь кухни, мрачных погребов,
Топленным жиром весь облитый.
Единственный герой Бобров!
Не осердися на поэта,
Тебя который воспевал,
И знай — у каждого кадета
Ты тем навек бессмертен стал.
Прочтя стихи сии, потомки,
Бобров, вспомнут о тебе,
Твои дела вспомнут громки

И вспомнят, может быть, о мне.⁹

Таков и есть Бобров на его единственном карандашном портрете, «царь кухни, мрачных погребов», «топленным жиром весь облитый, единственный герой Бобров».

И еще один анекдот.

Бобров ежедневно являлся к директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать «о благополучии». Рапорты эти, разумеется, чисто формальные, писались всегда на листе обыкновенной бумаги и затем складывались вчетверо и клались Боброву за кокарду треуголки. Бригадир брал шляпу и шел к Перскому, но так как в корпусе всем было до Боброва дело, то он по дороге часто останавливался для каких-нибудь распоряжений, а имея слабость горячиться и пылить, Бобров часто бросал свою шляпу или забывал ее, а потом снова ее брал и шел далее.

Зная такую привычку Боброва, кадеты подшутили над своим «дедушкой» шутку: они переписали «Кулакиаду» на такой самый лист бумаги, на каком у Андрея Петровича писались рапорты по начальству, и, сложив лист тем же форматом, как складывал Бобров свои рапорты, кадеты всунули рылеевское стихотворение в треуголку Боброва, а рапорт о «благополучии» вынули и спрятали.

Бобров не заметил подмена и явился к Перскому, который Андрея Петровича очень уважал, но все-таки был ему начальник и держал свой тон.

Михаил Степанович развернул лист и, увидав стихотворение вместо рапорта, рассмеялся и спросил:

— Что это, Андрей Петрович, — с каких пор вы сделались поэтом?

Бобров не мог понять, в чем дело, но только видел, что что-то неладно.

— Как, что изволите... какой поэт? — спросил он вместо ответа у Перского.

— Да как же: кто пишет стихи, ведь тех называют поэтами. Ну, так и вы поэт, если стали сочинять стихи.

Андрей Петрович совсем сбился с толку.

— Что такое... стихи...

Но он взглянул в бумагу, которую подал в сложенном виде, и увидел в ней действительно какие-то беззаконно неровные строчки.

— Что же это такое?!

— Не знаю, — отвечал Перский и стал вслух читать Андрею Петровичу его рапорт.

Бобров чрезвычайно сконфузился и взволновался до слез, так что Перский, окончив чтение, должен был его успокаивать.

После этого был найден автор стихотворения — это был кадет Рылеев, на которого добрейший Бобров тут же сгоряча излил все свое негодование, поскольку он был способен к гневу. А Бобров при всем своем бесконечном незлобии был вспыльчив, и «попасть в стихи» ему показалось за ужасную обиду. Он не столько сердился на Рылеева, как вопиял:

— Нет, за что! Я только желаю знать — за что ты меня, разбойник, осрамил!

Рылеев был тронут непредвидимой им горестью всеми любимого старика и просил у Боброва прощения с глубоким раскаянием. Андрей Петрович плакал и всхлипывал, вздрагивая всем своим тучным телом. Он был слезлив, или, по-кадетски говоря, был «плакса» и «слезомойка». Чуть бы что ни случилось в немножко торжественном или в немножко печальном роде, бригадир сейчас же готов был расплакаться.

Корпусные солдаты говорили о нем, что у него «глаза на мокром месте вставлены».

Но как ни была ужасна вся история с «Кулакиадою», Бобров, конечно, все-таки помирился с совершившимся фактом и простил его, но сказал при том Рылееву назидательную речь, что литература вещь дрянная и что занятия ею никого не приводят к счастью.

⁹ Вариант: Вспомнут, мудрый, о тебе. (Прим. Лескова.).

Собственно же для Рылеева, говорят, будто старик высказал это в такой форме, что она имела соотношение с последнею судьбою покойного поэта, которого добрый Бобров ласкал и особенно любил, как умного и бойкого кадета.

«Последний архимандрит», который не ладил с генералом Муравьевым и однажды заставил его замолчать, был архимандрит Иринеи, впоследствии епископ, архиерействовавший в Сибири и перессорившийся там с гражданскими властями, а потом скончавшийся в помрачении рассудка.

Впервые опубликовано — «Исторический вестник», 1880.

РУССКИЙ ДЕМОКРАТ В ПОЛЬШЕ

Это — маленькая историйка, но я думаю, что ее тоже, пожалуй, можно примкнуть к рассказам «о трех праведниках». Так говорил мне почтенный старец, со слов которого я записал рассказ об иноксах кадетского монастыря, а теперь в виде post-scriptum записываю еще одно последнее сказание.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я поступил на службу прямо по выходе из корпуса в канцелярию главнокомандующего действующею армиею генерал-фельдмаршала князя Паскевича. Это было в тридцать втором году, в январе месяце — значит, вскоре после покорения Варшавы, которая взята в августе тридцать первого года. Директором этой канцелярии был действительный статский советник Иван Фомич Самбурский, про которого и пойдет моя речь. Его позабыли, и история о нем умалчивает, а он был человек замечательный и, по моему мнению, даже исторический.

Самбурский был малоросс и имел репутацию человека необыкновенного ума и способностей, а также отличался честностью и непреклонностью убеждений. Тогда еще на службе такими людьми иногда дорожили, и если не всегда, то хоть изредка о них вспоминали и думали, что без них нехорошо, что они нужны. Притом же Иван Фомич был невообразимо деловит: буквально не было занятия, к которому он был бы неспособен и, взявшись за которое, оказался бы не на своем месте. О честности же, разумеется, и говорить нечего — на одних комиссионерах и интендантах миллион мог нажить, а он ничего не наживал и для всех воров был неодолим. Всякую хитрость провидит и округлит. Это было известно, и потому при назначении Ивана Фомича в директора канцелярии при Дибиче ему было положено двойное жалованье.

Обязанности директора канцелярии были очень большие и чрезвычайно разносторонние. По взятии Варшавы, тут сосредоточивалась и военная, и гражданская переписка по всему Царству Польскому; он должен был восстановить русское правление вместо революционного; привести в известность статьи доходов и образовать правильный приход и обращение финансов. Вообще требовалось организовать дело, которое после военного разгрома представляло обыкновенный в таких случаях хаос.

Это труд огромный и почтенный, но неблагодарный. Он требует человека свыше обыкновенных способностей и поглощает его всего; а между тем деятельность его не видна и остается почти незамечаемою, так сказать, черною работою, вроде уборки чего-то в тылу.

Нынче, может быть, это еще лучше, потому что теперь о тыле располагают совсем иначе, но тогда вся слава и честь почиталась быть на виду — впереди, в опасности. В тылу тогда, бывало, остаются не иначе, как плачущи. Ну, а уже что при таком взгляде могла значить канцелярская крыса, — это понять не трудно. Штатские, впрочем, тогда и повсеместно мало где и за людей были почитаемы. Такое время было, и за это нечего сердиться. У всякого времени свои странности, а одна из тогдашних странностей была — пренебрежение ко всем невоенным занятиям. Исключение делали для одного графа

Сперанского, но и то ставили это себе за неприятную необходимость. Удивительно вспомнить, как люди, бывало, с особенною серьезностью внушали, что «Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света»... Хомяков сказал: «мы долго верили среди восточной лени и грязной суеты» и проч., — и действительно, верили. Так часто тогда повторялось это мудрое изречение, что, бывало, наслушаешься и начнешь верить. Крым это поисправил, а то меры не было вздорам. Рассказывали, например, какие-то полудикие анекдоты, как пришли два офицера в трактир и, видя двух штатских, говорят лакею: «Поддай нам двух титулярных советников!» Тот недоумевает, а они ему объясняют вслух, что титулярные советники — это рябчики. В ответ на это один из штатских говорит: «а нам, братец, дай двух поручиков под хреном». Лакей опять недоумевает, а штатский изъясняет ему гласно, что поручики — это поросята. Этот глупый анекдот выражал настроение.

Я сам помню, как раз вечером, на том месте Казанской площади, у садика, где теперь часто стоит тележка чухонца с Выборгскими кренделями, иду я домой, а передо мною идут два офицера и говорят:

— Видишь штафирку?

Другой отвечает: вижу.

И указывают друг другу на чиновника, который покупает крендельки и завязывает их в платочек. Верно, человек бедный был, потому что шляпенка на нем рыженькая, и сам он тощий, заморенненький, а на нем шинелька суконная, ветхая, подол подтрепан и разрез сзади, — как это делалось.

Один офицер говорит: давай, разорвем его.

Другой отвечает: давай.

И тут же, на моих глазах, взяли его за край шинельного разреза, потянули в разные стороны и располосовали пополам до самого воротника. Только пыль из старого суконца посыпалась, и крендельки он свои, бедняк, разронял. А все это совершенно ни за что, да и без злобы, а так, можно сказать, по глупой манере носились сами с собою в каком-то священном восторге и как зыкливые телята брыкались. Я же вам об этом упоминаю для того, чтобы показать, какой был дух времени и какое царствовало неблагоприятное для гражданской деятельности настроение — особенно в кругу тесного соприкосновения с людьми военными.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Самбурский, с его правильным умом, конечно, отлично понимал свое время и потому, идучи в директоры канцелярии, знал как устроиться. Он позаботился не только о деньгах, которых у него не было и на которые он, естественно, имел право, принимая на себя труд большой и чрезвычайно ответственный, но он выговорил себе и такое положение, чтобы ему не быть пешкою. Он не хотел быть слепым исполнителем чьих-либо случайных фантазий, а желал иметь необходимую для пользы службы свободу выбора людей и плана действий, равно как и средств к их исполнению. С князем Иваном Федоровичем это было еще необходимее, чем с Дибичем, который был очень толковый администратор. С Паскевичем было труднее, ввиду очень многих свойств его характера и манеры распоряжаться: иные из его распоряжений, бывало, не только неудобно исполнить, но даже иногда нельзя и понять.

Я не знаю, как понимал Паскевич в точности огромные способности Самбурского, на мой взгляд, представляющиеся необычайными; но знаю, что он в душе ценил его превосходную честность. Мне известно также, что он был прельщен одним анекдотом, который относился к юношеским годам Ивана Фомича и заключался в следующем.

Самбурский был бедный человек и нуждался в работе. Работать он мог, разумеется, только пером, к чему имел счастливый дар прекрасного изложения мыслей спокойно плавно и вразумительно. Когда хотел тронуть или обличить и доказать справедливость, — был неподражаем. С этой стороны он сделался известен по поводу прошения, написанного им

для одной бедной мелкопоместной дворянки, тяжело оскорбленной богатым соседом. Прошение это, поданное императору Александру Павловичу в четверг на Страстной неделе, растрогало его величество до слез, и государь спросил: «Кто писал?» Вдова назвала Самбурского. И это обратило на него внимание многих. Что же касается самого предмета просьбы, то император велел переследовать неправильно решенное дело, и вдова после многих лет обид и страдания была восстановлена в своем праве. Самбурский писал мастерски, может быть, отчасти потому, что он превосходно чувствовал, вдохновенно проникал справедливость и любил постоять за нее без страха.

Все это у него шло свободно, вольно, натурально, с какою-то поэтической отвагою типичного хохла. Глядя на него, бывало, не раз вспоминаешь чье-то верное замечание о малороссах, что между ними очень редко встречается середина в нравственности. Нигде натуры не бывают цельнее и даже отчасти прямолинейнее, как в Малороссии. Там, если честный человек, так ничем его не своротишь, и негодяи, если задаются, так тоже бывают ничем не исправимые. Самбурский, разумеется, был из хохлов первого сорта.

Но я отбиваюсь от анекдота, который располагал к Самбурскому Паскевича, и едва ли не был, быть может, главным поводом, почему фельдмаршал уважал его.

Был какой-то ученый, какой-то трудной специальности, говорили, будто астроном. Ему надо было написать ученое сочинение на какую-то степень по этому предмету, который он хорошо знал, но был совершенно бездарен. Сидел, сидел этот ученый, мучился и пришел в отчаяние, а Самбурский был к ним вхож и в доме дружен. Видит он это горе, день, два, месяц, давал советы, обещал помощь и, наконец, рассердясь, говорит:

— Да расскажи ты мне все, что тебе надо написать. Тот отвечает:

— Это нельзя, — это целый предмет.

— Ну, и рассказывай целый предмет.

Принудил рассказать, выслушал, а через неделю приносит написанную диссертацию.

Может быть, тут что-нибудь раздуто и преувеличено, — я не знаю, но дословно такой анекдот ходил о Самбурском, и многие передавали его даже едва ли не так, что Иван Фомич не знал астрономии, но всю ее проник одною силою своего острого ума.

Вообще по всему можно было видеть, что фельдмаршал считал своего директора за человека необыкновенного, которого надо было уважать; но тем не менее это не мешало им разойтись довольно смешно и, так сказать, анекдотически. Поводом к этому послужило их несогласие в оригинальном вопросе о самоварах, которым Иван Фомич Самбурский надумал дать государственную роль в истории.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

По благородной простоте характера Ивана Фомича, у нас канцелярия была будто его семья. Она вся была небольшая, кажется, человек из десяти, но как в ней составлялись бумаги самого секретного содержания, то в ней люди были собраны с большою осторожностью и по самым надежным рекомендациям. Но раз как человек был принят, Иван Фомич терпеть не мог показывать, что он его остерегается или имеет к нему неполное доверие. Эта дрянная, хотя весьма распространенная, манера душ мелких и подозрительных была чужда его благородному и дальновидному уму. Самбурский знал, что единодушие ничем так не достигается, как любовью, и имел благоразумие дорожить сердечными чувствами своих младших сотрудников. Молодых людей он старался знать со стороны их способностей и в минуты своего небольшого отдыха всегда с ними беседовал, о чем приходило ему в голову. Этим способом он всегда знал настроение наших мыслей и силу сообразительности. Бывало, поговорит, поговорит, да смотришь и даст работу, из назначения которой видишь, что он тебя уже совсем и смерил. Такого начальника, разумеется, мудро не любить и не ценить, и мы все были к нему очень привязаны.

Правая рука его у нас был начальник отделения Лахтин, очень образованный человек, с которым Самбурский любил посоветоваться. Но и советы совещал он не по официальному, а

по-семейному, т. е. не наедине, «при закрытых дверях», в насмешку над которыми тайны, за ними сказанные, очень быстро разносятся, а Самбурский говорил прямо при нас, молодых людях, как бы приучая тем нас к скромности на всяк час, без особых предупреждений.

Однажды, когда мы таким образом все были в сборе за своим делом, Самбурский поднял голову от бумаг, назвал Лахтина по имени и отчеству и спросил его: очень ли он занят, — что он хотел бы с ним поговорить.

Лахтин отвечал, что у него в эту минуту особенных занятий нет и он готов к его услугам.

Самбурский и говорит:

— Давно я думал об одном предмете, а нынче бессонною ночью, ворочая его со стороны на сторону, кажется, додумался до чего-то похожего на дело. Не знаю, каков будет об этом ваш суд, но мнение ваше знать очень желаю.

Лахтин отвечал, что он слушает со вниманием. Мы же оставались, как всегда бывало, при своих местах.

Несмотря на милую доброту Ивана Фомича, все мы держали себя с ним крайне почтительно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Каждое царствование, — начал Самбурский. — мы ведем здесь побоища с поляками, но самое огромное побоище было теперь; оно стоило денег двести миллионов, а человеческих жертв шестьдесят тысяч. Это меня приводит в ужас. Сколько вдов, сирот и стариков, которых кормить некому после такой победы? За это надо ответ дать богу, а между тем мы от своей роли здесь отказаться не можем, пока не устроим своих единоверных в Литве и в юго-западном крае. Польша — бог с ней; но своих мы никак не можем оставить на произвол судьбы.

Самбурский, ошибался он или нет, был того мнения, что Польша нам не нужна и составляет для нас вопрос только, пока не упрочены как надо юго-западный край и Литва. Поэтому он и проектировал все свои меры для этой окраины и был уверен, что если те меры выполнить, т. е. если Литва, Волынь и Подолия сделаются совершенно русскими, то о Польше и говорить не стоит и беречь ее при себе не для чего. Тогда она лезть к нам под бок не может чрез сплошное единоверное нам население с русским дворянством и беспокоить нас не будет. А что касается собственного ее значения для России, то Самбурский сводил его к нулю и говорил:

— Надо желать, чтобы она сделалась самостоятельной, надо ее сделать таковою и бросить. Тогда ее сейчас же сожрут немцы и запаху ее не останется.

Он даже думал, что Польша нам вред и болезнь.

— Наполеон, говорит, ошибался, называя Кавказ нашим вечным чирьем, — настоящий вечный чирий наш — Польша, и мы ее будем таскать, пока не загородимся полосой западного края, а саму Польшу бросим. Иначе она нам нагадит, напустит внутреннего разлада (что, кажется, и сбывается). Но я возвращаюсь к прерванному разговору Самбурского с Лахтиным.

— Непременно, — сказал Самбурский, — надо на будущее время сделать невозможными такие кровопролития; а если вести дела так, как они ведутся, то нет никаких оснований предполагать, что это когда-нибудь кончится. Усмирим мятеж, подсечем старые корни, а молодые побеги опять отгрызнут, и через несколько лет снова готова такая же история.

Лахтин качнул в знак согласия головою и сказал:

— Это иначе и быть не может.

— Да; это очень естественно, — согласился Самбурский: — если прилагать к нашим расправам с Польшей один узкий масштаб военных занятий западного края, то это не может быть иначе. Пушки и ружья, по моему мнению, не имеют того влияния, какое нужно, чтобы

раз навсегда отучить поляков от неуместных претензий на Литву и на юго-западный край, населенный народом, который поляков не любит. Нужно еще особое орудие.

— Какое же?

— А вот отгадайте.

— Не могу, — отвечал Лахтин.

Самбурский улыбнулся и сказал:

— Это оружие — самовар.

— Что-о такое?!

— Самовар-с, самовар, Николай Андреевич, — простой русский самовар.

Тут уж и мы, «молодые люди», слыша, что наши набольшие договорились до таких странностей, перестали работать и подняли головы с недоумением, чем это разъяснится: серьезным делом или шуткою.

— Приходило ли вам когда-нибудь на мысль положение престарелого офицера? — продолжал Самбурский.

— Очень много раз приходило, — отвечал Лахтин.

— Вот видите! Значит, у кого есть некоторый жар в сердце и любовь к человечеству, то ко всякому такому человеку этот вопрос бьется. Это недаром: в чье-нибудь сердце он хочет достучаться. Теперь посмотрите дальше, сколько у нас в армии из офицеров людей женатых, особенно вверх от капитанского чина... Это уже настоящие страстотерпцы: служат они, и на службе им нет никакой радости, а под старость и угла нет, где приклонить голову. Хорошо, который куда-нибудь городничим попадет, да будет морковью или потрохами на базаре взятки брать или у арестантов из трехкопеечного содержания половину воровать станет. Но ведь очень немного таких счастливых, которым такая карьера выпадет, а то жаль смотреть, чем занимаются...

Лахтин отозвался:

— Это правда!

— Да как же не правда! — продолжал Самбурский. — Пока молод да легкомыслен, он и в восторге: его занимает, что и шпоры звенят, и эполеты блестят, а как с годами в разум начнет приходить, так, ведь, — сделайте вашу милость... мишура-то слетит и очень горько станет.

— Ропщут, — молвил Лахтин.

— Да; ропщут, но очень мало ропщут, — отвечал, продолжая материю, Самбурский. — удивительные люди, — праведники. Иной бы, поди, какого шума наделал и целый бы век все визжал, а наш с сердцов за чаркой зелена вина где-нибудь выругается, а потом завьет горе веревочкой, да так всю жизнь с обрывком и ходит. Только не дергай его за этот узелок, потому что у него тут больное место завязано. Все, все простить ему надо, и даже свечку поставить. Служил как следует, сколько раз его могли убить и изувечить, а другой, может быть, и изувечен, а между тем, война кончится, состав войск введется на мирное положение, и тысячи этих отставных слуг отечества идут в заштат. Разумеется, это в порядке вещей, да смотреть-то на них жалко в этом положении. Хорошо, который куда-нибудь на частную должность примкнет к откуп, или к какой конторе... Разумеется, не особенно высокоблагородно, но, по крайней мере, спрятан от когтей нужды и питается; а то на выдумки идут: янтарьки продают, просьбы по постоялым дворам пишут, в трактирах фокусы показывают, — всего и не перечтешь.

— И не дай бог, — вставил Лахтин.

— Именно, не дай бог, а между тем в таком печальном исходе совсем нет никакой необходимости. Если об этом хорошенько подумать, то есть даже средство не только оказать оторванным от мирных занятий военным людям справедливость, но выставить прямо отечество благодарным к своим слугам, — и в то же время за один прием достигнуть высшего государственного плана — пресечь возможность повторения беспокойной аристократической крамолы. Вот в чем дело: вам, как и мне, известно количество казенных и конфискованных магнатских земель на Литве и в юго-западном крае. Казне они не принесут

дохода, — все съест администрация. По-моему, выгоднее будет отдать их в частные руки. Я сообразил и расчел, что из них можно накрошить двадцать пять тысяч небольших помещичьих имений, из которых каждое может приносить от пяти до шести тысяч годового дохода.

— Я думаю, вы не ошиблись, — сказал Лахтин.

— Расчет мною сделан верно. Необходимо только, чтобы все эти земли явились в трудолюбивых руках, и именно в руках воинов, поработавших для водворения здесь русского владычества. Офицеры в правах и в истории малосведущи, но они хорошо знают, чего им стоило усмирить разыгравшийся здесь мятеж, и потому оценят все настоящим образом, без фантазии. Притом же это будет им справедливым вознаграждением, за которое они будут благодарны правительству и усугубят свою преданность. А чтобы и казна своего не теряла — даром ничего давать не нужно, даровое всегда слабо ценится. А надо благоразумно перевести эти земли из непроизводительного казенного управления в частные руки, и для этого есть средства. Стоит только образовать банк или другое какое кредитное учреждение с специальною целью помочь приобретению этих земель русскими воинами на льготных для выплаты условиях, и цель эта будет вполне достигнута. А когда на двадцати пяти тысячах мест станут двадцать пять тысяч русских помещичьих домиков, да в них перед окнами на балкончиках задымятся двадцать пять тысяч самоваров и поедет сосед к соседу с семейством на тройках, заложенных по-русски, с валдайским колокольчиком под дутою, да с бубенцами, а на козлах отставной денщик в тверском шлыке с павлиньими перьями заведет: «Не одну во поле дороженьку», так это будет уже не Литва и не Велико-Польша, а Россия. Единоверное нам крестьянское население как слышит пыхтенье наших веселых тульских толстопузиков и расстилающийся от них дым отечества, — сразу поймет, кто здесь настоящие хозяева, да и поляки увидят, что это не шутка и не «збуйство да здрайство», как они называют наши нынешние военные нашествия и стоянки, а это тихое, хозяйственное заселение на всегдашние времена, и дело с восстаниями будет покончено.

Лахтин вскричал:

— Это великолепно!

— Вы одобряете?

— Великолепно. Иван Фомич, великолепно!

А мы, — хотя нас не спрашивали, — под влиянием пропекшего нас горячего чувства, все встали, поклонились Ивану Фомичу и без уговора сказали ему:

— Бог в помощь! Бог в помощь!

Он откланялся нам жестом руки и сказал:

— От души благодарю, господа, — ваше сочувствие мне дорого и дай бог, чтобы наше — как вижу — общее желание исполнилось ко благу нашей родины. А чтобы не оставаться долго на этот счет в томительной нерешимости, — я сейчас отправлюсь к фельдмаршалу и сейчас же представлю ему мою мысль.

Он встал, перекрестился, сказал: «Господи благослови!» — и вышел.

Мы, провожая его глазами, желали ему удачи. И хотя все это происходило в канцелярии, где торжественных минут сердечного восхищения по штатам не полагается, но тут оно было. Мы чувствовали, как сердца наши в нас горели, при мысли, что целые двадцать пять тысяч семейств наших военных трудников разведут себе по домам и на полянках свои самовары и станут попаривать своим чайком свои косточки, под своею же кровлею, которую дало им за их кровную службу отечество.

Конечно, может быть, теперь за это кто-нибудь и осудит, но надо было быть ближе к тому времени, которого это касается, и видеть воочию мужественных людей, судьбу которых по отставке просто и трогательно нам вспомнил Иван Фомич. Тогда станет понятно то чувство, какое мы испытывали, и оно было действительно патриотическое чувство, хотя и родилось в канцелярии.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Вечером мы в своих кружках думали и гадали: каковы могут быть последствия смелого и, как нам казалось, гениального по своей простоте предложения Ивана Фомича? Нам казалось невозможным, чтобы фельдмаршал не внял его представлениям и не позволил изыскать средства к их осуществлению.

Один только, — был у нас другой начальник отделения, Ивашин, с русской фамилией, но хохол, он был грубоват и выражался не изысканно, — так он не то что сомневался, но не отрицал возможности сомнения, и тем нас огорчал. Он, лениво цедя слова сквозь зубы, сказал:

— Перестаньте угадывать и ждите утра: не угадаете; может случиться и то, чего не может быть. Совершенно невозможно на свете только одно, — козырного туза покрыть, этого уже никакой чудотворец не сделает.

Добрейший Яков Фомич (так звали Ивашина) был и умник, и делец, и характера самого достойного, но любил, к своему наследственному гадяческому или кролевещкому остроумию, подпустить благоприобретенного волтерианства. Особенно он лих был насчет чудес, которые имел слабость считать личною для себя обидою, и всегда имел при себе наготове этого козырного туза, которого, по его словам, «никакой чудотворец не покроет».

Но ночь прошла в мирном сне, или, кому спать не хотелось, — в других каких-либо занятиях, а наутро приходит в канцелярию Лахтин и говорит:

— Свидание Ивана Фомича с фельдмаршалом было как нельзя больше благоприятно. Больше ничего вам сказать не могу, но Иван Фомич сам все расскажет.

Самбурский как пришел, подписал заготовленные к этому дню бумаги и потом говорит:

— Поздравляю всех вас, господа, с радостною работою. Фельдмаршал, выслушав мои соображения, о которых здесь вчера было говорено, изволил выразить этому делу свое сочувствие и желает, чтобы были составлены самые точные и полные сведения с возможно подробным кадастровым описанием, по которому можно было бы судить о достоинстве и стоимости имений. Это работа сложная и трудная, потому что мало данных, но тем более чести ее исполнить, и я надеюсь, что тут мы себя покажем достойными его доверия и исполним все как только возможно и с большою радостью.

Действительно, работали с радостью. Откуда только что возможно было выбрать — все собрали. А сам Иван Фомич в это время изготовил свой проект, который, как все им писанное, был изложен мастерски и пошел в ход. Прежде чем готовы были наши кадастры и сметы, потребные уже к заключительному дележу и рассадке двадцати пяти тысяч наших воинов, которые должны были поставить свои самовары и напустить здесь приятного отечественного дымку, князь был введен Самбурским во все его соображения.

Все остальное делалось скоро, мы спешили изготовить дело к поездке фельдмаршала в Петербург, и изготовили так благовременно, что он мог до отъезда изучить и детали дела. Это было необходимо для обстоятельного объяснения на каждый могущий возникнуть в Петербурге вопрос. Самбурский был очень доволен, что князь вникает в дело внимательно и даже делает себе отметки о землях.

Последнее было тем радостнее, что Иван Фомич, имевший на руках кучу дел, не мог оставить Варшавы и не сопровождал фельдмаршала. Стало быть, очень важно было, чтобы он все знал и мог все совершить, не требуя каких-нибудь частных разъяснений.

Самбурский не ошибся: фельдмаршал, действительно, вполне овладел предметом и сочинил собственный план, как этим делом распорядиться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Паскевич уехал, а мы в это время в своей канцелярии все возились с эмеритурою и вообще уравнием русских чиновников в выгодах службы с чиновниками из поляков, которые имели многие преимущества. У нас это дело поднимал и горячо, но безуспешно

разрабатывал Ивашин, а мы все ему помогали, только без пользы. Это отсрочилось до новых историй, когда нас там уже не было. При нас, как ни горячился Ивашин, русские чиновники военного министерства все получали за выслугу 35 лет 150–200 р. пенсии, а чиновники Царства Польского из поляков по той же должности получали за выслугу 25 лет по 6.000 злотых эмеритального пенсионера. Ивашин представил это Паскевичу, и тот нашел это неправильным и позволил открыть переписку с разными ведомствами. Всем нам хотелось упорядочить это так, — чтобы русским не обидно было против поляков, но не вышло по-нашему. Сведения о штатах доставлялись плохо, и это нам причиняло много хлопот, за которыми мы и не заметили, как прошло время отъезда светлейшего и он снова вернулся в Варшаву.

Перед возвращением князя ни снов никто не видал, ни мыши из нор не выходили, ни невидимая нежить тяжелою ступнею по полу не расхаживала и не трещала половицами, словом, ничто никого не выживало, а между тем для всех нас был готов удар, самый неожиданный и очень вредный для дела, но отчасти и не лишенный комизма, или, лучше сказать, горькой иронии.

Самбурский виделся с фельдмаршалом по его возвращении не из первых, и притом не с глазу на глаз, а на официальном выходе.

Иван Фомич не был самолюбив в дурном смысле этого слова, да и укола в этом его самолюбию не было, но было другое, чего он имел причины не желать и опасаться. Было заметно, что светлейшему как будто неловко или, по крайней мере, неприятно что-то сообщить своему директору, которого умом и соображениями он сам гордился, а честность его уважал.

Но, конечно, игры нельзя было тянуть долго: при первом же докладе, будет или не будет речь о том, что фельдмаршалу неприятно, — Самбурский с его прозорливостью прочтет князя; да и самому князю, который никого не боялся — нескладно же так институтски конфузиться лица ему подчиненного, каким был Самбурский.

Паскевич, конечно, все это знал и не мог поступить иначе, как поступил.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Самбурский возвратился с доклада князю не скоро, но сошел в канцелярию спешными шагами, был красен и расстроен.

Он роздал начальникам отделения Ивашину и Лахтину принесенные с собою бумаги и послабив пальцем галстук сказал:

— Господа! я с вами прощаюсь.

Услыхав это, мы все вскочили с мест и, забыв всякую дисциплину, бросились к нему и осыпали его вопросами: что, как и для чего?

— Я подаю в отставку.

Все опять заговорили:

— Для чего, Иван Фомич, для чего?

Он отвечал, представление мое решено иначе, — князь имеет майорат, который должен приносить 200.000 злотых, несколько других лиц получили меньшие участки с доходами тысяч до 60 и т. д. Вместо многих маленьких русских оседлых помещиков будет только очень немного крупных, и притом таких, которые никогда в своих деревнях не сидят, — самоваров на стол не ставят и за чаем по-русски не говорят. Такого оборота я не ожидал и не мог предвидеть, по эта игра не стоит свеч. Если бы я знал, что это случится, то я задушил бы в себе эту мысль, которую столько времени носил и в значении которой для России и для Польши не сомневаюсь. Но теперь она совершенно испорчена и, чтобы ее поправить, надо ожидать нового восстания и новых конфискаций... Без этого и не обойдется, но одно соображение об этом меня угнетает. Я этого снести не могу.

Мы заговорили:

— Ну что, Иван Фомич, — все может измениться: фельдмаршал вас уважает и любит...

— Да; благодарю его, — перебил Самбурский: — он меня не забыл, — мне тоже предложено выбрать себе майорат, но я этим не воспользуюсь, — я от него отказался. Передо мною была открыта возможность полнейшей оценки всех земель и угодий вовсе не за тем, чтобы я мог выбрать себе лучшее. Служить каждому правительству нужно честно, а тем более правлению монархическому, где государь один правит, и потому кому он верит, тому грех и стыд не хранить и не беречь его доверие, а думать о себе. От этого падает уважение ко всему правительству. В разговоре со мною было употреблено слово «демократ». Оно шло, очевидно, по моему адресу... Что же, — я принимаю и не обижаюсь; демократ не демагог. Быть демократом, между прочим, значит желать счастья возможно большему числу людей. Я этого желаю, и, по-моему, в этом нет ничего дурного. Аристократия желает противоположного; господства своего меньшинства. «Нельзя без аристократии». Есть такой взгляд, но только я его не разделяю. Аристократии есть место в Англии, и там я ее понимаю, хотя и там считаю несправедливою и недолговечною; — роль аристократизма в польской истории вижу только губительную, а в русской истории никакого места аристократизму вовсе не нахожу, ибо строй нашей монархии демократический. В другие начала я не верю и служить им не могу. У меня есть хлеб, — пенсия, который я выслужил, а у жены моей в Петербурге, на Воскресенской набережной, есть домик, в котором мы и можем дожить нашу старость. Прощайте: служите честно, а меня не уговаривайте остаться. — При этом он горько улыбнулся и, обратясь с шутливою ирониею к Иващину, добавил:

— Ваше взяло, Яков Фомищ, — козырного туза, действительно, ничем не покроешь, а мои самоварчики заглохли и с тем роль моя кончена.

Так оно и было для него кончено. Он выехал из Варшавы, имея те же ограниченные достатки, с какими приехал. Поляки, считавшие Самбурского человеком справедливым и весьма его уважавшие, были, однако, чрезвычайно рады его падению. Его план о двадцати пяти тысячах самоваров сделался им известен через закрытые двери Петербурга или Варшавы и напугал их хуже самых больших пушек. Они ужаснулись этого плана, вредоносность которого для всех их затей была так очевидна по его необыкновенной простоте и органической прочности. Отдача казенных и конфискованных земель большими майоратами, в сравнении со страшным планом о самоварах, казалась легкою и сравнительно совсем неопасною для польского патриотизма, — что и оправдалось.

Самбурский выехал скоро; с фельдмаршалом они прощались в палатке, которая стояла у Паскевича в комнате. Разлука, вероятно, была теплая, потому что Самбурский, выйдя, казался растроганным. На виду пред всеми они еще поцеловались, а когда Иван Фомищ возвратился домой, прислуга, убиравшая его плащ, нашла в его кармане и подала Самбурскому пакетик, в котором оказалась записочка на польском языке. Это было нечто вроде диплома, выданного «действительному русскому демократу Самбурскому» на звание «государственного самовара» (samowara panstwa).

Над этой польской шуткой, которую немудрено было устроить в многолюдной лакейской, конечно, только и оставалось посмеяться.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вместо Самбурского директором канцелярии был назначен Я—ч, человек совсем другого сорта и других правил. Он на первых же порах столкнулся с Иващиным, который все еще продолжал хлопотать об эмеритуре для русских чиновников. Повздорив с начальником отделения, новый директор сказал ему:

— Я не могу с вами служить.

— И мне тоже это очень неприятно, — отвечал Иващин: — просите себе перемещения или выходите в отставку.

Того это ужасно обидело, и он пожаловался Паскевичу.

— Ты ничего не понимаешь, и должен ценить людей, которых тебе оставил Самбурский, — отвечал фельдмаршал. А докучное дело об уравнивании служебных выгод,

приносившее много хлопот по сношениям, приказал «бросить».

Всему этому надо было долежаться до позднейшего времени и до других русских деятелей, которым удалось сделать в этих вопросах более того, что мог сделать Самбурский. Чести их это, разумеется, нисколько не уменьшает, но для исторической верности и справедливой оценки событий, может быть, не лишнее знать, что идеи князя Владимира Александровича Черкасского гораздо прежде его трудов в Польше имели первого дальнозоркого, деятельного и притом самоотверженного и бескорыстнейшего представителя в лице Ивана Фомича Самбурского. Таких людей достойно знать и в известных случаях жизни подражать им, если есть сила вместить благородный патриотический дух, который согревал их сердце, окрылял слово и руководил поступками.

Впервые опубликовано — сборник «Три праведника и один Шерамур», СПб., 1880.

НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОЛОВАН (Из рассказов о трех праведниках)

Совершенная любовь изгоняет страх.
Иоанн.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он сам почти миф, а история его — легенда. Чтобы повествовать о нем — надо быть французом, потому что одним людям этой нации удастся объяснить другим то, чего они сами не понимают. Я говорю все это с тою целию, чтобы вперед испросить себе у моего читателя снисхождения ко всестороннему несовершенству моего рассказа о лице, воспроизведение которого стоило бы трудов гораздо лучшего мастера, чем я. Но Голован может быть скоро совсем позабыт, а это была бы утрата. Голован стоит внимания, и хотя я его знаю не настолько, чтобы мог начертать полное его изображение, однако я подберу и представлю некоторые черты этого не высокого ранга смертного человека, который сумел прослыть «несмертельным».

Прозвище «несмертельного», данное Головану, не выражало собою насмешки и отнюдь не было пустым, бессмысленным звуком — его прозвали несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован — человек особенный; человек, который не боится смерти. Как могло сложиться о нем такое мнение среди людей, ходящих под богом и всегда помнящих о своей смертности? Была ли на это достаточная причина, развившаяся в последовательной условности, или же такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости?

Мне казалось, что последнее было вероятнее, но как судили о том другие — этого я не знаю, потому что в детстве моем об этом не думал, а когда я вырос и мог понимать вещи — «несмертельного» Голована уже не было на свете. Он умер, и притом не самым опрятным образом: он погиб во время так называемого в г. Орле «большого пожара», утонув в кипящей ямине, куда упал, спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако «часть его большая, от тлена убежав, продолжала жить в благодарной памяти», и я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о нем знал и слышал, дабы таким образом еще продлилась на свете его достойная внимания память.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Несмертельный Голован был простой человек. Лицо его, с чрезвычайно крупными чертами, врезалось в моей памяти с ранних дней и осталось в ней навсегда. Я его встретил в таком возрасте, когда, говорят, будто бы дети еще не могут получать прочных впечатлений и

износить из них воспоминаний на всю жизнь, но, однако, со мною случилось иначе. Случай этот отмечен моею бабушкою следующим образом:

«Вчера (26 мая 1835 г.) приехала из Горохова к Машеньке (моей матери), Семена Дмитрича (отца моего) не застала дома, по командировке его в Елец на следствие о страшном убийстве. Во всем доме были одни мы, женщины и девичья прислуга. Кучер уехал с ним (отцом моим), только дворник Кондрат оставался, а на ночь сторож в переднюю ночевать приходил из правления (губернское правление, где отец был советником). Сегодняшнего же числа Машенька в двенадцатом часу пошла в сад посмотреть цветы и кануфер полить и взяла с собой Николушку (меня) на руках у Анны (понины живой старушки). А когда они шли назад к завтраку, то едва Анна начала отпирать калитку, как на них сорвалась цепная Рябка, прямо с цепью, и прямо кинулась на грудцы Анне, но в ту самую минуту, как Рябка, опершись лапами, бросился на грудь Анне, Голован схватил его за шиворот, стиснул и бросил в погребное творило. Там его и пристрелили из ружья, а дитя спаслось».

Дитя это был я, и как бы точны ни были доказательства, что полуторагодовалый ребенок не может помнить, что с ним происходило, я, однако, помню это происшествие.

Я, конечно, не помню, откуда взялась взбешенная Рябка и куда ее дел Голован, после того как она захрипела, барахтаясь лапами и извиваясь всем телом в его высоко поднятой железной руке; но я помню момент... только момент. Это было как при блеске молоньи среди темной ночи, когда почему-то вдруг видишь чрезвычайное множество предметов зараз: занавес кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочке канарейку и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которой пятнышками осела магnezия. Такого, вероятно, свойство страха, имеющего большие очи. В одном таком моменте я как сейчас вижу перед собою огромную собачью морду в мелких пестринах — сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом, точно на помаженном зеве... оскал, который хотел уже защелкнуться, но вдруг верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившаяся горловина. Надо всем этим стояла огромная человеческая фигура с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного пса. Во все это время лицо человека улыбалось.

Описанная фигура был Голован. Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу.

В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков; сложение имел широкое, сухое и мускулистое; он был смугл, круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом и толстыми губами. Волосы на голове и подстриженной бороде Голована были очень густые, цвета соли с перцем. Голова была всегда коротко острижена, борода и усы тоже стриженные. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни на минуту: она светилась в каждой черте, но преимущественно играла на устах и в глазах, умных и добрых, но как будто немножко насмешливых. Другого выражения у Голована как будто не было, по крайней мере я иного не помню. К дополнению этого неискusного портрета Голована надо упомянуть об одной странности или особенности, которая заключалась в его походке. Голован ходил очень скоро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с подскоком. Он не хромал, а, по местному выражению, «шкандыбал», то есть на одну, на правую ногу наступал твердою поступью, а с левой подпрыгивал. Казалось, что эта нога у него не гнулась, а пружинила где-то в мускуле или в суставе. Так ходят люди на искусственной ноге, но у Голована она была не искусственная; хотя, впрочем, эта особенность тоже и не зависела от природы, а ее устроил себе он сам, и в этом была тайна, которую нельзя объяснить сразу.

Одевался Голован мужиком — всегда, летом и зимою, в пеклые жары и в сорокаградусные морозы, он носил длинный, нагольный овчинный тулуп, весь промасленный и почерневший. Я никогда не видал его в другой одежде, и отец мой, помню, частенько шутил над этим тулупом, называя его «вековечным».

По тулупу Голован подпоясывался «чекменным» ремешком с белым сбруйным набором, который во многих местах пожелтел, а в других — совсем осыпался и оставил

наружу дратву да дырки. Но тулуп содержался в опрятности от всяких мелких жильцов — это я знал лучше других, потому что я часто сиживал у Голована за пазухой, слушая его речи, и всегда чувствовал себя здесь очень покойно.

Широкий ворот тулупа никогда не застегивался, а, напротив, был широко открыт до самого пояса. Здесь было «недро», представлявшее очень просторное помещение для бутылок со сливками, которые Голован поставлял на кухню Орловского дворянского собрания. Это был его промысел с тех самых пор, как он «вышел на волю» и получил на разживу «ермоловскую корову».

Могучую грудь «несмертельного» покрывала одна холщовая рубашка малороссийского покроя, то есть с прямым воротом, всегда чистая как кипень и непременно с длинной цветною завязкою. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусок шерстяной материи или даже ситца, но она сообщала наружности Голована нечто свежее и джентльменское, что ему очень шло, потому что он в самом деле был джентльмен.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красиво. Тогда, до пожаров, это был край настоящего города. Вправо за Орлик шли мелкие хибары слободы, которая примыкала к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Великого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву, а сзади, за садами, — глубокий овраг и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой — самые ранние картины, которые я видел наблюдал чаще всего прочего. На этом же выгоне, или, лучше сказать, на узкой полосе, отделявшей наши сады заборами от оврага, паслись шесть или семь коров Голована и ему же принадлежавший красный бык «ермоловской» породы. Быка Голован содержал для своего маленького, но прекрасного стада, а также разводил его в поводу «на подержанье» по домам, где имели в том хозяйственную надобность. Ему это приносило доход.

Средства Голована к жизни заключались в его удоистых коровах и их здоровом супруге. Голован, как я выше сказал, поставлял на дворянский клуб сливки и молоко, которые славились своими высокими достоинствами, зависевшими, конечно, от хорошей породы его скота и от доброго за ним ухода. Масло, поставляемое Голованом, было свежо, желто, как желток, и ароматно, а сливки «не текли», то есть если оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не лились струей, а падали как густая, тяжелая масса. Продуктов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не имел себе соперников, а дворяне тогда не только умели есть хорошо, но и имели чем расплачиваться. Кроме того, Голован поставлял также в клуб отменно крупные яйца от особенно крупных голландских кур, которых водил во множестве, и, наконец, «приготавливал телят», отпаивая их мастерски и всегда ко времени, например к наибольшему съезду дворян или к другим особенным случаям в дворянском круге.

В этих видах, обусловливающих средства Голована к жизни, ему было очень удобно держаться дворянских улиц, где он продовольствовал интересных особ, которых орловцы некогда узнавали в Паншине, в Лаврецком и в других героях и героинях «Дворянского гнезда».

Голован жил, впрочем, не в самой улице, а «на отлете». Постройка, которая называлась «Головановым домом», стояла не в порядке домов, а на небольшой террасе обрыва под левым рядом улицы. Площадь этой террасы была сажень в шесть в длину и столько же в ширину. Это была глыба земли, которая когда-то поехала вниз, но на дороге остановилась, окрепла и, не представляя ни для кого твердой опоры, едва ли составляла чью-нибудь собственность. Тогда это было еще возможно.

Голованову постройку в собственном смысле нельзя было назвать ни двором, ни домом. Это был большой, низкий сарай, занимавший все пространство отпавшей глыбы.

Может быть, бесформенное здание это было здесь возведено гораздо ранее, чем глыбе вздумалось спуститься, и тогда оно составляло часть ближайшего двора, владелец которого за ним не погнался и уступил его Головану за такую дешевую цену, какую богатырь мог ему предложить. Помнится мне даже, как будто говорили, что сарай этот был подарен Головану за какую-то услугу, оказывать которые он был большой охотник и мастер.

Сарай был переделен надвое: одна половина, обмазанная глиной и выбеленная, с тремя окнами на Орлик, была жилым помещением Голована и находившихся при нем пяти женщин, а в другой были наделаны стойла для коров и быка. На низком чердаке жили голландские куры и черный «шпанский» петух, который жил очень долго и считался «колдовской птицей». В нем Голован растил петуший камень, который пригоден на множество случаев: на то, чтобы счастье приносить, отнятое государство из неприятельских рук возвращать и старых людей на молодых переделывать. Этот камень зреет семь лет и созревает только тогда, когда петух петть перестанет.

Сарай был так велик, что оба отделения — жилое и скотское — были очень просторны, но, несмотря на всю о них заботливость, плохо держали тепло. Впрочем, тепло нужно было только для женщин, а сам Голован был нечувствителен к атмосферным переменам и лето и зиму спал на ивняковой плетенке в стойле, возле любимца своего — красного тирольского быка «Васьки». Холод его не брал, и это составляло одну из особенностей этого мифического лица, через которые он получил свою баснословную репутацию.

Из пяти женщин, живших с Голованом, три были его сестры, одна мать, а пятая называлась Павла, или, иногда, Павлагеюшка. Но чаще ее называли «Голованов грех». Так я привык слышать с детства, когда еще даже и не понимал значения этого намека. Для меня эта Павла была просто очень ласковою женщиною, и я как сейчас помню ее высокий рост, бледное лицо с ярко-алыми пятнами на щеках и удивительной черноты и правильности бровями.

Такие черные брови правильными полукругами можно видеть только на картинах, изображающих персиянку, покоящуюся на коленях престарелого турка. Наши девушки, впрочем, знали и очень рано сообщили мне секрет этих бровей: дело заключалось в том, что Голован был зелейник и, любя Павлу, чтобы ее никто не узнал, — он ей, сонной, помазал брови медвежьим салом. После этого в бровях Павлы, разумеется, не было уже ничего удивительного, а она к Головану привязалась не своею силою.

Наши девушки все это знали.

Сама Павла была чрезвычайно кроткая женщина и «все молчала». Она была столь молчалива, что я никогда не слыхал от нее более одного, и то самого необходимого слова: «здравствуй», «садись», «прощай». Но в каждом этом коротком слове слышалась бездна приветов, доброжелательства и ласки. То же самое выражал звук ее тихого голоса, взгляд серых глаз и каждое движение. Помню тоже, что у нее были удивительно красивые руки, что составляет большую редкость в рабочем классе, а она была такая работница, что отличалась деятельностью даже в трудолюбивой семье Голована.

У них у всех было очень много дела: сам «несмертельный» кипел в работе с утра до поздней ночи. Он был и пастух, и поставщик, и сыровар. С зарею он выгонял свое стадо за наши заборы на росу и все переводил своих статных коров с обрывца на обрывец, выбирая для них, где потучнее травка. В то время, когда у нас в доме вставали, Голован являлся уже с пустыми бутылками, которые забирал в клубе вместо новых, которые снес туда сегодня; собственноручно врубал в лед нашего ледника кувшины нового удою и говорил о чем-нибудь с моим отцом, а когда я, отучившись грамоте, шел гулять в сад, он уже опять сидел под нашим заборчиком и руководил своими коровками. Здесь была в заборе маленькая калиточка, через которую я мог выходить к Головану и разговаривать с ним. Он так хорошо умел рассказывать сто четыре священные истории, что я их знал от него, никогда не уча их по книге. Сюда же приходили к нему, бывало, какие-то простые люди — всегда за советами. Иной, бывало, как придет, так и начинает:

— Искал тебя, Голованыч, посоветуй со мной.

— Что такое?

— А вот то-то и то-то: в хозяйстве что-нибудь расстроилось или семейные нелады.

Чаще приходили с вопросами этой второй категории. Голованыч слушает, а сам ивнячок плетет или на коровок покрикивает и все улыбается, будто без внимания, а потом вскинет своими голубыми глазами на собеседника и ответит:

— Я, брат, плохой советник! Бога на совет призови.

— А как его призовешь?

— Ох, брат, очень просто: помолись да сделай так, как будто тебе сейчас помирать надо. Вот скажи-ка мне: как бы ты в таком разе сделал?

Тот подумает и ответит.

Голован или согласится, или же скажет:

— А я бы, брат, умираючи вот как лучше сделал.

И рассказывает по обыкновению все весело, со всегдашней улыбкой.

Должно быть, его советы были очень хороши, потому что всегда их слушали и очень его за них благодарили.

Мог ли у такого человека быть «грех» в лице кротчайшей Павлагеюшки, которой в то время, я думаю, была с небольшим лет тридцать, за пределы которых она и не перешла далее? Я не понимал этого «греха» и остался чист оттого, чтобы оскорбить ее и Голована довольно общими подозрениями. А повод для подозрений был, и повод очень сильный, даже если судить по видимости, неопровержимый. Кто она была Головану? — чужая. Этого мало: он ее когда-то знал, он был одних с нею господ, он хотел на ней жениться, но это не состоялось: Голована дали в услуги герою Кавказа Алексею Петровичу Ермолову, а в это время Павлу выдали замуж за наездника Ферапонта, по местному выговору «Храпона». Голован был нужный и полезный слуга, потому что он умел все, — он был не только хороший повар и кондитер, но и сметливый и бойкий походный слуга. Алексей Петрович платил за Голована, что следовало, его помещику, и, кроме того, говорят, будто дал самому Головану взаймы денег на выкуп. Не знаю, верно ли это, но Голован действительно вскоре по возвращении от Ермолова выкупился и всегда называл Алексея Петровича своим «благодетелем». Алексей же Петрович по выходе Голована на волю подарил ему на хозяйство хорошую корову с теленком, от которых у того и пошел «ермоловский завод».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда именно Голован поселился в сарае на обвале, — этого я совсем не знаю, но это совпадало с первыми днями его «вольного человечества», — когда ему предстояла большая забота о родных, оставшихся в рабстве. Голован был выкуплен самолично один, а мать, три его сестры и тетка, бывшая впоследствии моею нянькою, оставались «в крепости». В таком же положении была и нежно любимая ими Павла, или Павлагеюшка. Голован ставил первую заботою всех их выкупить, а для этого нужны были деньги. По мастерству своему он мог бы идти в повара или в кондитеры, но он предпочел другое, именно молочное хозяйство, которое и начал при помощи «ермоловской коровы». Было мнение, что он избрал это потому, что сам был молокан. Может быть, это значило просто, что он все возился с молоком, но может быть, что название это метило прямо на его веру, в которой он казался странным, как и во многих иных поступках. Очень возможно, что он на Кавказе и знал молоканов и что-нибудь от них позаимствовал. Но это относится к его странностям, до которых дойдет ниже.

Молочное хозяйство пошло прекрасно: года через три у Голована было уже две коровы и бык, потом три, четыре, и он нажил столько денег, что выкупил мать, потом каждый год выкупал по сестре, и всех их забирал и сводил в свою просторную, но прохладную лачугу. Так лет в шесть-семь он высвободил всю семью, но красавица Павла у него улетела. К тому времени, когда он мог и ее выкупить, она была уже далеко. Ее муж, наездник Храпон, был плохой человек — он не угодил чем-то барину и, в пример прочим, был отдан в рекруты без

зачета.

В службе Храпон попал в «скачки», то есть верховые пожарной команды в Москву, и вытребовал туда жену; но вскоре и там сделал что-то нехорошее и бежал, а покинутая им жена, имея нрав тихий и робкий, убоялась коловратностей столичной жизни и возвратилась в Орел. Здесь она тоже не нашла на старом месте никакой опоры и, гонимая нуждою, пришла к Головану. Тот, разумеется, ее тотчас же принял и поместил у себя в одной и той же просторной горнице, где жили его сестры и мать. Как мать и сестры Голована смотрели на водворение Павлы, — я доподлинно не знаю, но водворение ее в их доме не посеяло никакой распри. Все женщины жили между собою очень дружно и даже очень любили бедную Павлагеюшку, а Голован всем им оказывал равную внимательность, а особенное почтение оказывал только матери, которая была уже так стара, что он летом выносил ее на руках и сажал на солнышко, как больного ребенка. Я помню, как она «заходилась» ужасным кашлем и все молилась «о прибрании».

Все сестры Голована были пожилые девушки и все помогали брату в хозяйстве: они убирали и доили коров, ходили за курами и пряли необыкновенную пряжу, из которой потом ткали необыкновенные же и никогда мною после этого не виданные ткани. Пряжа эта называлась очень некрасивым словом «поплёвки». Материал для нее приносил откуда-то в кульках Голован, и я видел и помню этот материал: он состоял из небольших суковатых обрывочков разноцветных бумажных нитей. Каждый обрывочек был длиною от вершка до четверти аршина, и на каждом таком обрывочке непременно был более или менее толстый узелок или сучок. Откуда Голован брал эти обрывки — я не знаю, но очевидно, что это был фабричный отброс. Так мне и говорили его сестры.

— Это, — говорили, — миленький, где бумагу прядут и ткут, так — как до такого узелка дойдут, сорвут его да на пол и сплюнут — потому что он в берда не идет, а братец их собирает, а мы из них вот тепленькие одеяльца делаем,

Я видал, как они все эти обрывки нитей терпеливо разбирали, связывали их кусочек с кусочком, наматывали образующуюся таким образом пеструю, разноцветную нить на длинные шпули; потом их трастили, ссучивали еще толще, растягивали на колышках по стене, сортировали что-нибудь одноцветное для каем и, наконец, ткали из этих «поплевков» через особое бердо «поплевковые одеяла». Одеяла эти с виду были похожи на нынешние байковые: так же у каждого из них было по две каймы, но само полотно всегда было мрамористое. Узелки в них как-то сглаживались от ссучивания и хотя были, разумеется, очень заметны, но не мешали этим одеялам быть легкими, теплыми и даже иногда довольно красивыми. Притом же они продавались очень дешево — меньше рубля за штуку.

Эта кустарная промышленность в семье Голована шла без остановки, и он, вероятно, находил сбыт поплевковым одеялам без затруднения.

Павлагеюшка тоже вязала и сучила поплёвки и ткала одеяла, но, кроме того, она, по усердию к приютившей ее семье, несла еще все самые тяжелые работы в доме: ходила под кручу на Орлик за водою, носила топливо, и прочее, и прочее.

Дрова уже и тогда в Орле были очень дороги, и бедные люди отапливались то гречневою лузгою, то навозом, а последнее требовало большой заготовки.

Все это и делала Павла своими тонкими руками, в вечном молчании, глядя на свет божий из под своих персидских бровей. Знала ли она, что ее имя «грех», — я не сведущ, но таково было ее имя в народе, который твердо стоит за выдуманные им клички. Да и как иначе: где женщина, любящая, живет в доме у мужчины, который ее любил искал на ней жениться, — там, конечно, грех. И действительно, в то время, когда я ребенком видал Павлу, она единогласно почиталась «Головановым грехом», но сам Голован не утрачивал через это ни малейшей доли общего уважения и сохранял прозвище «несмертельного».

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Несмертельным» стали звать Голована в первый год, когда он поселился в

одиночестве над Орликом с своею «ермоловскою коровою» и ее теленком. Поводом к тому послужило следующее вполне достоверное обстоятельство, о котором никто не вспомнил во время недавней «прокофьевской» чумы. Было в Орле обычное лихолетье, а в феврале на день св. Агафьи Коровницы по деревням, как надо, побежала «коровья смерть». Шло это, яко тому обычай есть и как пишется в универсальной книге, иже глаголется Прохладный вертоград: «Как лето сканчевается, а осень приближается, тогда вскоре моровое поветрие начинается. А в то время надобе всякому человеку на всемогущего бога упование возлагати и на пречистую его мать и силою честного креста ограждатися и сердце свое воздержати от кручины, и от ужаста, и от тяжелой думы, ибо через сие сердце человеческое умаляется и скоро порса и язва прилепляется — мозг и сердце захватит, осилеет человека и борзо умрет». Было все это тоже при обычных картинах нашей природы, «когда стают в осень туманы густые и темные и ветер с полуденной страны и последи дожди и от солнца воскурение земли, и тогда надобе на ветер не ходити, а сидети во избе в топленной и окон не отворяти, а добро бы, чтобы в том граде нижити и из того граду отходить в места чистые». Когда, то есть в каком именно году последовал мор, прославивший Голована «несмертельным», — этого я не знаю. Такими мелочами тогда сильно не занимались и из-за них не поднимали шума, как вышло из-за Наума Прокофьева. Местное горе в своем месте и кончалось, умириваемое одним упованием на бога и его пречистую мать, и разве только в случае сильного преобладания в какой-нибудь местности досужего «интеллигента» принимались своеобразные оздоравливающие меры: «во дворах огонь раскладывали ясный, дубовым древом, дабы дым расходился, а в избах курили пельнею и можжевельными дровами и листием рутовым». Но все это мог делать только интеллигент, и притом при хорошем зажитке, а смерть борзо брала не интеллигента, но того, кому ни в избе топленной сидеть некогда, да и древом дубовым раскрытый двор топить не по силам. Смерть шла об руку с голодом и друг друга поддерживали. Голодающие побирались у голодающих, больные умирали «борзо», то есть, скоро, что крестьянину и выгоднее. Долгих томлений не было, не было слышно и выздоравливающих. Кто заболел, тот «борзо» и помер, кроме одного. Какая это была болезнь — научно не определено, но народно ее звали «пазуха», или «веред», или «жмыховой пупырух», или даже яросто «пупырух». Началось это с хлебородных уездов, где, за неимением хлеба, ели конопляный жмых. В Карачевском и Брянском уездах, где крестьяне мешали горсть непросеивной муки с толченой корою, была болезнь иная, тоже смертоносная, но не «пупырух». «Пупырух» показался сначала на скоте, а потом передавался людям. «У человека под пазухами или на шее садится болячка червена, и в теле колотье почюет, и внутри негасимое горячество или во удесех некая студеность и тяжкое воздыхание и не может воздыхати — дух в себя тянет и паки отпускает; сон найдет, что не может перестать спать; явится горесть, кислоть и блевание; в лице человек сменится, станет образом глиностен и борзо помирает». Может быть, это была сибирская язва, может быть, какая-нибудь другая язва, но только она была губительна и беспощадна, а самое распространенное название ей, опять повторяю, было «пупырух»; Вскочит на теле прыщ, или попростонародному «пупырушек», зажелтоголовится, вокруг зардеет, и к суткам начинает мясо отгнивать, а потом борзо и смерть. Скорая смерть представлялась, впрочем, «в добрых видах». Кончина приходила тихая, не мучительная, самая крестьянская, только всем помиравшим до последней минутки хотелось пить. В этом и был весь недолгий и неутомительный уход, которого требовали, или, лучше сказать, вымаливали себе больные. Однако уход за ними даже в этой форме был не только опасен, но почти невозможен, — человек, который сегодня подавал пить заболевшему родичу, — завтра сам заболел «пупырухом», и в доме нередко ложилось два и три покойника рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без помощи — без той единственной помощи, о которой заботится наш крестьянин, «чтобы было кому подать напиться». Вначале такой сирота поставит себе у изголовья ведро с водою и черпает ковшиком, пока рука поднимается, а потом сосучит из рукава или из подола рубашки соску, смочит ее, сунет себе в рот, да так с ней и заостенеет.

Большое личное бедствие — плохой учитель милосердия. По крайней мере оно нехорошо действует на людей обыкновенной, заурядной нравственности, не возвышающейся за черту простого сострадания. Оно притупляет чувствительность сердца, которое само тяжко страдает и полно ощущения собственных мучений. Зато в эти горестные минуты общего бедствия среда народная выдвигает из себя героев великодушия, людей бесстрашных и самоотверженных. В обыкновенное время они не видны и часто ничем не выделяются из массы: но наскочит на людей «пупырушек», и народ выделяет из себя избранника, и тот творит чудеса, которые делают его лицом мифическим, баснословным, «несмертельным». Голован был из таких, и в первый же мор превзошел и затмил в народном представлении другого здешнего замечательного человека, купца Ивана Ивановича Андросова. Андросов был честный старик, которого уважали и любили за доброту и справедливость, ибо он «близко-помощен» был ко всем народным бедствиям. Помогал он и в «мору», потому что имел списанным «врачевание» и «все оное переписывал и множил». Списания эти у него брали и читали по разным местам, но понять не могли и «приступить не знали». Писано было: «Аще болячка явится поверх главы или ином месте выше пояса, — пушай много кровь из медианы; аще явится на челе, то пушай скоро кровь из-под языка; аще явится подле ушей и под бороною, пушай из сефалиевы жилы, аще же явится под пазухами, то, значит, сердце больно, и тогда в той стороне медиан отворяй». На всякое место, «где тягостно услышишь», расписано было, какую жилу отворять: «сафенову», или «против большого перста, или жилу спатику, полуматику, или жилу базику» с наказом «пущать из них кровь течи, дондеже зелена станет и переменится». А лечить еще «левкарем да антелем, печатною землею да землею армейскою; вином малмозеею, да водкой буглосовою, вирианом виницейским, митридатой да сахаром монюс-кристи», а входящим к больному «держат во рте дягилева корыние, а в руках — полынь, а ноздри сворбориновым уксусом помазаны и губу в уксусе мочену жохать». Никто ничего в этом понять не мог, точно в казенном указе, в котором писано и переписано, то туда, то сюда и «в дву потомуж». Ни жил таких не находили, ни вина малмозеи, ни земли армейской, ни водки буглосовой, и читали люди списания доброго старичка Андросова более только для «утоли моя печали». Применять же из них могли одни заключительные слова: «а где бывает мор, и в те места не надобе ходить, а отходить прочь». Это и соблюдали во множестве, и сам Иван Иванович держал то же правило и сидел в избе топленой и раздавал врачебные списания в подворотенку, задерживая в себе дух и держа во рту дягиль-корень. К больным можно было безопасно входить только тем, у кого есть оленье слезы или безоар-камень; но ни слез оленьих, ни камня безоара у Ивана Ивановича не было, а в аптеках на Волховской улице камень хотя, может быть, и водился, но аптекаря были — один из поляков, а другой немец, к русским людям надлежащей жалости не имели и безоар-камень для себя берегли. Это было вполне достоверно потому, что один из двух орловских аптекарей как потерял свой безоар, так сейчас же на дороге у него стали уши желтеть, око одно ему против другого убавилось, и он стал дрожать и хоша желал вспотеть и для того велел себе дома к подошвам каленый кирпич приложить, однако не вспотел, а в сухой рубахе умер. Множество людей искали потерянный аптекарем безоар, и кто-то его нашел, только не Иван Иванович, потому что он тоже умер.

И вот в это-то ужасное время, когда интеллигенты отирались уксусом и не выпускали духу, по бедным слободским хибаркам еще ожесточеннее пошел «пупырух»; люди начали здесь умирать «соплошь и без всякой помощи», — и вдруг там, на ниве смерти, появился с изумительным бесстрашием Голован. Он, вероятно, знал или думал, будто знает какую-то медицину, потому что клал на опухоли больных своего приготовления «кавказский пластырь»; но этот его кавказский, или ермоловский, пластырь помогал плохо. «Пупырухов» Голован не вылечивал, так же как и Андросов, но зато велика была его услуга больным и здоровым в том отношении, что он безбоязненно входил в зачумленные лачуги и поил зараженных не только свежеею водою, но и снятым молоком, которое у него оставалось из-под клубных сливок. Утром рано до зари переправлялся он на снятых с петель сарайных воротах через Орлик (лодки здесь не было) и с бутылками за необъятным недром шнырял

из лачужки в лачужку, чтобы промочить из скляницы засохшие уста умирающих или поставить мелом крест на двери, если драма жизни здесь уже кончилась и занавесь смерти закрывалась над последним из актеров.

С этих пор доселе малоизвестного Голована широко узнали во всех слободах, и началось к нему большое народное тяготение. Имя его, прежде знакомое прислуге дворянских домов, стали произносить с уважением в народе; начали видеть в нем человека, который не только может «заступить умершего Ивана Ивановича Андросова, а даже более его означать у бога и у людей». А самому бесстрашию Голована не уемдили подыскать сверхъестественное объяснение: Голован, очевидно, что-то знал, и в силу такого знахарства он был «несмертельный»...

Позже оказалось, что это так именно и было: это помог всем разъяснить пастух Панька, который видел за Голованом вещь невероятную, да подтверждалось это и другими обстоятельствами.

Язва Голована не касалась. Во все время, пока она свирепствовала в слободах, ни сам он, ни его «ермоловская» корова с бычком ничем не заболели; но этого мало: самое важное было то, что он обманул и извел, или, держась местного говора, «изништожил» саму язву, и сделал то, не пожалев теплой крови своей за народушко.

Потерянный аптекарем безоар-камень был у Голована. Как он ему достался — это было неизвестно. Полагали, что Голован нес сливки аптекарю для «обыденной мази» и увидел этот камень и утаил его. Честно это или не честно было произвести такую утайку, про то строгой критики не было, да и быть не должно. Если не грех взять и утаить съедомое, потому что съедомое бог всем дарствует, то тем паче не предосудительно взять целебное вещество, если оно дано к общему спасению. Так у нас судят — так и я сказываю. Голован же, утаив аптекарев камень, поступил с ним великодушно, пустив его на общую пользу всего рода христианского.

Все это, как я выше уже сказал, обнаружил Панька, а общий разум мирской это выяснил.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Панька, разноглазый мужик с выцветшими волосами, был подпаском у пастуха, и, кроме общей пастушьей должности, он еще гонял по утрам на росу переkreщиванских коров. В одно из таких ранних своих занятий он и подсмотрел все дело, которое вознесло Голована на верх величия народного.

Это было по весне, должно быть вскоре после того, как выехал на русские поля изумрудные молодой Егорий светлохрабрый, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, по концам звезды переходящие, а божий люд честной-праведный выгнал встреч ему мал и крупен скот. Травка была еще так мала, что овца и коза ею едва-едва наедались, а толстогубая корова мало могла захватывать. Но под плетнями в тених и по канавкам уже ботвели полынь и крапива, которые с росой за нужду елись.

Выгнал Панька переkreщиванских коров рано еще, затемно, и прямо бережком около Орлика прогнал за слободу на полянку, как раз напротив конца Третьей Дворянской улицы, где с одной стороны по скату шел старый, так называвшийся «городецкий» сад, а слева на своем обрывке лепилось Голованово гнездо.

Было еще холодно, особенно перед зарею, по утрам, а кому спать хочется, тому еще холоднее кажется. Одежда на Паньке была, разумеется, плохая, сиротская, какая-нибудь рвань с дырой на дыре. Парень вертится на одну сторону, вертится на другую, молит, чтобы святой Федул на него теплом подул, а наместо того все холодно. Только заведет глаза, а ветерок заюлит, заюлит в прореху и опять разбудит. Однако молодая сила взяла свое: натянул Панька свитку на себя совсем сверх головы, шалашиком, и задремал. Час какой не расслышал, потому что зеленая богоявленская колокольня далеко. А вокруг никого, нигде ни

одной души человеческой, только толстые купеческие коровы пыхтят, да нет-нет в Орлике резвый окунь всплеснет. Дремлется пастуху и в дырявой свитке. Но вдруг как будто что-то его под бок толкнуло, вероятно зефир где-нибудь еще новую дыру нашел. Панька вскинулся, повел спросонья глазами, хотел крикнуть: «куда, комолая», и остановился. Показалось ему, что кто-то на той стороне спускается с кручи. Может быть, вор хочет закопать в глине что-нибудь краденое. Панька заинтересовался: может быть, он подстережет вора и накроет его либо закричит ему «чур вместе», а еще лучше, постарается хорошенько заметить похоронку, да потом переплывет днем Орлик, выкопает и все себе без раздела возьмет.

Панька воззрился и все на кручу за Орлик смотрит. А на дворе еще чуть серело.

Вот кто-то спускается с кручи, сошел, стал на воду и идет. Да так просто идет по воде, будто посуху, и не плескает ничем, а только костьюльком подпирается. Панька оторопел. Тогда в Орле из мужского монастыря чудотворца ждали, и голоса уже из подполицы слышали. Началось это сразу после «Никодимовых похорон». Архиепией Никодим был злой человек, отличившийся к концу своей земной карьеры тем, что, желая иметь еще одну кавалерию, он из угодливости сдал в солдаты очень много духовных, между которыми были и единственные сыновья у отцов и даже сами семейные дьячки и пономари. Они выходили из города целой партией, заливаясь слезами. Провожающие их также рыдали, и самый народ, при всей своей нелюбви к многоовчинному поповскому брюху, плакал и подавал им милостыню. Самому партионному офицеру было их так жалко, что он, желая положить конец слезам, велел новым рекрутам запеть песню, а когда они хором стройно и громко затянули ими же сложенную песню:

Архирей наш Никодим

Архилютый крокодил,

то будто бы и сам офицер заплакал. Все это тонуло в море слез и чувствительным душам представлялось злом, вопиющим на небо. И действительно — как достигло их вопленье до неба, так в Орле пошли «гласы». Сначала «гласы» были невнятные и неизвестно от кого шли, но когда Никодим вскоре после этого умер и был погребен под церковью, то пошла явная речь от прежде его погребенного там епископа (кажется, Аполлоса). Прежде отшедший епископ был недоволен новым соседством и, ничем не стесняясь, прямо говорил: «Возьмите вон отсюда это падло, душно мне с ним». И даже угрожал, что если «падло» не уберут, то он сам «уйдет и в другом городе явится». Это многие люди слышали. Как, бывало, пойдут в монастырь ко всенощной и, отстояв службу, идут назад, им и слышно: стонет старый архиепией: «Возьмите падло». Всем очень желалось, чтобы заявление доброго покойника было исполнено, но не всегда внимательное к нуждам народа начальство не выбрасывало Никодима, и явно открывавшийся угодник всякую минуту мог «сойти с двора».

Вот не что иное, как это самое, теперь и происходило: угодник уходит, и видит его только один бедный пастушок, который так от этого растерялся, что не только не задержал его, но даже не заметил, как святой уже и из глаз у него пропал. На дворе же только чуть начало светать. Со светом к человеку прибывает смелости, с смелостью усиливается любознательность. Панька захотел подойти к самой воде, через которую только что проследовало таинственное существо; но едва он подошел, как видит, тут мокрые воротница к бережку шестом приткнуты. Дело выяснилось, значит, это не угодник проследовал, а просто проплыл бессмертный Голован: верно, он пошел каких-нибудь обезродевших ребятишек из недра молочком приветить. Панька подивился: когда этот Голован и спит!.. Да и как он, этакой мужичище, плавает на этакой посудине — на половинке ворот? Правда, что Орлик река не великая и воды его, захваченные пониже запрудой, тихи, как в луже, но все-таки каково это на воротах плавать?

Паньке захотелось самому это попробовать. Он стал на воротца, взял шестик да, шая, и переехал на ту сторону, а там сошел на берег Голованов дом посмотреть, потому что уже хорошо забрезжило, а между тем Голован в ту минуту и кричит с той стороны: «Эй! кто мои ворота угнал! назад давай!»

Панька был малый не большой отваги и не приучен был рассчитывать на чье-либо

великодушие, а потому испугался и сделал глупость. Вместо того чтобы подать Головану назад его плот, Панька взял да и схоронился в одну из глиняных ямок, которых тут было множество. Залег Панька в яминку и, сколько его Голован ни звал с той стороны, он не показывается. Тогда Голован, видя, что ему не достать своего корабля, сбросил тулуп, разделся донага, связал весь свой гардероб ремнем, положил на голову и поплыл через Орлик. А вода была еще очень холодна.

Панька об одном заботился, чтобы Голован его не увидал и не побил, но скоро его внимание было привлечено к другому. Голован переплыл реку и начал было одеваться, но вдруг присел, глянул себе под левое колено и остановился,

Было это так близко от яминки, в которой прятался Панька, что ему все было видно из-за глыбинки, которою он мог закрываться. И в это время уже было совсем светло, заря уже румянела, и хотя большинство горожан еще спали, но под городецким садом появился молодой парень с косою, который начал окашивать и складывать в плетушку крапиву.

Голован заметил косаря и, встав на ноги, в одной рубахе, громко крикнул ему:

— Малец, дай скорей косу!

Малец принес косу, а Голован говорит ему:

— Поди мне большой лопух сорви, — и как парень от него отвернулся, он снял косу с кося, присел опять на корточки, оттянул одною рукою икру у ноги, да в один мах всю ее и отрезал прочь. Отрезанный шмат мяса величиною в деревенскую лепешку швырнул в Орлик, а сам зажал рану обеими руками и повалился.

Увидев это, Панька про все позабыл, выскочил и стал звать косаря.

Парни взяли Голована и перетащили к нему в избу, а он здесь пришел в себя, велел достать из коробки два полотенца и скрутить ему порез как можно крепче. Они стянули его изо всей силы, так что кровь перестала.

Тогда Голован велел им поставить около него ведро с водою и ковшик, а самим идти к своим делам, и никому про то, что было, не рассказывать. Они же пошли и, трясаясь от ужаста, всем рассказали. А услышавшие про это сразу догадались, что Голован это сделал неспроста, а что он таким образом, изболясь за людей, бросил язве шмат своего тела на тот конец, чтобы он прошел жертвией по всем русским рекам из малого Орлика в Оку, из Оки в Волгу, по всей Руси великой до широкого Каспия, и тем Голован за всех отстрадал, а сам он от этого не умрет, потому что у него в руках аптекарев живой камень и он человек «несмертельный».

Сказ этот пришел всем по мысли, да и предсказание оправдалось. Голован не умер от своей страшной раны. Лихая же хвороба после этой жертвы действительно прекратилась, и настали дни успокоения: поля и луга уключились густой зеленью, и привольно стало по ним разезжать молодому Егорию светлохрабром, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, а по концам звезды переходящие. Отбелились холсты свежешю юрьевой росой, выехал вместо витязя Егория в поле Иеремия пророк с тяжелым ярмом, волоча сохи да бороны, засвистали соловьи в Борисов день, утешая мученика, стараниями святой Мавры засинела крепкая рассада, прошел Зосима святой с долгим костьюлем, в набалдашнике пчелиную манку пронес; минул день Ивана Богословца, «Николина батюшки», и сам Никола отпразднован, и стал на дворе Симон Зилот, когда земля именинница. На землины именины Голован вылез на завалинку и с той поры мало-помалу ходить начал и снова за свое дело принялся. Здоровье его, по-видимому, нимало не пострадало, но только Он «шкандыбать» стал — на левую ножку подпрыгивал.

О трогательности и отваге его кровавого над собою поступка люди, вероятно, имели высокое мнение, но судили о нем так, как я сказал: естественных причин ему не доискивались, а, окутав все своею фантазиею, сочинили из естественного события баснословную легенду, а из простого, великодушного Голована сделали мифическое лицо, что-то вроде волхва, кудесника, который обладал неодолимым талисманом и мог на все отважиться и нигде не погибнуть.

Знал или не знал Голован, что ему присваивала такие дела людская молва, — мне

неизвестно. Однако я думаю, что он знал, потому что к нему очень часто обращались с такими просьбами и вопросами, с которыми можно обращаться только к доброму волшебнику. И он на многие такие вопросы давал «помогательные советы», и вообще ни за какой спрос не сердился. Бывал он по слободам и за коровьего врача, и за людского лекаря, и за инженера, и за звездоточия, и за аптекаря. Он умел сводить шелуди и коросту опять-таки какою-то «ермоловской мазью», которая стоила один медный грош на трех человек; вынимал соленым огурцом жар из головы; знал, что травы надо собирать с Ивана до полу-Петра, и отлично «воду показывал», то есть где можно колодец рыть. Но это он мог, впрочем, не во всякое время, а только с начала июня до св. Федора Колодезника, пока «вода в земле слышно как идет по суставчикам». Мог Голован сделать и все прочее, что только человеку надо, но на остальное у него перед богом был зарок дан за то, чтобы пупырух остановился. Тогда он это кровью своею подтвердил и держал крепко-накрепко. Зато его и бог любил и миловал, а деликатный в своих чувствах народ никогда не просил Голована о чем не надобно. По народному этикету это так у нас принято.

Головану, впрочем, столь не тягостно было от мистического облака, которым повивала его народная fama,¹⁰ что он не употреблял, кажется, никаких усилий разрушить все, что о нем сложилось. Он знал, что это напрасно.

Когда я с жадностью пробегал листы романа Виктора Гюго «Труженики моря» и встретил там Жильята с его гениально очерченной строгостью к себе и снисходительностью к другим, достигшей высоты совершенного самоотвержения, я был поражен не одним величием этого облика и силою его изображения, но также и тождеством гернсейского героя с живым лицом, которого я знал под именем Голована. В них жил один дух и бились самоотверженным боем сходные сердца. Не много разнились они и в своей судьбе: во всю жизнь вокруг них густела какая-то тайна, именно потому, что они были слишком чисты и ясны, и как одному, так и другому не выпало на долю ни одной капли личного счастья.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Голован, как и Жильят, казался «сумнителен в вере».

Думали, что он был какой-нибудь раскольник, но это еще не важно, потому что в Орле в то время было много всякого разномыслия: там были (да, верно, и теперь есть) и простые староверы, и староверы не простые, — и федосеевцы, «пилипоны», и перекрещеванцы, были даже хлысты и «люди божии», которых далеко высылали судом человеческим. Но все эти люди крепко держались своего стада и твердо порицали всякую иную веру, — особились друг от друга в молитве и ядении, и одних себя разумели на «пути правом». Голован же вел себя так, как будто он даже совсем не знал ничего настоящего о наилучшем пути, а ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил, и сам садился за чей угодно стол, где его приглашали. Даже жиду Юшке из гарнизона он давал для детей молока. Но нехристианская сторона этого последнего поступка по любви народа к Головану нашла себе кое-какое извинение: люди проникли, что Голован, задабривая Юшку, хотел добыть у него тщательно сохраняемые евреями «иудины губы», которыми можно перед судом отолгаться, или «волосатый овощ», который жидам жажду тушит, так что они могут вина не пить. Но что совсем было непонятно в Головане, это то, что он водился с медником Антоном, который пользовался в рассуждении всех настоящих качеств самою плохую репутациею. Этот человек ни с кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил какие-то таинственные зодии и даже что-то сочинял. Жил Антон в слободе, в пустой горенке на чердачке, платя по полтине в месяц, но держал там такие страшные вещи, что к нему никто не заходил, кроме Голована. Известно было, что Антон имел здесь план, рекомый «зодии», и стекло, которым «с солнца огонь изводил»; а кроме того, у него был лаз на крышу, куда он

¹⁰ Слух, молва (лат.)

вылезал ночами наружу, садился, как кот, у трубы, «выставлял плезирую трубку» и в самое сонное время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому инструменту не знала пределов, особенно в звездные ночи, когда ему видны были все зодии. Как только прибежит от хозяина, где работал медную работу, — сейчас проскользнет через свою горенку и уже лезет из слухового окна на крышу, и если есть на небе звезды, он целые ночи сидит и все смотрит. Ему это могли бы простить, если бы он был ученый или по крайней мере немец, но как он был простой русский человек — его долго отучали, не раз доставали шестами и бросали навозом и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не замечал, как его тычут. Все, смеясь, звали его «Астроном», а он и в самом деле был астроном.¹¹ Человек он был тихий и очень честный, но вольнодумец; уверял, что земля вертится и что мы бываем на ней вниз головами. За эту последнюю очевидную несообразность Антон был бит и признан дурачком, а потом, как дурачок, стал пользоваться свободой мышления, составляющею привилегию этого выгодного у нас звания, и заходил до невероятного. Он не признавал седьмин Даниила прореченными на русское царство, говорил, что «зверь десятирогий» заключается в одной аллегории, а зверь медведица — астрономическая фигура, которая есть в его планах. Так же он вовсе неправославно разумел о «крыле орла», о фиалах и о печати антихристовой. Но ему, как слабоумному, все это уже прощалось. Он был не женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было бы кормить жену, — да и какая же дура решилась бы выйти за астронома? Голован же был в полном уме, но не только водился с астрономом, а и не шутил над ним; их даже видали ночами вместе на астрономовой крыше, как они, то один, то другой, переменяясь, посматривали в плезирую трубку на зодии. Понятно, что за мысли могли внушать эти две стоящие ночью у трубы фигуры, вокруг которых работали мечтательное суеверие, медицинская поэзия, религиозный бред и недоумение... И, наконец, сами обстоятельства ставили Голована в несколько странное положение: неизвестно было — какого он прихода... Холодная хибара его торчала на таком отлете, что никакие духовные стратеги не могли ее присчитать к своему ведению, а сам Голован об этом не заботился, и если его уже очень докучно расспрашивали о приходе, отвечал:

— Я из прихода Творца-Вседержителя, — а такого храма во всем Орле не было.

Жильят, в ответ на предлагаемый ему вопрос, где его приход, только поднимал вверх палец и, указав на небо, говорил:

— Вон там, — но сущность обоих этих ответов одинакова.

Голован любил слушать о всякой вере, но своих мнений на этот счет как будто не имел, и на случай неотступного вопроса: «како веруеши?» — читал:

«Верую во единого Бога-Отца, вседержителя творца, видимым же всем и невидимым».

Это, разумеется, уклончивость.

Впрочем, напрасно бы кто-нибудь подумал, что Голован был сектант или бежал церковности. Нет, он даже ходил к отцу Петру в Борисоглебский собор «совесть поверять». Придет и скажет:

— Посрамите меня, батюшка, что-то себе очень не нравлюсь.

Я помню этого отца Петра, который к нам хаживал, и однажды, когда мой отец сказал ему к какому-то слову, что Голован, кажется, человек превосходной совести, то отец Петр отвечал:

— Не сомневайтесь; его совесть снега белей.

¹¹ Я и мой товарищ по гимназии, нынче известный русский математик К. Д. Краевич, знавали этого антика в конце сороковых годов, когда мы были в третьем классе Орловской гимназии и жили вместе в доме Лосевых, «Антон-астроном» (тогда уже престарелый) действительно имел кое-какие понятия о небесных светилах и о законах вращения, но главное, что было интересно: он сам приготовил для своих труб стекла, отшлифовывая их песком и камнем из донышек толстых хрустальных стаканов, и через них он оглядывал целое небо... Жил он нищим, но не чувствовал своей нищеты, потому что находился в постоянном восторге от «зодий». (Прим. автора.)

Голован любил возвышенные мысли и знал Поппе, но не так, как обыкновенно знают писателя люди, прочитавшие его произведение. Нет; Голован, одобрив «Опыт о человеке», подаренный ему тем же Алексеем Петровичем Ермоловым, знал всю поэму наизусть. И я помню, как он, бывало, слушает, стоя у притолки, рассказ о каком-нибудь новом грустном происшествии и, вдруг вздохнув, отвечает:

Любезный Болинброк, гордыня в нас одна

Всех заблуждений сих неистовых вина.

Читатель напрасно стал бы удивляться, что такой человек, как Голован, перекидывался стихами Поппе. Тогда было время жестокое, но поэзия была в моде, и ее великое слово было дорого даже мужам кровей. От господ это снисходило до плебса. Но теперь я дохожу до самого большого казуса в истории Голована — такого казуса, который уже несомненно бросал на него двусмысленный свет, даже в глазах людей, не склонных верить всякому вздору. Голован представлялся не чистым в каком-то отдаленном прошлом. Это оказалось вдруг, но в самых резких видах. Появилась на стогнах Орла личность, которая ни в чьих глазах ничего не значила, но на Голована заявляла могущественные права и обходилась с ним с невероятной наглостью.

Эта личность и история ее появления есть довольно характерный эпизод из истории тогдашних нравов и не лишенная колорита бытовая картинка. А потому — прошу минуту внимания в сторону, — немножко вдаль от Орла, в края еще более теплые, к тихоструйной реке в ковровых берегах, на народный «пир веры», где нет места деловой, будничной жизни; где все, решительно все, проходит через своеобразную религиозность, которая и придает всему свою особенную рельефность и живость. Мы должны побывать при открытии мощей нового угодника, что составляло для самых разнообразных представителей тогдашнего общества событие величайшего значения. Для простого же народа это была эпопея, или, как говорил один тогдашний вития, — «свершался священный пир веры».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Такого движения, которое началось ко времени открытия торжества, не может передать ни одно из напечатанных в то время сказаний. Живая, но низменная дела сторона от них уходила. Это не было нынешнее спокойное путешествие в почтовых экипажах или по железным дорогам с остановками в благоустроенных гостиницах, где есть все нужное, и за сходную цену. Тогда путешествие было подвигом, и в этом случае благочестивым подвигом, которого, впрочем, и стоило ожидаемое торжественное событие в церкви. В нем было также много поэзии, — и опять-таки особенной — пестрой и проникнутой разнообразными переливами церковно-бытовой жизни, ограниченной народной наивности и бесконечных стремлений живого духа.

Из Орла к этому торжеству отправилось множество народа. Больше всего, разумеется, усердствовало купечество, но не отставали и средней руки помещики, особенно же валил простой народ. Эти шли пешком. Только те, кто вез «для цельбы» немощных, тянулись на какой-нибудь клячонке. Иногда, впрочем, и немощных везли на себе и даже не очень тем тяготились, потому что с немощных на постоялых дворах за все брали дешевле, а иногда даже и совсем пускали без платы. Было немало и таких, которые нарочно на себя «болезни сказывали: под лоб очи пущали, и двое третьего, по переменкам, на колесеньках везли, чтобы иметь доход жертвенный на воск, и на масло, и на другие обряды».

Так я читал в оказании, не печатанном, но верном, списанном не по шаблону, а с «живого видения», и человеком, предпочитавшим правду тенденциозной лживости того времени.

Движение было такое многолюдное, что в городах Ливнах и в Ельце, через которые лежал путь, не было мест ни на постоялых дворах, ни в гостиницах. Случалось, что важные и именитые люди ночевали в своих каретах. Овес, сено, крупа — все по тракту поднялось в цене, так что, по замечанию моей бабушки, воспоминаниями которой я пользуюсь, с этих

пор в нашей стороне, чтобы накормить человека студенем, щами, бараниной и кашей, стали брать на дворах по пятьдесят две копейки (то есть пятиалтынный), а до того брали двадцать пять (или 7 ½ коп.). По нынешнему времени, конечно, и пятиалтынный — цена совершенно невероятная, однако это так было, и открытие мощей нового угодника в подъеме ценности на жизненные припасы имело для прилегающих мест такое же значение, какое в недавние годы имел для Петербурга пожар мстинского моста. «Цена вскочила и такая и осталась».

Из Орла, в числе прочих паломников, отправилось на открытие семейство купцов С—х, людей в свое время очень известных, «ссыпщиков», то есть, проще сказать, крупных кулаков, которые ссыпают в амбары хлеб с возов у мужиков и потом продают свои «ссыпки» оптовым торговцам в Москву и в Ригу. Это прибыльное дело, которым после освобождения крестьян было не погнушались и дворяне; но они любили долго спать и скоро горьким опытом дознали, что даже к глупому кулачному делу они неспособны. Купцы С. считались, по своему значению, первыми ссыпщиками, и важность их простиралась до того, что дому их вместо фамилии была дана возвышающая кличка. Дом был, разумеется, строго благочестивый, где утром молились, целый день теснили и обирали людей, а потом вечером опять молились. А ночью псы цепями по канатам гремят, и во всех окнах — «ламппад и сияние», громкий храп и чьи-нибудь жгучие слезы.

Правил домом, по-нынешнему сказали бы, «основатель фирмы», — а тогда просто говорили «сам». Был это мякенький старичок, которого, однако, все как огня боялись. Говорили о нем, что он умел мягко стлать, да было жестко спать: обходил всех словом «матинька», а спускал к черту в зубы. Тип известный и знакомый, тип торгового патриарха.

Вот этот-то патриарх и ехал на открытие «в большом составе» — сам, да жена, да дочь, которая страдала «болезнью меланхолии» и подлежала исцелению. Испытаны были над нею все известные средства народной поэзии и творчества: ее поили бодрящим девясилом, обсыпали пиониею, которая унимает надхождение стени, давали нюхать майран, что в голове мозг поправляет, но ничто не помогло, и теперь ее взяли к угоднику, поспешая на первый случай, когда пойдет самая первая сила. Вера в преимущество первой силы очень велика, и она имеет своим основанием сказание о силоамской купели, где тоже исцелевали первые, кто успевал войти по возмущении воды.

Ехали орловские купцы через Ливны и через Елец, претерпевая большие затруднения, и совершенно измучились, пока достигли к угоднику. Но улучшить «первый случай» у угодника оказалось невозможным. Народу собралась такая область, что и думать нечего было протолкаться в храм, ко всеобщей под «открытый день», когда, собственно, и есть «первый случай», — то есть когда от новых мощей исходит самая большая сила.

Купец и жена его были в отчаянии, — равнодушнее всех была дочка, которая не знала, чего она лишалась. Надежд никаких не было помочь горю, — столько было знати, с такими фамилиями, а они простые купцы, которые хотя в своем месте что-нибудь и значили, но здесь, в таком скоплении христианского величия, совсем потерялись. И вот однажды, сидя в горе под своею кибиточкою за чаем на постоялом дворе, жалуется патриарх жене, что уже и надежды никакой не полагает достигнуть до святого гроба ни в первых, ни во вторых, а разве доведется как-нибудь в самых последних, вместе с ниварями и рыбаками, то есть вообще с простым народом. А тогда уже какая радость: и полиция осwirепеет, и духовенство заморится — вдоволь помолиться не даст, а совать станет. И вообще тогда все не то, когда уже приложится столько тысяч уст всякого народа. В таковых видах можно было и после приехать, а они не того доспевали: они ехали, томились, дома дело на приказчицкие руки бросили и дорогою за все втридорога платили, и вот тебе вдруг какое утешение.

Пробовал купец раз и два достигнуть до дьяконов — готов был дать благодарность, но и думать нечего, — с одной стороны одно стеснение, в виде жандарма с белой рукавицею или казака с плетью (их тоже пришло к открытию мощей множество), а с другой — еще опаснее, что задавит сам православный народушко, который волновался, как океан. Уже и были «разы», и даже во множестве, и вчера, и сегодня. Шарахнутся где-нибудь добрые

христиане от взмаха казачьей нагайки целой стеною в пять, в шесть сот человек, и как попрут да поналягут стеной друженько, так из середины только стон да пах пойдет, а потом, по освобождении, много видано женского уха в серьгах рваного и персты из-под колец верчены, а две-три души и совсем богу представлялись.

Купец все эти трудности и высказывает за чаем жене и дочери, для которой особенно надо было улучшить первые силы, а какой-то «пустошный человек», неведомо, городского или сельского звания, все между разными кибитками ходит под сараем да как будто засматривает на орловских купцов с намерением.

«Пустошных людей» тогда тоже собралось здесь много. Им не только было свое место на этом пиршестве веры, но они даже находили здесь себе хорошие занятия; а потому хлынули сюда в изобилии из разных мест, и особенно из городов, прославленных своими воровскими людьми, то есть из Орла, Кром, Ельца и из Ливен, где славились большие мастера чудеса строить. Все сошедшиеся сюда пустошные люди искали себе своих промыслов. Отважнейшие из них действовали строем, располагаясь кучами в толпах, где удобно было при содействии казака произвести натиск и смятение и во время суматохи обыскать чужие карманы, сорвать часы, поясные пряжки и повывергать серьги из ушей; а люди более степенные ходили в одиночку по дворам, жаловались на убожество, «сказывали сны и чудеса», предлагали привороты, отвороты и «старым людям секретные помочи из китового семени, вороньего сала, слоновьей спермы» и других снадобий, от коих «сила постоянная движет». Снадобья эти не утрачивали своей цены и здесь, потому что, к чести человечества, совесть не за всеми исцелениями позволяла обращаться к угоднику. Не менее охотно пустошные люди смиренного обычая занимались просто воровством и при удобных случаях нередко дочиста обворовывали гостей, которые за неимением помещений жили в своих повозках и под повозками. Места везде было мало, и не все повозки находили себе приют под сараями постоянных дворов; другие же стояли обозом за городом на открытых выгонах. Тут шла жизнь еще более разнообразная и интересная и притом еще более полная оттенков священной и медицинской поэзии и занимательных плутней. Темные промышленники шныряли повсеместно, но приютом им был этот загородный «бедный обоз» с окружавшими его оврагами и лачужками, где шло ожесточенное корчемство водкой и в двух-трех повозках стояли румяные солдатки, приехавшие сюда в складчину. Тут же фабриковались стружки от гроба, «печатная земля», кусочки истлевших риз и даже «частицы». Иногда между промышленявшими этими делами художниками попадались люди очень остроумные и выкидывали штуки интересные и замечательные по своей простоте и смелости. Таков был и тот, которого заметило благочестивое орловское семейство. Проходимец подслушал их сетование о невозможности приступить к угоднику, прежде чем от мощей истекнут первые струи целебной благодати, и прямо подошел и заговорил начистоту:

— Скорби-де ваши я слышал и могу помочь, а вам меня избегать нечего... Без нас вы здесь теперь желаемого себе удовольствия, при столь большом и именитом съезде, не получите, а мы в таковых разгах бывали и средства знаем. Угодно вам быть у самых первых сил угодника — не пожалейте за свое благополучие сто рублей, и я вас поставлю.

Купец посмотрел на субъекта и отвечал:

— Полно врать.

Но тот свое продолжал:

— Вы, — говорит, — вероятно, так думаете, судя по моему ничтожеству; но ничтожное в очах человеческих может быть совсем в другом расчислении у бога, и я за что берусь, то твердо могу исполнить. Вы вот смущаетесь насчет земного величия, что его много наехало, а мне оно все прах, и будь тут хоть видимо-невидимо одних принцев и королей, они нимало нам не могут препятствовать, а даже все сами перед нами расступятся. А потому, если вы желаете сквозь все пройти чистым и гладким путем, и самых первых лиц увидеть, и другу божию дать самые первые лобызания, то не жалеете того, что сказано. А если ста рублей жалко и не побрезгаете компанией, то я живо подберу еще два человека, коих на примете

имею, и тогда вам дешевле станет.

Что оставалось делать благочестивым поклонникам? Конечно, рискованно было верить пустошному человеку, но и случая упустить не хотелось, да и деньги требовались небольшие, особенно если в компании... Патриарх решился рискнуть и сказал:

— Ладь компаню.

Пустошный человек взял задаток и побежал, наказав семейству рано пообедать и за час перед тем, как ударят к вечерне в первый колокол, взять каждому с собой по новому ручному полотенцу и идти за город, на указанное место «в бедный обоз», и там ожидать его. Оттуда немедленно же должен был начинаться поход, которого, по уверениям антрепренера, не могли остановить никакие принцы, ни короли.

Таковые «бедные обозы» в больших или меньших размерах становились широким станом при всех подобных сборищах, и я сам видал их и помню в Коренной под Курском, а о том, о котором наступает повествование, слышал рассказы от очевидцев и свидетелей тому, что сейчас будет описано.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Место, занятое бедным становищем, было за городом, на обширном и привольном выгоне между рекою и столбовою дорогою, а в конце примыкало к большому извилистому оврагу, по которому бежал ручеек и рос густой кустарник; сзади начинался могучий сосновый лес, где клетали орлы.

На выгоне расположилось множество бедных повозок и колымаг, представлявших, однако, во всей своей нищете довольно пестрое разнообразие национального гения и изобретательности. Были обыкновенные рогожные будки, полотняные шатры во всю телегу, «беседки» с пушистым ковылем-травой и совершенно безобразные лубковые окаты. Целый большой луб с вековой липы согнут и приколочен к тележным грядам, а под ним лежка; лежат люди ногами к ногам в нутро экипажа, а головы к вольному воздуху на обе стороны вперед и назад. Над возлежащими проходит ветерок и вентилирует, чтобы им можно было не задохнуться в собственном духу. Тут же у взвязанных к оглоблям пихтерей с сеном и хрептугов стояли кони, большею частию тощие, все в хомутах и иные, у бережливых людей, под рогожными «крышками». При некоторых повозках были и собачки, которых хотя и не следовало бы брать в паломничество, но это были «усердные» собачки, которые догнали своих хозяев на втором, третьем покорме и ни при каком бойле не хотели от них отвязаться. Им здесь не было места, по настоящему положению паломничества, но они были терпимы и, чувствуя свое контрабандное положение, держали себя очень смирно; они жались где-нибудь у тележного колеса под дегтяркою и хранили серьезное молчание. Одна скромность спасала их от остракизма и от опасного для них крещеного цыгана, который в одну минуту «снял с них шубы». Здесь, в бедном обозе, под открытым небом жилось весело и хорошо, как на ярмарке. Всякого разнообразия здесь было более, чем в гостиничных номерах, доставшихся только особым избранникам, или под навесами постоялых дворов, где в вечном полумраке местились в повозках люди второй руки. Правда, в бедный обоз не заходили тучные иноки и иподиаконы, не видать было даже и настоящих, опытных странников, но зато здесь были свои мастера на все руки и шло обширное кустарное производство разных «святостей». Когда мне довелось читать известное в киевских хрониках дело о подделке мощей из бараньих костей, я был удивлен младенчеством приема этих фабрикантов в сравнении с смелостью мастеров, о которых слышал ранее. Тут это было какое-то откровенное неглиже с отвагой. Даже самый путь к выгону по Слободской улице уже отличался ничем не стесняемою свободою самой широкой предприимчивости. Люди знали, что этакie случаи не часто выпадают, и не теряли времени: у многих ворот стояли столики, на которых лежали иконки, крестики и бумажные сверточки с гнилою древесною пылью, будто бы от старого гроба, и тут же лежали стружки от нового. Весь этот материал был, по уверению продавцов, гораздо высшего сорта, чем в настоящих местах, потому что принесен

сюда самими столярами, копачами и плотниками, производившими самые важные работы. У входа в лагерь вертелись «носящие и сидящие» с образками нового угодника, заклеенными пока белой бумажкой с крестиком. Образки эти продавались по самой дешевой цене, и покупать их можно было сию же минуту, но открывать нельзя было до отслужения первого молебна. У многих недостойных, купивших такие образки и открывших их раньше времени, они оказались чистыми дощечками. В овраге же за становищем, под саями, опрокинутыми кверху полозьями, жили у ручья цыган с цыганкою и цыганятами. Цыган и цыганка имели тут большую врачебную практику. У них на одном полозе был привязан за ногу большой безголовый «петух», из которого выходили по утрам камни, «двигавшие постельную силу», и цыган имел кошкину траву, которая тогда была весьма нужна к «болячкам афедроновым». Цыган этот был в своем роде знаменитость. Слава о нем шла такая, что он, когда в неверной земле семь спящих дев открывали, и там он не лишний был: он старых людей на молодых переделывал, прутяные сечения господским людям лечил и военным кавалерам заплечный бой из нутра через водоток выводил. Цыганка же его, кажется, знала еще бóльшие тайны природы; она две воды мужьям давала: одну ко обличению жен, кои блудно грешат; той воды если женам дать, она в них не удержится, а насквозь пройдет; а другая вода магнитная: от этой воды жена неохочая во сне страстно мужа обоймет, а если усилится другого любить — с постели станет падать.

Словом, дело здесь кипело, и многообразные нужды человечества находили тут полезных пособников.

Пустошный человек как завидел купцов, не стал с ними разговаривать, а начал их манить, чтобы сошли в овражек, и сам туда же вперед юркнул.

Опять это показалось страшновато: можно было опасаться засады, в которой могли скрываться лихие люди, способные обобрать богомольцев догола, но благочестие превозмогло страх, и купец после небольшого раздумья, помолясь богу и помянув угодника, решился переступить шага три вниз.

Сходил он осторожно, держась за кустики, а жене и дочери приказал в случае чего-нибудь кричать изо всей мочи.

Засада здесь и в самом деле была, но не опасная: купец нашел в овраге двух таких же, как он, благочестивых людей в купеческом одеянии, с которыми надо было «сладиться». Все они должны были здесь заплатить пустошному уговорную плату за проводы их к угоднику, а тогда он им откроет свой план и сейчас их поведет. Долго думать было нечего, и упорство ни к чему не вело: купцы сложили сумму и дали, а пустошный открыл им свой план, простой, но, по простоте своей, чисто гениальный: он заключался в том, что в «бедном обозе» есть известный пустошному человеку человек расслабленный, которого надо только поднять и нести к угоднику, и никто их не остановит и пути им не затруднит с болящим. Надо только купить для слабого болезный одрец да покровец и, подняв его, нести всем шестерым, подвязавши под одр полотенчики.

Мысль эта казалась в первой своей части превосходною, — с расслабленным носителей, конечно, пропустят, но каковы быть могут последствия? Не было бы дальше конфуза? Однако и на этот счет все было успокоено, проводник сказал только, что это не стоит внимания.

— Мы таковые разы, — говорит, — уже видали: вы, в ваше удовольствие, сподобитесь все видеть и приложиться к угоднику во время всенощного пения, а в рассуждении болящего, будь воля угодника, — пожелает он его исцелить — и исцелит, а не пожелает — опять его воля. Теперь только скиньтесь скорее на одрец и на покровец, а у меня уже все это припасено в близком доме, только надо деньги отдать. Мало меня здесь повремените, и в путь пойдем.

Взял, поторговавшись, еще на снасть по два рубля с лица и побежал, а через десять минут назад вернулся и говорит:

— Идем, братия, только не бойко выступайте, а попустите малость очи побогомысленнее.

Купцы спустили очи и пошли с благоговением и в этом же «бедном обозе» подошли к одной повозке, у которой стояла у хрептуга совсем дохлая клячонка, а на передке сидел маленький золотушный мальчик и забавлял себя, перекидывая с руки на руку ошипанные плоднички желтых пупавок. На этой повозке под липовым лубком лежал человек средних лет, с лицом самих пупавок желтее, и руки тоже желтые, все вытянутые и как мягкие плети валяются.

Женщины, завидев этакую ужасную немощь, стали креститься, а проводник их обратился к больному и говорит:

— Вот, дядя Фотей, добрые люди пришли помочь мне тебя к исцелению нести. Воли божией час к тебе близится.

Желтый человек стал поворачиваться к незнакомым людям и благодарственно на них смотрит, а перстом себе на язык показывает.

Те догадались, что он немой. «Ничего, — говорят, — ничего, раб божий, не благодари нас, а богу благодарствуй», — и стали его вытаскивать из повозки — мужчины под плечи и под ноги, а женщины только его слабые ручки поддерживали и еще более напугались страшного состояния больного, потому что руки у него в плечевых суставах совсем «перевалились» и только волосяными веревками были кое-как перевязаны.

Одрик стоял тут же. Это была небольшая старая кровать, плотно засыпанная по углам клоповыми яйцами; на кровати лежал сноп соломы и кусок редкого миткалю с грубо выведенным красками крестом, копием и тростию. Проводник ловкою рукою распушил соломку, чтобы на все стороны с краев свешивалась, положили на нее желтого расслабленного, покрыли миткалем и понесли.

Проводник шел впереди с глиняной жаровенкой и крестообразно покуривал.

Еще они и из обоза не вышли, как на них уже начали креститься, а когда пошли по улицам, внимание к ним становилось все серьезнее и серьезнее: все, видя их, понимали, что это к чудотворцу несут болящего, и присоединялись. Купцы шли поспешаючи, потому что слышали благовест ко всенощной, и пришли с своею ношею как раз вовремя, когда запели: «Хвалите имя Господне, раби Гóспода».

Храм, разумеется, не вмещал и сотой доли собравшегося народа; видимо-невидимо людей сплошною массою стояло вокруг церкви, но чуть увидели одр и носящих, все загудели: «расслабного несут, чудо будет», и вся толпа расступилась,

До самых дверей стала живая улица, и дальше все сдѣлалось, как обещал проводник. Даже и твердое упование веры его не осталось в постыжении: расслабленный исцелел. Он встал, он сам вышел на своих ногах «славяще и благодаряще». Кто-то все это записал на записочку, в которой, со слов проводника, исцеленный расслабленный был назван «родственником» орловского купца, через что ему многие завидовали, и исцеленный за поздним временем не пошел уже в свой бедный обоз, а ночевал под сараем у своих новых родственников.

Все это было приятно. Исцеленный был интересным лицом, на которого многие приходили взглянуть и кидали ему «жертвки».

Но он еще мало говорил и неясно — очень шамкал с непривычки и больше всего на купцов исцеленною рукою показывал: «их-де спрашивайте, они родственники, они всё знают». И тогда те поневоле говорили, что он их родственник; но вдруг под все это подкралась неожиданная неприятность: в ночь, наставшую после исцеления желтого расслабленного, было замечено, что у бархатного намета над гробом угодника пропал один золотой шнур с такою же золотою кистью.

Дознавали об этом из-под руки и спросили орловского купца, не заметил ли он, близко подходя, и что такое за люди помогали ему нести больного родственника? Он по совести оказал, что люди были незнакомые, из бедного обоза, по усердию несли. Возили его туда узнавать место, людей, клячу и тележку с золотушным мальчиком, игравшим пупавками, но тут только одно место было на своем месте, а ни людей, ни повозки, ни мальчика с пупавками и следа не было.

Дознание бросили, «да не молва будет в людях». Кисть повесили новую, а купцы после такой неприятности скорее собрались домой. Но только тут исцеленный родственник осчастливил их новой радостью: он обязывал их взять его с собою и в противном случае угрожал жалобою и про кисть напомнил.

И потому, когда пришел час к отъезду купцов восвояси, Фотей очутился на передке рядом с кучером, и скинуть его было невозможно до лежавшего на их пути села Крутого. Здесь был в то время очень опасный спуск с одной горы и тяжелый подъем на другую, и потому случались разные происшествия с путниками: падали лошади, переворачивались экипажи и прочее в этом роде. Село Крутое непременно надо было проследовать засветло, иначе надо заночевать, а в сумерки никто не рисковал спускаться.

Наши купцы тоже здесь переночевали и утром при восхождении на гору «растерялись», то есть потеряли своего исцеленного родственника Фотея. Говорили, будто с вечера они «добре его угостили из фляги», а утром не разбудили и съехали, но нашлись другие добрые люди, которые поправили эту растерянность и, прихватив Фотея с собою, привезли его в Орел.

Здесь он отыскивал своих неблагодарных родственников, покинувших его в Крутом, но не встретил у них родственного приема. Он стал нищенствовать по городу и рассказывать, будто купец ездил к угоднику не для дочери, а молился, чтобы хлеб подорожал. Никому это точнее Фотей известно не было.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Не в долгих днях после появления в Орле известного и покинутого Фотея в приходе Михаила Архангела у купца Акулова были «бедные столы». На дворе, на досках, дымились большие липовые чаши с лапшой и чугуны с кашей, а с хозяйского крыльца раздавали по рукам ватрушки с луком и пироги. Гостей набралось множество, каждый со своей ложкой в сапоге или за пазухой. Пирогам оделял Голован. Он часто был зван к таким «столам» архитриклином и хлебодаром, потому что был справедлив, ничего не утаит себе и основательно знал, кто какого пирога стоит — с горохом, с морковью или с печенкой.

Так и теперь он стоял и каждому подходящему «оделял» большой пирог, а у кого знал в доме немощных — тому два и более «на недужную порцию». И вот в числе разных подходящих подошел к Головану и Фотей, человек новый, но как будто удививший Голована. Увидав Фотея, Голован словно что-то вспомнил и спросил:

— Ты чей и где живешь? Фотей сморщился и проговорил:

— Я ничей, а божий, обшит рабьей кожей, а живу под рогожей.

А другие говорят Головану: «Его купцы привезли от угодника... Это Фотей исцеленный».

Но Голован улыбнулся и заговорил было:

— С какой стати это Фотей! — но в эту же самую минуту Фотей вырвал у него пирог, а другою рукою дал ему оглушительную пощечину и крикнул:

— Не брешь лишнего! — и с этим сел за столы, а Голован стерпел и ни слова ему не сказал. Все поняли, что, верно, это так надобно, очевидно, исцеленный юродует, а Голован знает, что это надо сносить. Но только «в каком; расчислении стоил Голован такого обращения?» Это была загадка, которая продолжалась многие годы и установила такое мнение, что в Головане скрывается что-нибудь очень бедовое, потому что он Фотея боится.

И впрямь тут было что-то загадочное. Фотей, скоро павший в всеобщем мнении до того, что вслед ему кричали: «У святого кисть украл и в кабаке пропил», с Голованом обходился чрезвычайно дерзко.

Встречая Голована где бы то ни было, Фотей заступал ему дорогу и кричал: «Долг подавай». И Голован, нимало ему не возражая, лез за пазуху и доставал оттуда медную гривну. Если же у него не случалось с собою гривны, а было менее, то Фотей, которого за пестроту его лохмотьев прозвали Горнастаем, швырял Головану недостаточную дачу назад,

плевал на него и даже бил его, швырял камнями, грязью или снегом.

Я сам помню, как однажды в сумерки, когда отец мой со священником Петром сидели у окна в кабинете, а Голован стоял под окном и все они втроем вели свой разговор в открытые на этот случай ворота вбежал ободранный Горноста́й и с криком «забыл, подлец!» при всех ударил Голована по лицу, а тот, тихонько его отстранив, дал ему из-за пазухи медных денег и повел его за ворота.

Такие поступки были никому не в редкость, и объяснение, что Горноста́й что-нибудь за Голованом знает, было, конечно, весьма естественно. Понятно, что это возбуждало у многих и любопытство, которое, как вскоре увидим, имело верное основание.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мне было около семи лет, когда мы оставили Орел и переехали на постоянное житье в деревню. С тех пор я уже не видал Голована. Потом наступило время учиться, и оригинальный мужик с большой головою пропал у меня из вида. И слышал я о нем только раз, во время «большого пожара». Тогда погибло не только много строений и движимости, но сгорело и много людей — в числе последних называли Голована. Рассказывали, что он упал в какую-то яму, которой не видно было под пеплом, и «сварился». О семейных, которые его пережили, я не справлялся. После этого я вскоре уехал в Киев и побывал в родимые места уже через десять лет. Было новое царствование, начинались новые порядки; веяло радостной свежестью, — ожидали освобождения крестьян и даже поговаривали уже о гласном судопроизводстве. Все новое: сердца горели. Непримири́мых еще не было, но уже обозначались нетерпеливцы и выжидатели.

На пути к бабушке я остановился на несколько дней в Орле, где тогда служил совестным судьей мой дядя, который оставил по себе память честного человека. Он имел много прекрасных сторон, внушавших к нему почтение даже в тех людях, которые не разделяли его взглядов и симпатий: он был в молодости щеголь, гусар, потом садовод и художник-дилетант с замечательными способностями; благородный, прямой дворянин, и «дворянин *au bout des ongles*».¹² Понимая по-своему обязательство этого звания, он, разумеется, покорствовал новизне, но желал критически относиться к эмансипации и представлял из себя охранителя. Эмансипации хотел только такой, как в Остзейском крае. Молодых людей он привечал и ласкал, но их вера, что спасение находится в правильном движении вперед, а не назад, — казалась ему ошибкой. Дядя любил меня и знал, что я его люблю и уважаю, но во мнениях об эмансипации и других тогдашних вопросах мы с ним не сходились. В Орле он делал из меня по этому поводу очистительную жертву, и хотя я тщательно старался избегать этих разговоров, однако он на них направлял и очень любил меня «поражать».

Дяде всего более нравилось подводить меня к казусам, в которых его судейская практика обнаруживала «народную глупость».

Помню роскошный, теплый вечер, который мы провели с дядею в орловском «губернском» саду, занимаясь, признаюсь сказать, уже значительно утомившим меня спором о свойствах и качествах русского народа. Я несправедливо утверждал, что народ очень умен, а дядя, может быть еще несправедливее, настаивал, что народ очень глуп, что он совершенно не имеет понятий о законе, о собственности и вообще народ азиат, который может удивить кого угодно своею дикостью.

— И вот, — говорит, — тебе, милостивый государь, подтверждение: если память твоя сохранила ситуацию города, то ты должен помнить, что у нас есть буераки, слободы и слободки, которые черт знает кто межевал и кому отводил под постройки. Все это в несколько приемов убрал огонь, и на месте старых лачуг построились такие же новые, а

¹² до кончика ногтей (франц.)

теперь никто не может узнать, кто здесь по какому праву сидит?

Дело было в том, что, когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться и некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказалось, что у продавцов не только не было никаких документов, но что и сами эти владельцы и их предки считали всякие документы совершенно лишними. Домик и местишко до этой поры переходили из рук в руки без всякого заявления властям и без всяких даней и пошлин в казну, а все это, говорят, писалось у них в какую-то «китрать», но «китрать» эта в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее, — умер; а с тем и все следы их владенных прав покончились. Правда, что никаких споров по праву владения не было, но все это не имело законной силы, а держалось на том, что если Протасов говорит, что его отец купил домишко от покойного деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав Протасовых; но как теперь требовались права, то прав нет, и совестному судье воочию предлежало решать вопрос: преступление ли вызвало закон или закон создал преступление?

— А зачем всё это они так делали? — говорил дядя. — Потому-с, что это не обыкновенный народ, для которого хороши и нужны обеспечивающие право государственные учреждения, а это номады, орда, осевшая, но еще сама себя не сознающая.

С тем мы заснули, выспались, — рано утром я сходил на Орлик, выкупался, посмотрел на старые места, вспомнил Голованов домик и, возвращаясь, нахожу дядю в беседе с тремя неизвестными мне «милостивыми государями». Все они были купеческой конструкции — двое сердовые в сюртуках с крючками, а один совершенно белый, в ситцевой рубашке навывпуск, в чуйке и в крестьянской шляпе «гречником».

Дядя показал мне на них рукою и говорит:

— Вот это иллюстрация ко вчерашнему сюжету. Эти господа рассказывают мне свое дело: войди в наше совещание.

Затем он обратился к предстоящим с очевидною для меня, но для них, конечно, с непонятною шуткою и добавил:

— Это мой родственник, молодой прокурор из Киева, — к министру в Петербург едет и может ему объяснить ваше дело.

Те поклонились.

— Из них, — видишь ли, — продолжал дядя, — вот этот, господин Протасов, желает купить дом и место вот этого, Тарасова; но у Тарасова нет никаких бумаг. Понимаешь: никаких! Он только помнит, что его отец купил домик у Власова, а вот этот, третий, — есть сын господина Власова, ему, как видишь, тоже уже немало лет.

— Семьдесят, — коротко заметил старик.

— Да, семьдесят, и у него тоже нет и не было никаких бумаг.

— Никогда не было, — опять вставил старик.

— Он пришел удостоверить, что это так именно было и что он ни в какие права не вступается.

— Не вступаемся — отцы продали.

— Да; но кто его «отцам» продал — тех уже нет.

— Нет; они за веру на Кавказ усланы.

— Их можно разыскать, — сказал я.

— Нечего искать, там им вода нехороша, — воды не снесли, — все покончились.

— Как же вы, — говорю, — это так странно поступали?

— Поступали, как мощно было. Приказный был лют, даней с малых дворов давать было нечего, а была у Ивана Ивановича китрать, в нее и писали. А допреж его, еще не за моей памяти, Гапеев купец был, у него была китрать, а после всех Головану китрать дали, а Голован в поганой яме сварился, и китраты сгорели.

— Это Голован, выходит, был у вас что-то вроде нотариуса? — спросил дядя (который не был орловским старожилом).

Старик улыбнулся и тихо молвил:

— Из-за чего же мотариус! — Голован был справедливый человек.

— Как же ему все так и верили?

— А как такому человеку не верить: он свою плоть за людей с живых костей резал.

— Вот и легенда! — тихо молвил дядя, но старик вслушался и отвечал:

— Нет, сударь, Голован не лыгенда, а правда, и память его будь с похвалою.

Дядя пошутил: и с путаницей. И он не знал, как он этим верно отвечал на всю массу воспрнянувших во мне в это время воспоминаний, к которым при тогдашнем моем любопытстве мне страстно хотелось подыскать ключ.

А ключ ждал меня, сохраняясь у моей бабушки.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Два слова о бабушке: она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род «не за богатство, а за красоту». Но лучшее ее свойство было — душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся простонародный склад. Войдя в дворянский круг, она уступила многим его требованиям и даже позволяла звать себя Александрой Васильевной, тогда как ее настоящее имя было Акилина, но думала всегда простонародно и даже без намерения, конечно, удержала некоторую простонародность в речи. Она говорила «ехтот» вместо «этот», считала слово «мораль» оскорбительным и никак не могла выговорить «бухгалтер». Зато она не позволила никаким модным давлениям поколебать в себе веру в народный смысл и сама не расставалась с этим смыслом. Была хорошая женщина и настоящая русская барыня; превосходно вела дом и умела принять всякого, начиная с императора Александра I и до Ивана Ивановича Андросова. Читать ничего не читала, кроме детских писем, но любила обновление ума в беседах, и для того «требовала людей к разговору». В этом роде собеседником ее был бурмистр Михайло Лебедев, буфетчик Василий, старший повар Клим или ключница Маланья. Разговоры всегда были не пустые, а к делу и к пользе, — разбиралось, отчего на девку Феклушку мораль пущена или зачем мальчик Гришка мачехой недоволен. Вслед за таким разговором шли свои меры, как помочь Феклуше покрыть косу и что сделать, чтобы мальчик Гришка не был мачехой недоволен.

Для нее все это было полно живого интереса, может быть совершенно непонятного ее внукам.

В Орле, когда бабушка приезжала к нам, дружбой ее пользовались соборный отец Петр, купец Андросов и Голован, которых для нее и «призывали к разговору».

Разговоры, надо полагать, и здесь были не пустые, не для одного препровождения времени, а, вероятно, тоже про какие-нибудь дела, вроде падавшей на кого-нибудь морали или неудовольствий мальчика с мачехой.

У нее поэтому могли быть ключи от многих тайностей, для нас, пожалуй, мелких, но для своей среды весьма значительных.

Теперь, в это последнее мое свидание с бабушкой, она была уж очень стара, но сохраняла в совершенной свежести свой ум, память и глаза. Она еще шила.

И в этот раз я застал ее у того же рабочего столика с верхней паркетной дощечкой, изображавшей арфу, поддерживаемую двумя амурами.

Бабушка спросила меня: заезжал ли я на отцову могилу, кого видел из родных в Орле и что поделывает там дядя? Я ответил на все ее вопросы и распространился о дяде, рассказав, как он разбирается со старыми «лыгендами».

Бабушка остановилась и подняла на лоб очки. Слово «лыгенда» ей очень понравилось: она услышала в нем наивную переделку в народном духе и рассмеялась:

— Это, — говорит, — старик чудесно сказал про лыгенду.

А я говорю;

— А мне, бабушка, очень бы хотелось знать, как это происходило на самом деле, не по лыгенде.

— Про что же тебе именно хотелось бы знать?

— Да вот про все это; какой был этот Голован? Я его ведь чуть-чуть помню, и то все с какими-то, как старик говорит, лыгендами, а ведь конечно же дело было просто...

— Ну, разумеется, просто, но отчего все это удивляет, что наши люди тогда купчих крепостей избегали, а просто продажи в тетрадки писали? Этого еще и впереди много откроется. Приказных боялись, а своим людям верили, и все тут.

— Но чем, — говорю, — Голован мог заслужить такое доверие? Мне он, по правде сказать, иногда представляется как будто немножко... шарлатаном.

— Почему же это?

— А что такое, например, я помню, говорили, будто он какой-то волшебный камень имел и своею кровью или телом, которые в реку бросил, чуму остановил? За что его «несмертельным» звали?

— Про волшебный камень — вздор. Это люди так присочинили, и Голован тому не виноват, а «несмертельным» его прозвали потому, что в этаким ужасе, когда над землей смертные фимиазмы стояли и все оробели, он один бесстрашный был, и его смерть не брала.

— А зачем же, — говорю, — он себе ногу резал?

— Икру себе отрезал.

— Для чего?

— А для того, что у него тоже прыщ чумной сел. Он знал, что от этого спасенья нет, взял поскорее косу, да всю икру и отрезал.

— Может ли, — говорю, — это быть!

— Конечно, это так было.

— А что, — говорю, — надо думать о женщине Павле? Бабушка на меня взглянула и отвечает:

— Что же такое? Женщина Павла была Фрапошкина жена; была она очень горестная, и Голован ее приютил.

— А ее, однако, называли «Головановым грехом».

— Всяк по себе судит и называет; не было у него такого греха.

— Но, бабушка, разве вы, милая, этому верите?

— Не только верю, но я это знаю.

— Но как можно это знать?

— Очень просто.

Бабушка обратилась к работавшей с нею девочке и послала ее в сад набрать малины, а когда та вышла, она значительно взглянула мне в глаза и проговорила:

— Голован был девственник!

— От кого вы это знаете?

— От отца Петра.

И бабушка мне рассказала, как отец Петр незадолго перед своей кончиною говорил ей, какие люди на Руси бывают неимоверные, и что покойный Голован был девственник.

Коснувшись этой истории, бабушка вошла в маленькие подробности и припомнила свою беседу с отцом Петром.

— Отец Петр, — говорит, — сначала и сам усумнился и стал его подробнее спрашивать и даже намекнул на Павлу. «Нехорошо, говорит, это: ты не каешься, а соблазняешь. Не достойно тебе держать у себя сию Павлу. Отпусти ее с богом». А Голован ответил: «Напрасно это вы, батюшка, говорите: пусть лучше она живет у меня с богом, — нельзя, чтобы я ее отпустил». — «А почему?» — «А потому, что ей головы приклонить негде...» — «Ну так, говорит, женись на ней!» — «А это, отвечает, невозможно», — а почему невозможно, не сказал, и отец Петр долго насчет этого сомневался; но Павла ведь была чахоточная и недолго жила, и перед смертью, когда к ней пришел отец Петр, то она ему открыла всю причину.

— Какая же, бабушка, была эта причина?

— Они жили по любви совершенной.

— То есть как это?

- Ангельски.
- Но, позвольте, для чего же это? Ведь муж Павлы пропал, а есть закон, что после пяти лет можно выйти замуж. Неужто они это не знали?
- Нет, я думаю, знали, но они еще кое-что больше этого знали.
- Например, что?
- А например то, что муж Павлы всех их пережил и никогда не пропадал.
- А где же он был?
- В Орле!
- Милая, вы шутите?
- Ни крошечки.
- И кому же это было известно?
- Им троим: Головану, Павле да самому этому негодивцу. Ты можешь вспомнить Фотея?
- Исцеленного?
- Да как хочешь его называй, только теперь, когда все они перемерли, я могу сказать, что он совсем был не Фотей, а беглый солдат Фрапошка.
- Как! это был Павлы муж?
- Именно.
- Отчего же?.. — начал было я, но устыдился своей мысли и замолчал, но бабушка поняла меня и договорила:
- Верно, хочешь спросить: отчего его никто другой не узнал, а Павла с Голованом его не выдали? Это очень просто: другие его не узнали потому, что он был не городской, да постарел, волосами зарос, а Павла его не выдала жалеючи, а Голован ее любячи.
- Но ведь юридически, по закону, Фрапошка не существовал, и они могли жениться.
- Могли — по юридическому закону могли, да по закону своей совести не могли.
- За что же Фрапошка Голована преследовал?
- Негодай был покойник, — разумел о них как прочие.
- А ведь они из-за него все счастье у себя и отняли!
- Да ведь в чем счастье полагать: есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное все перешагнет. Они же первое возлюбили паче последнего...
- Бабушка, — воскликнул я, — ведь это удивительные люди!
- Праведные, мой друг, — отвечала старушка.
- Но я все-таки хочу добавить — и удивительные и даже невероятные. Они невероятны, пока их окружает легендарный вымысел, и становятся еще более невероятными, когда удастся снять с них этот налет и увидеть их во всей их святой простоте. Одна одушевлявшая их совершенная любовь поставляла их выше всех страхов и даже подчинила им природу, не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться с видениями, терзавшими св. Антония.

Впервые опубликовано — «Исторический вестник», 1880.

ИНЖЕНЕРЫ БЕССРЕБРЕНИКИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В тридцатых годах истекающего столетия в петербургском инженерном училище между воспитанниками обнаружилось очень оригинальное и благородное направление, которое можно назвать стремлением к безукоризненной честности и даже к святости. Из молодых людей, подчинившихся названному направлению, особенно ревностно ему послужили трое: Брянчанинов, Чихачев и Николай Фермор. Все эти три воспитанника инженерного училища представляют собою очень любопытные характеры, а судьба их имеет

общий интерес. Во всяком случае в ней есть многое, что может пригодиться как данные для характеристики тридцатых годов, а также и для уяснения современных разномыслий по поводу мнений о значении школы и о независимости человеческого характера.

Дмитрий Александрович Брянчанинов в указанном направлении был первым заводчиком: он был главою кружка любителей и почитателей «святости и чести», и потому о нем следует сказать прежде прочих. Набожность и благочестие были, кажется, врожденною чертою Брянчанинова. По крайней мере по книге, о нем написанной, известно, что он был богомолен с детства, и если верить френологическим системам Галя и Лафатера, то череп Брянчанинова являл признаки «возвышенного богопочитания».

Он был мальчик с чрезвычайно миловидною и располагающею наружностью, которая при выдержанности его характера и благородстве манер очень сильно к нему располагала. Но Брянчанинов был осторожен с детства; он не доверялся всем ласкам без разбора и вообще держал себя строго.

Так он умел себя хорошо поставить с первого же дня.

Вскоре после принятия его в инженерное училище туда приехал император Николай Павлович, бывший в то время еще великим князем. Он заезжал сюда часто, но на этот раз цель посещения была особенная, а именно «выбор пансионеров».

Николай Павлович имел обыкновение сам выбирать детей в пансионеры своего имени и руководился в этом случае не старшинством баллов приемного экзамена, а личным взглядом, то есть великий князь назначал своими пансионерами тех, кто ему нравился.

Известно, что этот государь очень верил в проницательность своего взгляда и держался так называемых первых впечатлений. Брянчанинов же произвел на него столь благоприятное впечатление, что великий князь не только сейчас же назначил его своим пансионером, но приказал мальчику немедленно одеться и ждать его на подъезде. Отсюда Николай Павлович взял Брянчанинова с собою в экипаж и, приехав с ним в Аничков дворец, повел его за собою в покои великой княгини, впоследствии императрицы Александры Феодоровны.¹³

Великая княгиня была тогда в своем кабинете и, сидя за письменным столом, не слыхала, как вошел ее супруг в сопровождении воспитанника Брянчанинова, и не оглянулась на них.

Великий князь взял Брянчанинова за плечо и поставил его за спинкою кресла государыни, а сам тихо обнял супругу и, поцеловав ее в голову, сказал ей по-французски:

— Я привез тебе представить моего нового пансионера. Посмотри на него.

Государыня оборотилась на стуле, посмотрела на мальчика в лорнет и с довольною улыбкой сказала:

— Это прекрасный мальчик.

Вслед затем Брянчанинов был накормлен во дворце сытным завтраком и отпущен в училище, где его ждали и тотчас же подвергли обстоятельным расспросам о том, что с ним было.

Скромный, но правдивый юноша рассказал все по порядку и по правде.

Благоволение великого князя ему послужило в большую пользу.

Начальство училища с этого же дня обратило на Брянчанинова особенное внимание. Характер и способности юноши были изучены и определены в точности, и в первый же раз после этого, когда великий князь спросил:

— Как Брянчанинов?

Ему по сущей справедливости отвечали:

— Он во всех отношениях примерный.

— Очень рад, — заметил с удовольствием Николай Павлович, прозорливость которого

¹³ «Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова» говорит, что великий князь приказал кадету прийти во дворец, но генерал Пав. Фед. Фермор, товарищ Брянчанинова, помнит, что Николай Павлович взял Брянчанинова с собою. (Прим. Лескова.).

в этом случае получала себе приятное ему подтверждение.

— А каковы его наклонности и характер? — продолжал государь.

— Он очень религиозен и отличной нравственности.

— Я очень рад и очень желал бы, чтобы такие же были и другие. Пусть он им служит примером.

Приведенные слова государя моментально сделались известными воспитанникам, и между ними быстро образовался кружок юношей, желавших как можно более подражать Брянчанинову, и Брянчанинов получил в этом кружке значение вождя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Особенное благорасположение великого князя оказало свое влияние на Брянчанинова в том смысле, что он вдруг как бы ускоренно созрел и сделался еще серьезнее. Кружок его состоял человек из десяти, и из них особенною дружбой Брянчанинова сразу стал пользоваться Миша Чихачев, которому Брянчанинов и открывал свою душу и заповедные думы, выражавшие его направления и цели.

— Самое главное в нашем положении теперь то, — внушал он Чихачеву, — чтобы сберечь себя от гордости. Я не знаю, как мне быть благодарным за незаслуженную милость великого князя, но постоянно думаю о том, чтобы сохранить то, что всего дороже. Надо следить за собою, чтобы не начинать превозноситься. Прошу тебя: будь мне друг — наблюдай за мною и предостерегай, чтобы я не мог утрачивать чистоту моей души.

Чихачев обещал ему эту помощь.

— Прекрасно, — отвечал он, — я всегда скажу тебе правду, но в этом и не будет надобности, так как ты уже нашел средства спасти себя от соблазна.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Ты сам сказал: надо не начинать, и если ты никогда не будешь начинать, то оно никогда и не начнется...

— Твоя правда, — ответил, подумав, Брянчанинов, — но... все-таки наблюдай за мною. Я боюсь, что могу быть втянут на этот путь от тех самых людей, которые должны быть мне примером. Ведь мы «должны быть покорны начальникам нашим»...

— Да, это правда, — ответил Чихачев и тотчас же заметил, что лицо Брянчанинова вдруг как бы озарилось какою-то радостною мыслью, — он взял товарища за обе руки, сжал их в своих руках и, глядя с серьезною восторженностью вверх, как бы читал под высоким карнизом покоя:

— Я вижу одно верное средство для того, чтобы не поддаться опасности соблазна, который представляют люди, и ты, может быть, отгадываешь, в чем оно заключается...

— Мне кажется, что я отгадываю, о чем ты думаешь.

— Я думаю, что надо всегда смотреть на богочеловека.

— Ты прав.

— Поверь — если мы не будем сводить с него наших мысленных глаз и будем стараться во всем ему следовать, то для нас нет никакой опасности. Он нас спасет от опасности потерять себя во всех случаях жизни.

— Верю.

— И вот он с нами, и мы в нем, и он в нас. Мне кажется, я понял сейчас в этих словах новый, удивительный смысл.

— И я тоже.

Товарищи восторженно обнялись и с этой минуты сделались неразрывными друзьями. Дружба их, впрочем, носила особый отпечаток чего-то аскетического. Они дружили для того, чтобы поддерживать один другого в общем их стремлении уйти от житейских соблазнов к поднявшему их возвышенному идеалу чистой жизни в духе христианского учения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Из различных путей, которыми русские образованные люди подобного настроения в то время стремились к достижению христианского идеала, наибольшим вниманием и предпочтением пользовались библейский пиетизм и тяготение к католичеству, но Брянчанинов и Чихачев не пошли вослед ни за одним из этих направлений, а избрали третье, которое тогда только обозначалось и потом довольно долго держалось в обществе: это было православие в духе митрополита Михаила. Многие тогдашние люди с благочестивыми стремлениями и с образованным вкусом, по той или другой причине, никак не могли «принять все как в катехизисе», но не хотели слушать и «чуждого гласа», а получали успокоение для своих мучительных противоречий в излюбленных толкованиях и поучениях Михаила. Находить же религиозное примирение с своею совестью — кому не дорого из людей, имеющих совесть? И у Михаила было очень много почитателей, оставшихся ему верными и после того, как в его сочинениях признано было не все «соответственным».

Брянчанинов и Чихачев были из числа больших почитателей преосв. Михаила.¹⁴ Они внимали и охотно усваивали его религиозные мнения и пошли по его направлению в котором они могли не предаваться чуждому русской натуре влиянию католичества и в то же время не оставаться наедине без всякой церковной теплоты, на что приходилось обрекать себя людям, следовавшим строго пиетистическим традициям.

Оба молодые человека рано стали вести самую воздержную жизнь, разумея воздержность не в одной пище, но главным образом в недопущении себя до гнева, лжи раздражительности, мщения и лести. Это дало их характерам не только отпечаток благородства, но и благочестия, которое вскоре же было замечено сначала товарищами, а потом и начальством, и создало Брянчанинову такое почетное положение среди воспитанников, какого не достигал в инженерном училище никто другой ни до него, ни после него. Ему все верили, и никто не имел случая сожалеть о своей с ним откровенности, но откровенность эта тоже имела особенный, ограничительный характер, отвечавший характеру благочестивого юноши, рано получившего от товарищей прозвище «монаха». Брянчанинову нельзя было говорить ни о каких школьных гадостях, так как он всегда был серьезен и не любил дурных школьных проделок, которые тогда были в большом ходу в закрытых русских училищах. Ни Брянчанинов, ни Чихачев не участвовали тоже ни в каких проявлениях молодечества и прямо говорили, что они желают не знать о них, потому что не хотят быть о них спрошенными, ибо не могут лгать и не желают ни на кого доказывать. Такая твердая откровенность поставила их в особенное, прекрасное положение, в котором они никогда не были в необходимости никого выгораживать, прибегая ко лжи, и ни на кого ничего не доказывали. Воспитатели знали этот «дух» Брянчанинова и Чихачева и никогда их не спрашивали в тех случаях, когда представлялась надобность исследовать какую-нибудь кадетскую проделку. С откровенностями в этом роде товарищи к Брянчанинову и Чихачеву и не появлялись, но зато во всех других случаях, если встречалось какое-либо серьезное недоразумение или кто-нибудь имел горе и страдание, те смело обращались к «благочестивым товарищам-монахам» и всегда находили у них самое теплое, дружеское участие. К Брянчанинову обращались тоже в случае несогласий между товарищами и его мнение принимали за решение, хотя он сам всегда устранился от суда над другими, говоря: «Меня никто не поставил, чтобы судить и делить других». Но сам он делился с нуждающимися всем, чем мог поделиться.

Чихачев хотя был того же самого духа, как и друг его Брянчанинов. но имел

¹⁴ В книге о жизни Брянчанинова, на стр. 15-й упоминается, что «в то время разнообразные религиозные идеи занимали столицу северную, препирались и боролись между собою», но не показано, как эта борьба касалась Брянчанинова и Чихачева, а не касаться их она не могла. Устные указания на то, что они читали сочинения митрополита Михаила, отнюдь не представляются невероятными. (Прим. Лескова.).

второстепенное значение, с одной стороны, потому, что Брянчанинов обладал более яркими способностями и прекрасным даром слова, а с другой — потому, что более молодой по летам Чихачев добровольно тушевался и сам любил при каждом случае отдавать первенство своему другу.

Влияние их на товарищей было большое; учились они оба прекрасно, и начальство заведения надеялось, что из них выйдут превосходные инженеры. В том же был уверен и великий князь, который «очень желал видеть в инженерном ведомстве честных людей».

Оба друга окончили курс в 1826 году, сохранив за собою свое почетное положение до последнего дня своего пребывания в училище, оставили там по себе самую лучшую память, а также и нескольких последователей, из которых потом вскоре же отличился своею непосредственностью и неуклонностью своего поведения Николай Фермор, о котором расскажем ниже.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

По окончании кадетских классов в инженерном училище Брянчанинов и Чихачев вышли на вольную квартиру и поселились вместе на Невском проспекте в большом и очень нелепом доме Лопатина. Дома этого теперь уже не существует — он сломан, и по месту, которое занимал его обширный двор, пролегает нынешняя Пушкинская улица.

Удаление из-под надзора, которому друзья подчинялись в закрытом заведении, открыло им большую свободу располагать своим временем сообразно своим стремлениям и вкусам. Они этим и воспользовались. Они повели образ жизни самый строгий — чисто монашеский, — соблюдали постные дни; не посещали никаких увеселений и гульбищ; избегали всяких легкомысленных знакомств и ежедневно посещали церковь. Каждый день они вставали очень рано и шли пешком в Невскую лавру, где выслушивали раннюю обедню, и затем там же пили чай у голосистого иеродиакона Виктора.¹⁵ Об этом Викторе сохранилось предание как о монахе очень слабом — он вел самую нетрезвую жизнь и говорил всем грубости, но ему все это прощалось за хороший голос и за отменное мастерство руководить исполнителями при торжественных богослужениях. Но как человек он был очень добр, прям и до того откровенен, что не мог нимало покривить душою и притвориться. Такою своею прямою он содержал в постоянном страхе известного Андрея Николаевича Муравьева, которого находил «противным», а его молодых «сен-сиров» называл «сквернавцами» и просто выгонял вон.

Помолившись за раннюю обедню и напившись чаю у Виктора, друзья шли в свое инженерное училище, в офицерские классы, где оставались положенное время, а потом уходили домой, скромно трапезовали и все остальное время дня проводили за учебными занятиями, а покончив с ними, читали богословские и религиозные книги, опять-таки отдавая перед многими из них предпочтение сочинениям митрополита Михаила.¹⁶

Мягкое, миролюбивое, христианское настроение этого писателя оказало чрезвычайно сильное влияние на обоих молодых людей и изменило путь их жизни и деятельности. Первое, чем повредил им Михаил, выразилось тем, что ни Брянчанинов, ни Чихачев не

¹⁵ Рассказ о близости Брянчанинова и Чихачева с Виктором представляется странным и почти невероятным. Известно, что они ходили в лавру к духовнику, и что лица, желавшие отклонить их от набожности, делали в этом направлении большие усилия. Не следует ли думать, что юноши, с своей стороны, старались скрывать, к кому именно они ходили в лавру, а их товарищи думали, что они ходят к веселому Виктору?

¹⁶ Михаил Десницкий, из студентов Московской академии, был приходским священником, потом придворным священником Зимнего дворца, потом придворным иеромонахом и с 1818 года митрополитом петербургским. Скончался 24-го марта 1821 года. Сочинения его до сих пор многими любимы и высоко ценятся, но они редко встречаются в продаже. Специалисты, впрочем, находили в них большие недостатки. (Прим. Лескова.).

захотели воевать и не могли сносить ничего того, к чему обязывала их военная служба, для которой они были приготовлены своим специальным военным воспитанием. Потом они не попадали в общий тон тогдашнего инженерного ведомства, где тогда инспекторствовал генерал Ламновский, имя которого было исторически связано с поставкою в казну мрамора, почему его и звали «мраморным». В инженерном ведомстве многие тогда были заняты заботами о наживе и старались ставить это дело «правильно и братски», — выработывали систему самовознаграждения.

«Монахи» не хотели ни убивать людей, ни обворовывать государства и потому, может быть по неопытности, сочли для себя невозможною инженерную и военную карьеру и решили удалиться от нее, несмотря на то, что она могла им очень улыбаться, при их хороших родственных связях и при особенном внимании императора Николая Павловича к Брянчанинову. Государь хотя о нем теперь уже не осведомлялся так часто, как прежде, но если бы Брянчанинов захотел, то ему, при его упомянутых родственных связях, всегда было легко напомнить о себе государю, и тот, без сомнения, оказал бы ему свою всеильную помощь. Брянчанинов, однако, этого не только не искал, но даже удерживал родных от всяких о нем забот в этом роде. Он старался держать себя незаметно и скромно и как будто имел на уме что-то другое.

Совершенно так же вел себя и Чихачев. А между тем они оба окончили офицерские классы и были выпущены на службу: Брянчанинов из верхнего класса в Динабург, а Чихачев из нижнего — в учебный саперный батальон. Тут они на время расстались, и в 1827 году Брянчанинов выпросился в отставку и ушел в свирский монастырь, где и остался послушником. По другим сведениям это было иначе, и это интересно, потому что вторая версия содержательнее и полнее выражает поэтическую борьбу молодых аскетов, как о ней рассказывали в обществе.

По рассказам современников, Брянчанинов и Чихачев колебались уходить из мира в монастырь и решились на это только тогда, когда представилась необходимость взяться за оружие для настоящих военных действий.

Как только у нас возгорелась война с Турциею, то Чихачев и Брянчанинов оба разом подали просьбы об отставке. Это было и странно, и незаконно, и даже постыдно, так как представляло их трусами, но тем не менее они ни на что это не посмотрели и просили выпустить их из военной службы в отставку.

Истинная причина их уклонения от военной службы в прошениях их была не объяснена, но их семейным и друзьям было известно, что она заключалась в том, что они находили военное дело несовместным с своими христианскими убеждениями. Как люди последовательные и искренние, они не хотели не только воевать оружием, но находили, что не могут и служить приготовлением средств к войне. Впрочем, и самое возведение оборон они не усматривали возможности производить с полною честностью. Им казалось, что надо было «попасть в систему самовознаграждения» или противодействовать тем, чьи приказания должно было исполнять.

Конечно, со стороны молодых людей тут было, может быть, значительное преувеличение опасности, но тогда взятки царили повсюду, и сам государь Николай Павлович, как явствует из многих напечатанных впоследствии анекдотов, находил себя не в силах остановить это страшнейшее зло его времени.

Нашим «монахам» казалось, что служить честно — это значило постоянно поперечить всем желающим наживаться, и надо порождать распри и несогласия, без всякой надежды отстоять правду и не допускать повсюду царствовавших злоупотреблений. Они поняли, что это подвиг, требующий такой большой силы, какой они в себе не находили, и потому они решились бежать.

Борец более смелый еще подрастал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда государю было доложено, что Брянчанинов и Чихачев подали прошения об отставке, император разгневался и сказал: «Это вздор!» — и их не выпустили. Надо было покориться, но при хороших связях тогда удавалось многое, что для людей обыкновенного положения было невозможно. Через некоторое время, когда войска наши уже двинулись в Турцию, Брянчанинов и Чихачев опять подали вторично просьбы об отставке, но в этот раз прибегнули уже к содействию тех родственных связей, которыми не хотели пользоваться до сей поры для других целей. Связи эти были столь сильны, что дело прошло как-то мимо государя, и Чихачева с Брянчаниновым тихонько выпустили в отставку, «под сурдинкою».

Это было будто бы уже на походе, и молодые друзья должны были отстать от своих частей при пересудах и ропоте своих товарищей, из которых одни им завидовали, как баричам, уходившим от службы в опасное время, а другие старались дать им почувствовать свое презрение, как трусам.

Друзья предвидели такое истолкование своего поступка и перенесли эти неприятности с давно выработанным в себе спокойствием. В утешение себе они знали, что они не трусы и удаляются от войны не из боязни смерти, а потому они не обижались, а спешили как можно скорее и незаметнее «бежать из армии».

Выход их будто бы в самом деле был похож на побег: об отпуске их из частей старались не говорить — их будто куда-то «послали», и потом они совсем скрылись, избежав, таким образом, еще многих других неприятностей.¹⁷

Сначала они будто отправились к северу вместе, но на дороге расстались: Брянчанинов поехал в Петербург, где пребывание его казалось очень опасным, потому что он тут беспрестанно рисковал попасть в глаза императору, а Чихачев приехал к своей сестре Ольге Васильевне, по мужу Кутузовой. Он говорил о своем возвращении не много и не ясно, а о дальнейших своих намерениях совсем не говорил ничего. Его находили «странным», как будто потерянным или отрешенным от мира и не предающимся живо ни радостям, ни печалям. Это было очень тяжело видеть в молодом человеке, и семейные Чихачева общими силами старались узнать, «что у него на душе». Одни думали, «влюблен», другим казалось, «замешан», а один родственник с волтерьянскою заправкой уверял, что племянник «помешан».

— На чем?

— Гордец. Хочет быть лучше всех... Набожный чистоплюй... Пусть мир тонет в смраде греха, а он будет сидеть, как дрозд на березке, и свои перышки перечищать носиком... Чистоплюй!

На этого волтерьянца махали рукою, а Чихачев в один прекрасный день пропал из дома.

Мать и сестра его были в отчаянии. Особенно мать, беспокойства которой возрастали от целой тучи предположений и догадок, одна тревожнее другой. Положение было ужасное. Семья и старалась искать беглеца и в то же время боялась, чтобы не распространился широко слух об его исчезновении. Надо было, чтобы это не дошло как-нибудь в Петербурге до государя. Всего ужасно боялись — и надо было бояться. Начались и очень долго продолжались в величайшем секрете большие поиски, в которых принимали участие родственники пропавшего и особенно преданные и доверенные крепостные слуги, — шла, с кем можно, осторожная, но горячая переписка, но все это оставалось без результатов. Спросили даже волтерьянца, но тот вместо ответа посоветовал читать житие Алексея человека божия, так как, по его мнению, Чихачев будто всего вероятнее поревнует примеру этого святого. На «бесчувственного циника» кивали головами, а следов пропавшего беглеца

¹⁷ Эта часть рассказа совершенно несогласна с тем, что читается в жизнеописании Брянчанинова, и предоставляется настоящей легендой, в которой удаление молодых людей от мира желали представить как можно эффектнее. Однако рассказ этот держится в этом виде до сих пор, и ему верят, несмотря на то, что книга передает дело иначе. (Прим. Лескова.).

все-таки не находили нигде. Семья и особенно мать переносили тяжкое горе и вдобавок должны были молчать и не показывать вида, что молодой человек пропал, и так продолжалось до тех пор, пока, наконец, он сам объявился в Николо-Бабаевском монастыре на Волге. Волтерьянец угадывал всех ближе к истине: оба друга, Чихачев и Брянчанинов, появились вместе в Бабайки, и тут же оба вместе начали одновременно свой путь в иночестве,¹⁸ которое было им как бы врожденно и в школе напрошено.

Где бежавший из имения О. В. Кутузовой Чихачев встретился с появившимся на короткое время в Петербурге Брянчаниновым — это осталось их тайною, которая, может быть, и не представляет ничего особенно интересного, но тем не менее они об этом никогда не говорили. Важен тот факт, как и где началось это «последование Алексею человеку божию» и чем оно разрешилось, представив собою нам два врожденные характера, достопримечательные своею цельностью и последовательностью.

Их не в силах были изменить ни среда школы и ее направление, ни самый лестный фавор, ни строгое осуждение, ни укоризны трусостью как пороком, который должен бы несносно уязвлять благородное чувство, если бы оно не видало себе оправдания в идеале высшем. Пусть, быть может, этот идеал понят и узко, но тем не менее он требовал настоящего мужества для своего целостного осуществления. И у Брянчанинова с Чихачевым не оказалось недостатка в мужестве.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Проходит ряд лет тихих монастырских трудов, и Брянчанинов снова попадает на вид государя. Сделать это решился московский митрополит Филарет Дроздов, которому, конечно, небезызвестно было, что император Николай Павлович не хотел выпускать Брянчанинова в отставку. Напомнить теперь о нем значило привести на память государю всю историю, и он мог спросить: кто и когда выпустил Брянчанинова? Но Филарет все-таки вывел Брянчанинова, приспособленного совсем не к тем целям, к которым его тщательно приготавливало петербургское инженерное училище.

Спустя лет десять, в продолжение которых император Николай Павлович не вспоминал о Брянчанинове и Чихачеве, государь в одну из своих побывок в Москве посетил митрополита Филарета и выражал неудовольствие по поводу событий, свидетельствовавших о большой распущенности в жизни монахов. Митрополит не возражал, но сказал, что есть теперь прекрасный игумен, настоящий монах, на которого можно положиться, и с ним можно будет многое поочистить и исправить в монастырях.

— Кто этот редкий человек? — спросил государь.

— Игнатий Брянчанинов.

— Брянчанинов? Я помню одного Брянчанинова в инженерном училище.

— Это тот самый и есть.

— Разве он пошел в монахи?

— Он уже игумен.

— Да, я помню, он и в училище еще отличался набожностью и прекрасным поведением. Я очень рад, что он нашел свое призвание и может быть полезным для управы с монахами. Они невозможны.

— Отец Игнатий уже привел несколько монастырей в отличный порядок.

— В таком разе, если он у вас уже привел в порядок, то я попрошу вас теперь дать его мне, чтобы он мне поочистил хоть немножко мою петербургскую Сергиевскую пустынь. Там монахи ведут себя так дурно, что подают огромный соблазн.

— Воля вашего величества будет исполнена, и я твердо надеюсь, что Игнатий

¹⁸ На самом деле Брянчанинов попал в Бабайки только в конце своей монашеской жизни, а Чихачев был здесь очень короткое время для свидания с другом. (Прим. Лескова.).

Брянчанинов окажется полезным всюду, куда вам угодно будет его назначить.

- Очень рад, но жалею, что он один такой: один в поле — не воин.
- С ним есть его друг — такой же строгий монах — Чихачев.
- Ба! Чихачев! Это тоже из той же семьи — мой кадет.
- Точно так, ваше величество.
- Ну так и прошу перевести их вместе.

Брянчанинов приехал игуменом в Сергиевскую пустынь и привез с собою друга своего Чихачева, который был с этой поры его помощником, и оба они начали «чистить» и «подтягивать» Сергиевских монахов, жизнь которых в то время действительно представляла большой соблазн, легендарные сказания о коем и до сей поры увеселяют любителей этого жанра.¹⁹

Последующая духовная карьера Игнатия Брянчанинова известна. Он был епископом без образовательного ценза и имел много почитателей и много врагов.

Чихачев не достиг таких высоких иерархических степеней и к ним не стремился. Ему во всю жизнь нравилось тихое, незаметное положение, и он продолжал тушеваться как при друге своем Брянчанинове, так и после. Превосходный музыкант, певец и чтец, он занимался хором и чтецами и был известен только в этой области. Вел он себя как настоящий инок, никогда, впрочем, не утрачивая отпечатка хорошего общества и хорошего тона, даже под схиною. Схиму носил с редким достоинством, устраняя от себя всякое покушение разглашать что-либо о каких бы то ни было его особых дарах.

Даже набожные дамы, создающие у нас репутацию святых и чудотворцев при жизни, ничего особенного о Чихачеве внушать не смели. Он ни предсказаний не делал, ни чудес не творил.

Музыкальные и вокальные способности и познания Чихачева до некоторой степени характеризуются следующим за достоверное сообщаемым случаем: одна из его родственниц, Мария Павловна Фермор, была замужем за петербургским генерал-губернатором Кавелиным. Чихачев нередко навещал ее. Однажды, когда он сидел у Кавелиной, к ней приехал с прощальным визитом известный Рубини. Кавелина, знакомя встретившихся гостей, сказала Рубини, что Чихачев — ее дядя и что он хотя и монах, но прекрасно знает музыку и обладает превосходным голосом.

- Но вас он никогда не слышал, — добавила Мария Павловна.
 - Почему же это так?
 - Это потому, что у нас духовные лица не могут ходить в театры.
 - Какая жалость, — отвечал Рубини, — музыка возвышает чувства, и театр может наводить на очень глубокие размышления.
 - Ну, уж как бы это там ни было, а у нас такое правило, что монахи опер не слушают.
 - Но все равно ваш дядюшка мог быть в моем концерте.
- Кавелина улыбнулась и отвечала:
- Нашим монахам не позволено бывать и в концертах.
 - Это варварство! — воскликнул Рубини, — и, я думаю, вы не станете ему следовать и не запретите мне спеть при вашем дяде.
 - Я буду от этого в восторге.
 - А вы ничего против этого не имеете? — обратился, живо вставая с места, Рубини к самому Чихачеву.
 - Я очень рад слышать знаменитого Рубини.
 - В таком случае Рубини поет с двойною целью, чтобы доставить удовольствие хозяйке дома и своему собрату, а в то же время, чтобы сделать неудовольствие грубым людям, не понимающим, что музыка есть высокое искусство.

Мария Павловна Кавелина открыла рояль и села аккомпанировать, а Рубини стал и

¹⁹ На это есть и указания в «Жизнеописании» (стр. 66 и 67). (Прим. Лескова.).

пропел для Чихачева несколько лучших своих арий.

Чихачев слушал с глубочайшим вниманием, и, когда пение было окончено, он сказал:

— Громкая слава ваша нимало не преувеличивает достоинств вашего голоса и умения. Вы поете превосходно.

Так скромно и достойно выраженная похвала Чихачева чрезвычайно понравилась Рубини. Ему, конечно, давно уже надокучили и опротивели все опошленные возгласы дешевого восторга, которыми люди банальных вкусов считают за необходимое приветствовать артистов. В словах Чихачева действительно была похвала, которую можно принять, не краснея за того, кто хвалит. И Рубини, сжав руку монаха, сказал:

— Я очень рад, что мое пение вам нравится, но я хотел бы иметь понятие о вашем пении,

Чихачев сейчас же молча встал, сам сел за фортепиано и, сам себе аккомпанируя, пропел что-то из какого-то духовного концерта.

Рубини Пришел в восхищение и сказал, что он в жизнь свою не встречал такой удивительной октавы и жалеет, что лучшие композиторы не знают о существовании этого голоса.

— К чему же бы это послужило? — произнес Чихачев.

— Для вашего голоса могли быть написаны вдохновенные партии, и ваша слава, вероятно, была бы громче моей.

Чихачев молчал и, сидя боком к клавиатуре, тихо перебирал клавиши.

Рубини встал и начал прощаться с Кавелиной и с ее гостем.

Подав руку Чихачеву, он еще раз сильно сжал его руку, посмотрел ему в глаза и воскликнул с восторгом:

— Ах, какой голос! какой голос пропадает безвестно!

— Он не пропадает: я им пою богу моему дондеже семь, — проговорил Чихачев по-русски.

Рубини попросил перевести ему эту фразу и, подернув плечами, сказал:

— Ага!.. Да, да... это другое дело.

К сожалению, престарелый свидетель этого происшествия не мог вспомнить, что такое пел для Рубини Чихачев в гостинной М. П. Кавелиной. А это очень любопытно, потому что голос у Чихачева была знаменитая октава, которая очень важна в хоре, но не solo. Следовательно, очень бы интересно знать, что такое Чихачев мог исполнить один своею октавой и притом в таком совершенстве, что вызвал восторги у Рубини.

Может быть, кто-нибудь это знает от какого-нибудь более памятливого свидетеля или современника. Это весьма возможно, так как встреча Рубини с Чихачевым в гостинной генерал-губернаторского дома и все, что там произошло, говорят, очень быстро распространилось в «свете» и было разнесено молвою по городу. Знал об этом и император Николай, и ответ Чихачева: «пою богу моему» чрезвычайно ему понравился.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После выхода Брянчанинова и Чихачева из инженерного училища там не переставал держаться их дух, которым от них «надышались» малыши и в свою очередь показали черты, совершенно непригодные для службы, к какой они предназначались по своему специальному образованию. Одним из наиболее «надышавшихся» был Николай Фермор.

В инженерном училище воспитывались два брата Ферморы, Павел и Николай. Старший, Павел Федорович, учился в одно время с Брянчаниновым, был с ним дружен и находился под его непосредственным духовным влиянием, а младший, Николай Федорович, шел позже, вслед за братом, и поступил в инженерное училище, когда государь Николай Павлович уже перестал быть великим князем, а сделался императором. Непосредственное внимание его тогда к училищу, за множеством других дел, уже прекратилось, и только в преданиях рассказывалось, как он, бывало, заходил в училище с вечерней прогулки, иногда

даже вдвоем с государыней Александрой Феодоровной. Ее, бывало, оставит в зале, а сам обходил дортуары, где воспитанники уже спали, и Ламновский чаще всех имел удачу встречать великого князя и через то казался ему очень усердным к своему инспекторскому служению, что на самом деле было далеко не так.

По вступлении Николая Павловича на престол высшее попечение об инженерном училище имел брат государя, великий князь Михаил Павлович. Он слыл за очень строгого и грозного и любил, чтобы его боялись, — и его действительно очень боялись и даже трепетали дети. Ламновский при нем продолжал служить, как и при Николае Павловиче. «Дух» в училище держался все тот же: одними практиковалась «система самовознаграждения», а другие к этому присматривались и приспособлялись, каждый по соображениям своего ума. Одни выходили во вкусе Ламновского, другие в менее смелом, но еще в более тонком роде и «мелочами не мазались». После взятия Варшавы, когда там, в Новогоргиевске и в других пунктах бывшего Царства Польского, началась постройка новых крепостей, «система самовознаграждения», казалось, достигла до самого наивысшего своего развития. Больше всего достойна памяти и удивления откровенность этого направления в молодежи: инженерные юнкера весело и беззастенчиво говорили, что они «иначе не понимают, как быть инженером — это значит купаться в золоте». Так они и росли с этим убеждением, укреплялись в нем и, выходя, начинали его практиковать.

Но как везде бывают и всегда могут быть неподходящие к общему правилу исключения, так было и здесь. Рядом с теми, которые приспособлялись активно практиковать «систему самовознаграждения», или хотя пассивно «не мешать товарищам», были беспокойные отщепенцы, «надышавшиеся брянчаниновским духом». Их звали «сектою» и недаром на них косились, как бы предчувствуя, что из них, наконец, выйдет когда-нибудь «предерзкая собака на сене». Таковою и вышел Николай Фермор.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Секта Брянчанинова», под влияние которой подпал в инженерном училище Николай Федорович Фермор, к его времени потерпела значительное изменение в духе. С отходом первого своего основателя и руководителя Брянчанинова и его друга Чихачева она утратила преобладание религиозного направления, но зато еще более повысила требования общей честности и благородства.

Разумеется, все это держалось в очень небольшом кружке юношей, которые не только составляли меньшинство, но были, так сказать, каплею в море, которую с полным удобством можно было не замечать или считать ни во что. Начальство так на них и смотрело: оно о них кое-что знало и называло их «мечтателями», но не опасными. В училище сии не могли оказывать никому никакой помехи, а с выходом на службу преобладающее общее настроение, казалось, без сомнения, должно их убедить в непригодности их мечтаний и сравнять со всеми другими, которые ничего мечтательного не затевали, а ортодоксально верили, что «быть инженером — значит купаться в золоте». Многочисленные опыты убеждали солидные умы в пользу этого успокоительного предположения, и опасаться серьезного вреда от бессребреников было нечего.

Николай Фермор, однако, представлял своим характером исключение и с ранних пор заставлял думать, что его увлечения честностью и благородством могут когда-нибудь сделаться в серьезной степени неудобными и причинят с ними хлопоты.

Это и оправдалось.

Что он проповедовал безусловное бескорыстие и честность, находясь в училище, с этим можно было еще не считаться, но он упорно держался того же и по выпуске его в офицеры. На самом первом шагу своего выхода в свет, когда бывшие товарищи по училищу собрались вместе, чтобы «взбрызнуть свои эполеты», Фермор за обедом прочитал стихи своего сочинения, в которых взывал к совести своих однокашников, приглашая их тут же дать друг перед другом торжественную клятву, что они будут служить отечеству с совершенным

бескорыстием и не только ни один никогда не станет вознаграждать себя сам, по «системе самовознаграждения», но и другим этого не позволит делать, а, несмотря ни на что, остановит всякое малейшее злоупотребление и не пощадит вора. Он этого требовал в своих горячих и, как говорят, будто бы очень недурных стихах и сам же первый произнес торжественную клятву свято, неотступно следовать во всю жизнь своему воззванию.

Читая свое стихотворение, он был разгорячен и взволнован, глаза его горели, он сам дрожал и, все выше и выше возвышая голос, окончил истерическим экстазом, который многим был неприятен и приписан влиянию выпитого поэтом вина. Такого действия, какого ожидал горячий юноша, не последовало: с ним никто не спорил, никто не говорил, что то, к чему он призывал товарищей, было дурно, но никто к нему на грудь не бросался, дружного звона сдвинутых бокалов не раздалось, а, напротив, многие, потупив глаза в свои приборы, обнаруживали смущение и как будто находили в обличительных словах поэта нечто неуместное, колкое, оскорбительное для старших и вообще не отвечающее веселому характеру собрания. А некто, кажется и теперь еще живущий и по крайней мере очень недавно произносивший «речи с юмором», поправил дело, сказав, что «надо помнить о присяге и, подчиняясь ей, не заводить никаких союзов, основанных на исключительных клятвах и обязательствах».

— По крайней мере я, господа, напоминаю, что я принимал присягу и ни о каких союзах знать не хочу.

— И мы тоже, и мы! Браво! Ура!

Николай Фермор не сконфузился, но очень обиделся; он стоя дождался, пока шум стих, обвел вокруг сидевших за столом товарищей, мрачно улыбнулся и сказал:

— Ну, если мне суждено выпить мою чашу одному, то я ее один и выпью.

И с этим он выпил вино и разбил бокал, чтобы из него не пили ни за какое другое пожелание.

Это опять бросило неблагоприятную тень на общее настроение пирующих. Опять нашлись люди, которые пытались поправить слово, но это не удавалось. Кто-то возгласил известное стихотворение Пушкина, оканчивающееся словами: «да здравствует разум», и все пили этот тост, но Фермор не пил, — ему не из чего было пить за «разум», — его бокал был разбит после тоста «за честность в жизни и на службе». Этот человек постоянно являлся вне общего движения — «уединенным пошехонцем», и все были рады, что он оставил общество ранее других, все по уходе его тотчас вздохнули, и веселье закипело, а он был уже один, унеся с собою неудовольствие на других и оставив такое же или, может быть, еще большее неудовольствие в этих других.

С рассказанного случая на самом первом шагу самостоятельной жизни Фермора началось его отлучение. Это не обещало ничего хорошего, но он нимало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, раздражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать сребролюбие и другие хорошо ему известные порочные склонности своего звания.

Ему было сделано замечание, что так служить нельзя.

Фермор хотел сейчас же оставить инженерную службу, боясь, что далее он еще хуже не сумеет поладить с господствовавшим в ведомстве направлением, но переменить службу ему не удалось. Великий князь Михаил Павлович знавший Николая Федоровича в училище, оставил его в Петербурге при здешней инженерной команде.

Тут не было таких дел, из-за которых молодому фанатику честности пришлось бы раздражаться, и он сносил свое служебное положение спокойно. Он даже был им доволен, но в это именно время (в 1831 году) начались большие постройки в крепостях Царства Польского, где наши инженеры особенно привольно «купались в золоте». Это ни для кого не было большою тайной, но все-таки «купанье» иногда обращало на себя внимание государя и великого князя, и тогда производилось «освежение личного состава», от чего, впрочем, дело нисколько не выигрывало, ибо лица, вновь прибывающие для освежения, немедленно же ощущали совершенную невозможность противостоять общему направлению и вскоре же, без

всякого протеста, становились такими же, как и прежние.

Кто по нежеланию, или по неумению, или из страха сам не лез в золотое русло, чтобы купаться в золоте, таких чрезвычайно предупредительно и ласково сами старшие окунали в ванны домашним порядком.

Дело было устроено так удобно, что тому, кто не хотел сам лично входить в какие-нибудь сделки, не было и никакой необходимости заниматься этим самолично. В известной части старший сам сделывался с поставщиками и приемщиками и делился со всеми своими сослуживцами, без объяснения путей и источников дохода. При таком порядке каждый «купался» без всякого насилия своей скромности и своей совести. Не доносить же на старших, — да и чем подкрепить донос? Все скажут: «это неправда» и «мир зинет — правда сгинет».

Н. Ф. Фермор был у великого князя Михаила Павловича на хорошем счету, как способный инженерный офицер, и это повело к тому, что в один прекрасный день Фермор совершенно неожиданно для себя получил перевод из Петербурга в Варшаву, где тогда производилось множество инженерных работ.

Фермор не обрадовался: он точно чувствовал, что ему там несдобровать, но он не имел такой решимости, как Чихачев или Брянчанинов, чтобы бежать от службы и скрыться под рясу монаха. Да и идеал Алексея человека божия, которому следовали в своей решимости Чихачев и Брянчанинов, не был идеалом позже их вышедшего на житейский путь Фермора. Этот тоже был религиозен, но он не хотел бежать от жизни в свете, а, напротив, хотел борьбы со злом — он хотел внести посильную долю правды и света в жизнь; Фермор был человек с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, ни витание в поэзии красоты и любовных восторгов. Он писал недурные стихи, но не к «ножкам Терпсихоры», а к возбуждению духа чести в житейских отношениях, и в этом смысле значительно опережал свое время и неминуемо должен был нажить себе много недоброжелателей и врагов.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Часть, в которую Николай Фермор поступил по прибытии в Варшаву, находилась в управлении инженера, у которого «система самовознаграждения» была поставлена самым правильным образом. Никто, кроме самого начальника части, не имел надобности ничего извлекать сам в свою пользу или входить в какие бы то ни было непосредственные отношения с подрядчиками работ и поставщиками строительных материалов. Все это начальник со всею ответственностью нес на себе сам, устраняя своих подчиненных от всяких сделок, «дабы не происходило никакой путаницы». Никто из офицеров своими руками ничего от посторонних не принимал, но каждому ежемесячно, при выдаче казенного жалованья, раздавалась «прибавка» или «дачка», о происхождении которой известно было только, что она «идет из кружки». Как составлялась эта «кружка», всем было понятно: старший брал или «уэкономливал» и потом «делил, как поп на причет». Причетники получали то, что им давал отец настоятель, и никаких частных частей всей этой благостыни могли не знать. Они даже обязаны были не стараться проникать в тайны, чтобы не подвергать дитя опасности от семи нянек, а получали, что им распределялось от отца командира, и затем продолжали служить с незапятнанною совестью, исполняя приказания старшего и ни в чем ему не переча.

Словом, «система самовознаграждения» была здесь возведена на высокую степень практичности, и все были ею довольны, тем более что отец настоятель был мастер собирать кружку и делил ее не скаречно.

При разделе кружечный сбор составлял для каждого такую значительную сумму, при которой казенное жалованье было сравнительно сущою безделицей. Расписывались же только в одной этой казенной безделице, а самое значительное получение, «из кружки», выдавалось на руки без всяких расписок — по-домашнему, или по-семейному. Сколько

командир собирал, об этом этикетом принято было не любопытствовать, но тем, что он дарствовал, все были довольны, потому что он был «человек благородный и давал не скупясь».

Положение это всем нравилось, и никто его изменять не хотел; но вот вдруг приезжает из Петербурга «молокосос Фермор» и не только причиняет своим безрассудным поведением всем ужасное беспокойство, но делает еще такой скандал во всем приходе и в обществе, что от него надо было избавиться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Прибыл Николай Фермор в Варшаву в свое время, по расчислению поверстного расстояния, и «как офицер, рекомендованный великим князем с наилучшей стороны», был принят с особливим вниманием.

— Вас избрал для посылки сюда сам великий князь, — сказал Фермору его начальник части. — Очень вам рады, нам хорошие молодые люди нужны, и мы постараемся, чтобы вам у нас было хорошо.

Фермор благодарил.

— Да, мы о вас позаботимся — у нас уже это так принято. Мы считаем вас своим со дня назначения. Теперь отдыхайте.

Фермор пошел отдыхать, а потом, отдохнув, явился для испрошения себе указанных занятий.

Ему отвечали, чтобы он об этом не заботился, что «занятия придут своим чередом». А «пока» ему никакого прямого назначения не было.

— Что же мне делать? Чем заниматься?

Начальнику это рвение не понравилось, и он сразу же посмотрел на него как на человека мало дисциплинированного и «с чем-то особенным в характере». А все сколько-нибудь и в каком-нибудь отношении «особенное» тогда не нравилось и казалось подозрительным, или во всяком случае особенность не располагала к доверию и даже внушала беспокойство. Желательны были люди «стереотипного издания», которые походили бы один на другого, «как одноформенные пуговицы».

Фермор к этому не подходил и своим домогательством занятий с первого же раза не понравился.

Начальник ему ответил холодно и сухо:

— Ходите и присматривайтесь; мы увидим, к чему вы способны.

Фермор стал «ходить и присматриваться», но ему продолжало сразу не везти во мнении начальства — нашли, что он слишком внимательно присматривается.

— Что ему такое надо?

О нем списались с Петербургом в отношении того, как он положен во мнении начальства и какие у него родственные связи.

Ответ пришел успокоительный, начальство ничего особого о молодом инженере не разумело, и только великий князь Михаил благоволил к нему потому, что знал Фермора по инженерному училищу, где тот хорошо учился и был известен добрым поведением. А что касается связей, то Ферморы принадлежали к хорошей фамилии, но особенно сильных связей у них нет, и старший брат Николая, Павел Федорович Фермор, служит простым офицером в одном из гвардейских полков и даже нуждается.²⁰

Сведенье это успокоило варшавского начальника Николая Фермора, и он определил себе, как надо держать этого молодого офицера.

В первый же месяц, когда приспело время получать жалованье, Николай Фермор

²⁰ Павел Федорович Фермор впоследствии достиг существенной высоты служебного положения и был начальником военно-юридической академии, образованной из аудиторского училища. (Прим. Лескова.).

явился к казначею вместе с другими, Казначей с своими сундуками помещался в комнате, смежной с кабинетом начальника части. Инженерные офицеры входили к нему по одному, расписывались в книге и получали в одну руку из ящика ту сумму, какая им следовала из казны и в которой они расписывались, а в другую, из особо стоявшей на полу возле казначея корзины им выдавалась обернутая в бумажку пачка, в которой заключалась сумма, значительно превосходящая казенное жалованье.

Эту получку инженеры брали из рук казначея не рассматривая и без расписки, а казначей только делал карандашом значок о выдаче ее в особой маленькой тетрадке.

Казначей был «косоротый», чиновник из писарей, в своем роде деловитый и в своем роде добрый человек, очень веселого нрава. Он иногда позволял офицерам «любопытствовать, сколько в пачке», но большею частью этого никто не делал, так как это ни к чему не вело и только могло служить перед начальством признаком строптивости.

«Косоротый», скривя губы, говорил:

— Веруй, а не испытуй. Верующему приложится, а у испытующего отнимется.

Все здраво рассуждавшие люди знали, что надо верить, и верили. За это им и давалось по вере их.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Когда вошел в казначейскую комнату Николай Фермор, «косоротый» придержал его, пока два случившиеся здесь офицера вышли, а потом предложил ему для учинения расписки казенную книгу, а когда тот расписался в получении следовавших ему казенных денег (кажется, что-то около сорока рублей), тогда казначей подал ему эти деньги и затем, спустя левую руку в стоявшую возле него корзину, подал пачку ассигнаций, перетянутую желтою бумажною полоской.

Положив эту пачку на стол рядом с отсчитанным казенным жалованьем, «косоротый» черкнул у себя в тетрадке карандашиком и, задвинув тетрадь в стол, ждал, чтобы Фермор вышел и дал место другому офицеру.

И Фермор действительно от него ушел, но пачки, перетянутой бумажною полоской, не тронул.

— Что же вы? — проговорил ему вслед «косоротый».

Фермор остановился.

— Что же вы не берете? Это ведь тоже ваше.

— Что такое? — спросил, недоумеая, Фермор.

— Свое, что вам следует.

— Я получил все свое, что мне следует.

— И это тоже вам следует.

Казначей опять показал глазами на оставшуюся на столе пачку.

— Что же это такое?

Казначей посмотрел на него значительно и с неудовольствием и отвечал:

— Что я вам буду рассказывать! Это деньги.

— Какие?

— Государственные ассигнации.

— Сколько же их здесь?

— Сколько? Об этом не говорят, но можете сосчитать, сколько их здесь. Тут четыреста рублей.

— И они мои?!

— Да, ваши.

— Решительно не понимаю! — произнес, двинув плечами Фермор.

— Ну, так и не понимайте, — отвечал «косоротый» и при выходе Фермора бросил предназначавшуюся ему пачку опять назад в корзину.

А Николай Фермор, выйдя в комнату, где были офицеры, отыскал тех из них, с

которыми уже успел познакомиться, и за великий секрет с негодованием рассказывал, какую «оскорбительную штуку» хотел было с ним проделать «косоротый».

— Я понял его, — говорил Фермор, — он меня соблазнял потому, что хотел испытывать, но это ему никогда не удастся... И зато он теперь этого больше себе никогда не позволит ни со мной, ни с другим. Пусть старшие поступают, как хотят, но люди нашего поколения должны научить этих господ, как надо уважать честность.

И он при этом только хотел продолжать, что все молодые инженеры должны образовать союз, чтобы поддерживать друг друга на честном пути бескорыстного служения, но заметил, что кучка молодежи, среди которой он сообщал о своем оскорблении, растаяла, и с ним остался только один из наиболее добросердечных товарищей, и тот не столько ему внимал, сколько убеждал оставить это на время и идти «со всеми вместе в гастрономию, так как это у нас, — говорит, — заведено и никому нехорошо нарушать товарищеские обряды».

— Я себе никогда и не позволю нарушать ничего товарищественного, но я ужасно взволнован казначеем... Это его презрение к моей чести...

— Полноте, пожалуйста, да он и не думает ни о чьей чести!

— Но тогда что же дает ему такую уверенность? И притом, я ведь еще ничего не делал, а только «ходил да присматривался».

— Ну, полно вам добираться... «Ходите да присматривайтесь», тогда и поймете. А впрочем, в «гастрономии» у нас своя инженерная зала, и мы можем там продолжать наш разговор, а теперь пойдемте туда скорей, чтобы не задерживать товарищей.

Они пошли в «гастрономическое отделение», где Николай Фермор повторил в усиленном виде сцену в том же самом роде, как та, которую он разыграл в Петербурге, на пиру вновь вышедших инженеров.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В «гастрономию» в Варшаве ходили только такие люди, у которых есть «глупые деньги». Здесь, правда, можно было получать самые утонченные и редкие вещи, но зато надо было платить за все чрезвычайно дорого. Людям, не имеющим лишних средств, сюда и порога переступать было не для чего, а с тех, которые сюда заходили, драли уже цены без всякого милосердия.

Самыми любимыми и наиболее обираемыми посетителями «гастрономии» были русские инженеры, которые «купались в золоте».

Если русские армейские войска полонили Варшаву, то русские инженеры несомненно полонили варшавскую «гастрономию» и приложили старание внушать здешней челяди уважение к русскому имени. Именитые поляки, поддерживавшие здесь ранее честь польской аристократии, присмирели и были вытеснены в «малые кабинеты», а самым большим помещением завладели русские инженеры и назвали его «инженерным залом». Сюда при них никто не смел приходить и садиться, потому что инженеры во всякое время могли его подавить грандиозностью своего поведения.

В обычае своем они были люди еще очень простые, и в день получения жалованья и пачек в бумажных полосках приходили в гастрономию «валом», то есть почти во всем составе, со включением и «косоротого». Здесь пили и ели много, забирая все, что есть самого лучшего и самого дорогого; засиживались долго, сколько хотели, и платили за все настоящим благородным манером, то есть не торгуясь и даже не считая, что действительно взято и что бессовестно присчитано.

После отшедшего века магнатории они начинали век инженерии, и, должно признаться, начинали его со славой. Заря, облиставшая инженерную славу, поднималась в Варшаве и Новогеоргиевске и оттуда светила далее, против естества, — с запада на восток, через Киев, даже до Баку и Ленкорани, ибо ныне даже и там воспрославлено имя русского инженера.

С такими-то людьми, если не барстванных, то по крайней мере широких привычек очутился чудак, опоенный самою щекотливою честностью, и он повел себя в этом почтенном

сообществе как старинный юродивый в золотом чертоге. Он жался, толкался, хмурился, оставался нелюдим, не принимал никакого живого участия в товарищеском разгуле и не только почти ничего не ел, но и не пил, а между тем чувствовал над собою нечто демоническое и ужасное, подобное тому, что ощущают некоторые люди, проезжая над пропастью. Не проглотив ни одного глотка вина, Фермор опьяневал от одних паров, от одной атмосферы и чувствовал неотразимую тягу броситься в зияющую бездну, мимо которой ему нимало не тесно было бы пройти, если бы его туда не влекло и не толкало все вместе взятое, чего не ощущал никто, кроме его одного. Его прямолинейные понятия и чувствительные нервы не переносили всей массы этих впечатлений, и он теперь философствовал и жег себя огненными муками.

«Жизнь меня обманула! — рассуждал он и так написал в письме к своему родственнику. — Я догадываюсь, что у нас честно жить очень трудно и даже невозможно. Напрасно нам в таком случае представляют примеры из жизни чужих народов. У других выгодно быть честным, а у нас нет. У нас с умом и с честностью обходятся несравненно суровее и беспощаднее, чем с бездарностью и с искательством. У нас с честностью можно только страдать и пресмыкаться. Я все изжил, еще почти не начиная жить. Если бы у меня был сын, я бы теперь уже не знал, как его воспитывать. Чтобы он не был несчастлив, надо, чтобы он не был очень честен и на все был сговорчив. От этого я никогда не буду иметь своей семьи. На честных людей хорошо любоваться со стороны, но мучительно заставлять близкого человека переносить все в его собственной коже. Задумываюсь даже, стоит ли жить и самому? Я не вижу смысла жить в том ужасном сознании, что чести и настоящему благородству нет места в русской жизни... Этого никто один исправить не может, а при этом честно жить невозможно...»

И вдруг в этом самом роде он заговорил перед всеми, заседавшими в «гастрономии». И в то же самое время, как он это говорил, он не понимал: зачем и с какой стати он это говорит? Он никак не мог вспомнить ни момента, ни случая, когда в нем вздрогнули вещие струны пророческой арфы и он пошел «глаголом жечь сердца людей». А в то же время он понимал, что делает что-то совершенно неудобное, расстроивающее компанию и потому неприличное и даже обидное. Он видел, что люди встают и отходят от него, пожимая плечами и кидая на него презрительные взгляды, и вот уже нет никого, а только один «косоротый» лег грудью на стол и, положив на руки голову, крепко опит, посвистывая носом.

На другой день Фермор ощущал чад и туман в голове, как будто он неумеренно пил, тогда как на самом деле он совсем не брал в рот никакого вина. Ночью он лег поздно, но беспрестанно просыпался, точно будто после большого проигрыша. Ощущения были так сходны с этим, что он даже хватался два раза за свой бумажник и тщательно проверял свою наличность. Она была ничтожна: Фермор не пил, но пили другие, а как расчет был сообща, то, уплачивая поровну со всеми, он отдал почти все, что имел при себе. Во всяком случае полученное им месячное жалованье ушло почти все без остатка.

Это его не могло не смутить, потому что такие расходы были возможны только для тех, кто «купался в золоте»; но кто хотел жить на одно казенное жалованье, для того траты в таком размере были не по силам. Фермор тут же ночью дал себе слово, что вперед в подобной компании он никогда участвовать не будет.

Кто хочет прожить честно, тот не должен быть транжиром и мотом. Он даже не должен стыдиться быть нищим. Иначе невозможно.

Фермор только немножко сожалел кое-кого из молодых инженеров, которых считал за людей лучшего порядка, и стеснялся, как он им откажет в товариществе. Но беспокойство его было напрасно: ни старшие, ни младшие, никто его сообщества более не искали. Другой месяц Фермор тоже «проходил присматриваясь», без особого назначения, а когда пришел день раздачи жалованья, «косоротый» подал ему казенные деньги в книжке и две пачки, перетянутые бумажною полоской, — за истекающий месяц и за прошедший.

Фермор притворился, что он этих денег как бы не заметил, и взял только одно

жалованье.

«Косоротый» еще более скосоротился и спросил:

— Что ж?.. Опять не берете?

— Да, не беру и никогда не возьму, — резко отвечал Фермор и добавил, чтобы казначей на будущее время не смел и делать ему таких предложений.

— Хорошо-с, — отвечал «косоротый», и тут же, прежде чем Фермор успел выйти, он пошел с обеими пачками в руках в кабинет начальника.

Фермор не имел ни малейшего повода подозревать, что «косоротый» спрятал у себя его деньги, — напротив, он должен был думать, что деньги доставлены начальнику, как не принятые Фермором.

И действительно, дело так и было, и с этих пор все принимает совсем иной характер.

Дон-кихотство переходит в трагизм.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Фермора совсем не позвали во второй раз в «гастрономию». Старшие, очевидно, не хотели его видеть, а из младших те, с которыми он ближе других сталкивался, были немножко сконфужены, и, наконец, кто-то из них, при каком-то рассказе о чем-то, происшедшем в последний раз в «гастрономии», сказал Фермору:

— Мы вас с собою не звали потому, что нам всем было совестно: вы ничего не пьете, а между тем у нас плата общая. Вам это убыточно.

— Мне это невозможно! — отвечал Фермор.

— То-то и есть.

Молодой человек не искал пиров и не почитал себе ни за честь, ни за удовольствие пить и есть в «гастрономии», он даже (как выше сказано) сам желал от этого отказаться, но когда почувствовал, что его «выключили без прошения», и притом так решительно, так мягко и в то же время так бесповоротно, он сконфузился и, сам не сознавая чего-то, сробел.

— Как это так скоро и так просто? Я не сделал ничего дурного, а меня вышвырнули, как кошку за хвост... И еще извиняются... Это уже насмешка!

Но прошло несколько дней, и ему стало смешно, как его спустили.

К сожалению, не к чему было уже и присматриваться. Фермор видел, что его самого рассмотрели до дна и отставили, и вдобавок стала ходить какая-то сказка, будто он принял какую-то шутку казначея за серьезное предложение ему какой-то артельной взятки.

Это его возмутило: он пошел требовать от казначея объяснений и в пылу гнева чуть не поднял руку...

«Косоротый» скрылся, но рассказал историю.

На Фермора стали смотреть как на человека помешанного.

— Это Дон-Кихот; ему невесть что представляется; он никакой шутки не понимает и бросается на добрых людей.

Теперь, если бы он и захотел подчиниться общему положению и братски принимать дележи кружки, ему вряд ли удалось бы поправить свое положение в обществе товарищей и старших, которых он всех без исключения обидел своим фанфаронством.

— Дрянной и беспокойный человек, — говорили о нем, и он слышал это и находил в себе еще более силы стоять на своем и не поддаваться.

К счастью, на каждого старшего у нас бывает еще высший старший, и Фермор надеялся найти себе защиту выше.

В числе рекомендаций, которыми Фермор был снабжен из Петербурга в Варшаву, у него было рекомендательное письмо к русскому православному викарному архиерею Антонию Рафальскому, известному своею странною и до сих пор невыясненною ролью по приему Почаевской лавры от униатских монахов, а потом впоследствии митрополиту новгородскому и с. — петербургскому.

Фермор, от скуки и досады, вздумал воспользоваться этим письмом и предстал

викарию, который до вдовства своего жил в миру и знал толк в «обхождении».

Без всякого сомнения, он сразу же уразумел представшего перед ним молодого человека и сообразил, что это — прекрасное, восторженное дитя, человек совсем не пригодный к жизни между людьми бойцовой породы, и Антонию, может быть, стало жаль «младенца», а притом и петербургская рекомендация, которую привез Фермор, имела вес в глазах Рафальского, который дорожил связями в Петербурге. Вследствие всего этого он нашел полезным принять в Николае Ферморе участие, чтобы иметь за то на своей стороне лицо, которое о нем писало.

По таким побуждениям, истинный смысл которых молодому идеалисту был недоступен, викарий варшавский принял в нем участие и воспользовался первым случаем ему помочь. При свидании с начальником инженеров в Варшаве Деном Антоний рассказал о Ферморе и сумел расположить Дена в его пользу.

Иван Иванович Ден особенно не вникал в просьбу, так как она представлялась ему очень неважною. Молодой человек томится, что ему не дают сразу много дел в руки, над чем командовать. Это часто так бывает: молодые люди всегда чем-нибудь томятся и хотят выше головы прыгнуть, а это нельзя. А впрочем, молодой инженер, хорошо учившийся и хорошо рекомендованный учебным начальством, и также известен великому князю... и также просит архиерей... Отчего он остается в самом деле без назначения, тогда как инженерных работ множество? Об этом надо спросить.

Ден спросил, что это значит?

Ему отвечали, что молодой человек очень хороший и им очень довольны; что его и не думали оставлять без назначения, но надо было, разумеется, «присмотреться», к чему его можно лучше назначить.

— Ну да, ну да, это совершенно справедливо. Он мне и не жаловался, а архиерея там... за него просили, и он просит... Надо для него сделать.

— Да уж и сделали.

— Ну и прекрасно! — отвечал Ден и известил Антония, что все улажено: его дадут дело по силам, «а тогда мы не оставим это без внимания, и он будет награжден».

Антоний сейчас же послал за Фермором и поспешил его обрадовать, но был неприятно поражен, заметив, что в нем «мало восторга», а «наиболее томности и унылости, как бы у человека, разочарованного жизнью».

Викарий его за это отечески пощунял и дал «к жизни наставление», заключавшееся в том, что надо хранить бодрость духа во всяких положениях.

— Духа в себе не угашайте и носа не вешайте, — учил епископ, — вперед очень быстро не устремляйтесь, да инии не возропщат, и позади не отставайте, да инии не вознепщуют. Надо держать серединку на половинке — себя блюсти и ближнего не скрестить. А в заключение всего афоризм: не укоряй, и не укорен будешь, а укоришь других — укорят и ты.

Фермор этого нимало не боялся: за что его кто-нибудь может укорить? Но в отношении неудовольствия на начальство он почувствовал, что был неправ: начальник действительно выбрал и дал ему самое подходящее занятие, к которому ни с какой стороны не могло подползти никакое подозрение. Начальник поручил Фермору технические проверки, которыми, кроме его, занимались еще шесть человек, чинами старше и умом опытнее.

Назначение было почетное. Работа полезная и самостоятельная: смотри, вникай, сообрази, изложи критику и доложи умно и понятно.

Фермор и пошел усердствовать. Сколько ему ни дадут работы на руки, он все их к докладному дню в неделю окончит и представляет.

Его товарищи все враз на него перекошились. Первую, вторую неделю ему спустили, а

²¹ протеже (франц.)

потом один от лица прочих говорит:

— Вы что же это делаете? Отличиться, что ли, хотите?

Фермор отвечал, что у него и в помыслах не было искать превозвышения над товарищами, и, по его понятиям, он ровно ничего такого не делал, за что бы его можно укорить в честолубии или в неблагодарстве.

— А вы ведь имели время присматриваться, так вы разве не видите, что все по одному делу в докладной день представляют, а вы для чего тащите пять да шесть и из каждого показываете разную шерсть?

— Мне сколько поручают, я столько и представляю.

— Да разве это можно так делать?

— У меня много свободного времени, и я успеваю.

— Мало ли что вы успеваете! Вы вон и вина не пьете и в карты не играете — нельзя же требовать, чтобы так жили все. Если вам в тягость ваше свободное время, можете найти для себя какое угодно занятие, только не быть выскочкою против товарищей.

Фермор стал скучать и явился просить другого дела.

— Каков молодец! он уже недоволен своим положением и просит другого! Беспокоит главного начальника и архиерея. Трется попасть в амишки! — стали говорить одни, а другие прибавляли:

— Какие протекции! Из Петербурга его рекомендуют, здесь за него просят то архиерей, то сам Иван Иванович (Ден). Кому хотите дать столько протекций, всякий себе карьеру сделает.

А Фермору казалось, будто чем больше людей за него заступается, тем ему становится хуже.

Из Петербурга ему пишут, что он «не умеет» пользоваться участием, а он не находит в этом участия того, что нужно, — не особых протекций, а возможности честного и усердного труда.

Он уже не знал, на кого роптать; все хороши — начальник его не порицал и не преследовал, а даже показывал, что очень доволен его усердием; и «косоротый» ему не предлагал пачек с бумажною полоской, а давал только то, что следует, и даже вслух приговаривал: «извольте столько-то рублей и копеек», и в «гастрономию» его не приглашали, но ему день ото дня становилось все тяжелее и невыносимее.

Антоний к нему продолжал благоволить и осведомлялся у его начальника: как он служит?

Тот отвечал, что он сам Фермором очень доволен, но удивляется и сожалеет, что тот очень неудобно поставил себя со всеми товарищами.

Викарий при первом свидании передал это Фермору и осведомился:

— В чем дело?

— Не гожусь, не подхожу, — отвечал Фермор.

— Отчего?.. Для чего вы такой зломнительный? Нехорошо иметь мрачный взгляд на жизнь. В ваши цветущие годы жизнь должна человека радовать и увлекать, Я о вас говорил с вашим начальником, и он вас хвалит, а отнюдь не говорит того, будто вы не подходите. Извините меня: вы сами себе создаете какое-то особенное, нелюбимое положение между товарищами.

Фермор вспыхнул и отвечал:

— Это совершенно верно: начальство относится ко мне теперь лучше, чем товарищи.

— Ну вот... Это нехорошо.

— Да; но чтоб они относились ко мне хорошо, — чтобы я был любим, — надо, чтоб я сделал... то... что совсем нехорошо.

— Что же это?.. Неужто вольномыслие?

— О нет! Я ничего не знаю о вольномыслии, — отвечал Фермор.

— Так что же? Фермор молчал.

— Верно, берут?

- Я ничего говорить не буду.
- Если это, то ведь что инженерия, что финансерия — это такие ведомства, где все берут.
- Зачем же это? Для чего это так? Викарий долго на него посмотрел и сказал:
- Для чего берут-то?
- Да!.. Ведь это подло!
- Значит, поладить не можете?
- Не могу, ваше преосвященство, я к этому совсем от природы неспособен.
- Ну, способности тут не много надо.
- Взятка, мне руку прожжет.
- Прожечь не прожжет, а... нехорошо. Но дерзости не надо себе позволять.
- Фермор понял, что передано что-нибудь об его сцене с «косоротым», и с горечью воскликнул:
- Ах, ваше преосвященство, какие дерзости! Они сами выводят из терпения, сами обижают, а потом лгут и сочиняют.
- Да, но все-таки на службе надо уживаться.
- Я не вижу никакой возможности уживаться с такими людьми и буду проситься в другое место.
- И на другом месте, может быть, встретите то же самое, ибо и там тоже будут люди.
- Но не все же люди одинаковы!
- Антоний опять на него поглядел с сожалением и сказал:
- Да, иногда бывает и отмена.
- Я посмотрю, я верую встретить иное.
- Ну, веруйте... посмотрите.
- В тоне викария было слышно утомление.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ближайший начальник Фермора оказался зато так к нему снисходителен и милостив, что дал ему другое поручение, на которое Фермор уже не приходил никому жаловаться, но совсем не стал заниматься делом, а начал уединяться, жил нелюдимом, не открывал своих дверей ни слуге, ни почтальону и «бормотал» какие-то странности.

Антоний узнал об этом и послал просить его к себе.

Фермор пришел, но не только не опроверг перед викарием дошедших до него слухов, а, напротив, еще усилил сложившееся против него предубеждение. Он был сух с епископом, который за него заступался, и на вопрос о причине своего мрачного настроения и уклонения от общества отвечал:

— Я потерял веру в людей и не могу ничего делать.

Антоний не мог вызвать Фермора ни на какую бóльшую откровенность и отпустил его, сказав, что он по его мнению, должно быть болен и ему надо полечиться.

Фермор ушел молча и еще плотнее заперся, а потом, призванный через несколько дней к начальнику, наговорил ему таких дерзостей, что тот, «желая спасти его», поехал к Антонию и рассказал все между ними бывшее и добавил:

— Если я дам этому ход, то молодой человек пропадет, потому что он говорит на всех ужасные вещи.

— Ай, ай!

— Да, он не только нарушает военную дисциплину, но... простите меня великодушно: он подвергает критике ваши архипастырские слова... Однако, как вы изволите принимать в нем такое теплое участие, то я не желаю вас огорчить и прошу вас обратить на него внимание: он положительно болен, и его надо увезти куда-нибудь к родным, где бы он имел за собою нежное, родственное попечение и ничем не раздражался. На службе он в таком состоянии невозможен, но его любит великий князь, и если вы согласитесь сказать об этом

генералу Дену, то он, вероятно, напишет в Петербург и исходатайствует ему у великого князя продолжительный отпуск и средства для излечения.

Антоний согласился вмешаться в это дело и вскоре же нашел случай поговорить о том с Деном.

Иван Иванович Ден зачмокал губами и закачал головой.

— Жаль, очень жаль, — заговорил он. — Я не прочь довести об этом великому князю и уверен, что бедняге разрешат отпуск и дадут средства, но прежде чем я решусь об этом писать, надо обстоятельно удостовериться о здоровье этого офицера. Я пошлю к нему своего доктора и сообщу вам, что он мне скажет.

Викарий известил Фермора, какое участие принимает в нем главный начальник, который пришлет к нему своего доктора, но это известие, вместо того чтобы принести молодому человеку утешение, до того его взволновало, что он написал викарию вспыльчивый ответ, в котором говорил, что доктор ему не нужен, и вообще все, что делается, то не нужно, а что нужно, то есть, чтобы дать ему возможность служить при честных людях, — то это не делается.

Дену устроить это ничего бы не стоило, но он, к несчастью, тоже не так на все смотрит, потому что и сам...

Викарий увидал, что молодой человек уже слишком много себе позволяет: этак дела в государстве идти не могут.

Письмо осталось без ответа.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Посланный Деном его доверенный и искусный врач нашел Фермора в самом мрачном настроении, которое при первых же словах доктора моментально перешло в крайнюю раздраженность.

Молодой человек сначала не хотел ничего говорить, кроме того, что он физически совершенно здоров, но находится в тяжелом душевном состоянии, потому что «потерял веру к людям»; но когда доктор стал его убеждать, что эта потеря может быть возмещена, если человек будет смотреть, с одной стороны, снисходительнее, а с другой — шире, ибо человечество отнюдь не состоит только из тех людей, которыми мы окружены в данную минуту и в данном месте, то Фермор вдруг словно сорвался с задерживающих центров и в страшном гневе начал утверждать, что у нас нигде ничего нет лучшего, что он изверился во всех без исключения, что честному человеку у нас жить нельзя и гораздо отраднее как можно скорее умереть. И в этом пылу он то схватывал, то бросал от себя лежавший на столе пистолет и порицал без исключения все власти, находя их бессильными остановить повсюду у нас царящее лицемерие, лихоимство, неуважение к честности, к уму и к дарованиям, и в заключение назвал все власти не соответствующими своему назначению.

Врач доложил об этом Дену и выразил такое мнение, что Фермор если и не сумасшедший, то находится в положении, очень близком к помешательству, и что ему не только нельзя поручать теперь служебные дела, но надо усиленно смотреть за ним., чтоб он, под влиянием своей мрачной меланхолии, не причинил самому себе или другим какой-нибудь серьезной опасности.

— Я и подозревал это.

Иван Иванович Ден послал доктора рассказать все Антонию, а сам немедленно довел о происшествии с Николаем Фермором до ведома великого князя. А Михаил Павлович сейчас велел призвать к себе Павла Федоровича Фермора и приказал ему немедленно ехать в Варшаву и привезти «больного» в Петербург.

Приказание это было исполнено: Николая Фермора привезли в Петербург, и он стал здесь жить в доме своих родителей и лечиться у их домашнего, очень хорошего доктора.

Сумасшествия у него не находили, но он действительно был нервно расстроен, уныл и все писал стихи во вкусе известного тогда мрачного поэта Эдуарда Губера. В разговорах он

здро́во отве́чал на всякие вопро́сы, исклю́чая вопро́са о службе́ и о че́стности. Все, что касало́сь этого́ ка́кою бы то ни было́ сторо́ной, мо́ментально́ выво́дило его́ из спо́койного состо́яния и дово́дило до иссту́пления, в кото́ром он стра́стно выра́жал свою́ печа́ль об утрате́ ве́ры к лю́дям и полну́ю безнаде́жность возвра́тить ее́ чере́з ко́го бы то ни было́.

На указа́ние ему́ са́мых си́льных лиц он отве́чал, что «э́то все ра́вно, — ни́кто ни́чего не значи́т: что́ ну́жно, то́го ни́кто не сде́лает».

— Они́ все е́сть, но ко́гда ну́жно, что́б они́ значи́ли то́, что они́ дол́жны значи́ть, то́гда они́ ни́чего не знача́т, а э́то значи́т, что́ ни́что ни́чего не значи́т.

Так он поше́л «загова́риваться», и в э́том было́ резю́ме его́ вну́треннего ра́злада, так сказа́ть, «пунќт его́ помешате́льства». О ра́сстройстве́ Никола́я Фе́рмора́ скоро́ загово́рили в «све́те». Стра́нный ду́шевный недуѓ Фе́рмора́ каза́лся интере́сным и занима́л мно́гих. Опя́ть дума́ли, что́ он скрыва́ет что́-то политиче́ское, и не охот́но ве́рили, что́ ни́чего подо́бного́ не было́. А он са́м гово́рил:

— Я зна́ю не политиче́ское, а про́сто га́дкое, и оно́ меня́ тесни́т и дави́т.

Ду́шевные стра́дания Фе́рмора́, гово́рят, послужи́ли мотива́ми Герце́ну для́ его́ «Запи́сок до́ктора Кру́пова», а е́ще поэ́же — Феофи́лу Толсто́му, кото́рый с него́ написа́л свой э́тюд «Бо́лезни во́ли». Толсто́й в то́чности воспрои́звел сво́его ге́роя с Никола́я Фе́рмора́, а рассу́ждения взял из «Запи́сок до́ктора Кру́пова», поя́вившихся́ ранее́.

Суда́ по вре́мени собы́тия и по бо́льшому́ сходству́ то́го, что́ чита́ется в «Запи́сках до́ктора Кру́пова» и особе́нно в «Бо́лезнях во́ли» Ф. Толсто́го, с ха́рактером не́счастли́вого Никола́я Фе́рмора́, ле́гко ве́рить, что́ и Герце́н и Феофи́л Толсто́й пользо́вались исто́риею Никола́я Фе́рмора́ для́ сво́их э́тюдов — Герце́н бо́лее тала́нтливо́ и оригина́льно, а Ф. Толсто́й бо́лее ра́бски́ и протоко́льно воспрои́зводя́ изве́стную́ ему́ действите́льность.

ГЛАВА ШЕСТИНАДЦАТАЯ

В тако́м поло́жении, что́ называ́ется ни́ в те́х, ни́ в си́х, Никола́й Фе́рмор оста́вался не́сколько ле́т. Ему́ по вре́менам то́ стано́вилось́ не́много́ ле́гче, то́ опя́ть на него́ навали́вала хан́дра и беспо́койство, — он не́ вовремя́ уходи́л из до́ма и не́ вовремя́ возвра́щался, се́рдился за пу́стыки́ и не́ обра́щал внима́ния на ве́щи крупно́го значе́ния. Но́ воо́бще́ он все́гда́ выходи́л из се́бя за́ всякую́ са́момале́йшую́ недо́бросове́стность. Он не́ спуска́л ни́кому, е́сли ви́дел, что́ че́ловеќ посту́пает не́справе́дливо́ и не́великоду́шно́ проти́в дру́гого́ че́ловека́. Но́ е́сли его́ ни́что́ не́ раздра́жало́, то́ он бы́л ти́х и и́ли ходи́л задумчи́во, и́ли си́дел поту́пя́ взор, ка́к Аба́донна́, и чита́л Губе́ра.

Так бы́, ве́роятно́, тяну́лось́ мно́гие́ го́ды, е́сли бы́ не́ яви́лся́ исклю́чительный́ случа́й, ка́кие,́ впро́чем, в ца́рствова́ние Никола́я Í быва́ли, сви́детельству́я и те́перь́ е́ще́ о сра́внительно́й про́стоте́ то́гдашних́ обы́чаев.

О́днажды́ Па́вел Фе́дорович Фе́рмор, отпра́вляясь́ на ле́то с пол́ком в ла́герь в Пе́терго́ф, при́гласи́л с со́бою́ ту́да бо́льного́ брата́. То́т согла́сился́, и оба́ брата́ посели́лись в ла́гере, в о́дной па́латке́.

Никола́й Фе́дорович бы́л в э́то вре́мя в ти́хой по́лосе́ — он чита́л, гу́лял и мо́г ве́сти спо́койные́ разгово́ры, ли́шь бы́ они́ не́ каса́лись́ его́ пунќта́ — че́стности́ и нача́льства. Но́ в Пе́терго́фе́ преобла́дало́ карье́рное́ настро́ение, и́ не́возмо́жно́ было́ уй́ти от ча́стых разгово́ров о́ том, что́ о́дному́ уда́лось, а́ поче́му́ э́то́ же́ са́мое́ дру́гому́ не́ уда́лось. Бо́льной́ слуша́л все́ э́то́ и нача́л опя́ть раздра́жаться́, на́ него́ напа́ла́ бессонни́ца, кото́рая́ его́ ра́сстрои́ла до́ то́го, что́ он ста́л га́ллюцини́ровать и́ рассу́зывать́ сво́ему́ б́рату́ Па́влу́ разны́е не́сообра́зности. Но́ ка́к Никола́й Фе́рмор́ все́-та́ки́ бы́л со́вершенно́ ти́х и́ ни́ для́ ко́го́ не́ о́пасен, то́ за́ ним́ не́ присма́трива́ли, и́ он выходи́л, ко́гда́ хоте́л, и́ шел, ку́да́ ему́ вздумало́сь.

В тако́м-то́ имен́но́ настро́ении́ он в о́дно́ у́тро́ вы́шел из до́ма́ о́чень́ ра́но́ и отпра́вился́ гу́лять в Ни́жний Са́д. А́ в то́т го́д госуда́рь Никола́й Па́влович пи́л ми́неральные́ во́ды́ и та́кже́ вста́вал о́чень́ ра́но́ и де́лал про́ходку́ пря́мо из Але́ксандрии́ по́ гла́вной а́ллее́ Ни́жнего́ Са́да.

Случилось так, что император и больной Николай Фермор встретились.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Увидев государя, Николай Фермор стал, как следовало, и приложил руку к фуражке.

Государь взглянул на него и было прошел уже мимо, но потом, вероятно затрудняясь вспомнить, что это за инженерный офицер и зачем он здесь, оборотился назад и поманул Фермора к себе.

Фермор подошел.

Кто ты такой? — спросил государь.

Фермор назвал свое имя.

— Зачем ты здесь?

Фермор отвечал, что он был на службе в Варшаве, но имел несчастье там заболеть и, по приказанию его высочества, привезен своим братом Павлом в Петербург, а теперь находится для пользования свежим воздухом у брата в лагере.

Государь меж тем всматривался в его лицо и потом спросил:

— Ты был в инженерном училище, когда я был еще великим князем?

— Нет, ваше величество, — это был мой брат.

— Чем же ты нынче болен?

Николай Фермор смешался, и лицо его мгновенно приняло страдальческое выражение.

Государь это заметил и ободрил его.

— Говори правду! Что бы то ни было, мне надо отвечать правду!

— Ваше величество, — отвечал Фермор, — я никогда не лгу ни перед кем и вам доложу сущую правду: болезнь моя заключается в том, что я потерял доверие к людям.

— Что такое? — переспросил, возвыся голос и откидывая голову, государь.

Фермор спокойно повторил то же самое, то есть, что он потерял доверие к людям, и затем добавил, что от этого жизнь ему сделалась несносна.

— Мне не верят, ваше императорское величество, но я ужасно страдаю.

— Я тебе верю. Я знаю, это у тебя от Варшавы; но это ничего не значит — ты вздохнешь здесь русским духом и поправишься.

— Никак нет, ваше величество.

— Отчего нет?

— Нельзя служить честно.

Лицо Фермора приняло жалкое, угнетенное выражение.

Государь был, видимо, тронут разлитым во всем его существе страданием и, нимало не сердясь, коснулся его плеча и сказал:

— Успокойся — я тебе дам такую службу, где ты будешь в состоянии никого не бояться и служить честно.

— Кто же меня защитит?

— Я тебя защищу.

Фермор побледнел и не отвечал, но левую щеку его судорожно задергало.

— Или ты и мне не веришь?

— Я вам верю, ваше величество, но вы не можете сделать то, что изволите так великодушно обещать.

— Почему?

Возбуждение и расстройство Фермора в эту минуту достигло такой высокой степени, что судорога перехватила ему горло и из глаз его полились слезы. Он весь дрожал и нервным голосом ответил:

— Виноват, простите меня, ваше величество: я не знаю почему, но... не можете... не защитите.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Государь посмотрел на него с сожалением и в это время, конечно, убедился, что он говорит с помешанным.

— Тебя лечили в Варшаве, когда ты заболел?

— Генерал Ден присылал ко мне своего доктора.

— И что же, он тебе не помог?

— Мне нельзя помочь, потому что я потерял...

— Да, да, я знаю, — перебил государь, — ты потерял доверие к людям... Но ты не робей: этим самым отчасти страдаю и я...

— Ваше величество, в вашем положении это еще ужаснее!

— Что, братец, делать! Но я, однако, терплю. Я бы тебе посоветовал искать утешение в религии. Ты молишься богу?

— Молюсь.

— У нас есть духовные лица с большою известностью, ты бы обратился к кому-нибудь из них.

— Я пользовался в Варшаве расположением преосвященного Антония.

— Да, он красноречив. Религия в твоём положении может дать тебе утешение. Но ты ведь должен знать Игнатия Брянчанинова — он твой товарищ.

— Он товарищ моего старшего брата, Павла.

— Это все равно: я вас сведу. Иди сейчас в лагерь и скажи твоему брату, что я приказываю ему сейчас свезти тебя от моего имени в Сергиевскую пустынь к отцу Игнатию. Он может принести тебе много пользы.

Фермор молчал.

Государь пошел своею дорогой, но потом во второй раз опять остановился — сам подошел к стоявшему на месте больному и сказал:

— Иди же, иди! Иди, не стой на месте... А если тебе что-нибудь надобно — проси: я готов тебе помочь.

— Ваше величество! — отвечал Фермор, — я стою не потому, что хочу б²⁴³льших милостей, но я не могу идти от полноты всего, что ощущаю. Я благодарю вас за участие, мне больше ничего не нужно.

По щекам Фермора заструились слезы.

Государь вынул свой платок, обтер его лицо и поцеловал его в лоб.

Фермор тяжело дышал и шатался, но смотрел оживленно и бодро.

— Ты, братец, редкий человек, если тебе ничто не нужно; но если не теперь, а после тебе что-нибудь понадобится, то помни — я даю тебе право обратиться прямо ко мне во всякое время.

— Низайше благодарю, ваше императорское величество, но никогда этого не сделаю.

— Отчего?

— У вас, ваше величество, столько важных и священных дел, что моя одинокая судьба не стоит того, чтобы вам обо мне думать. Это святотатство. Я себе не позволю вас беспокоить.

— Ты мне нравишься. Если не хочешь ко мне приходить, напиши мне и передай во дворец через генерал-адъютанта. Я буду рад тебе помочь; тебя кто теперь лечит?

— Доктор Герацкий.

— Он те годится — я поручу тебя Мандту. Прощай.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Когда Николай Фермор пришел в лагерь после свидания и разговора с государем, старший Фермор (Павел) еще спал. Николай его разбудил и стал ему рассказывать о том, как он повстречался с императором в Нижнем Саду и какой у них вышел разговор, причем разговор этот был воспроизведен в дословной точности.

Павел Федорович подумал, что вот именно теперь брат его совсем уже сошел с ума и галлюцинирует и зрением и слухом, но, по наведенным справкам, оказалось однако, что Николай Фермор говорит сущую правду. По крайней мере особливые люди, которым все надо видеть, — действительно видели, что император встретил Фермора в Нижнем Саду и довольно долго с ним разговаривал, два раза к нему возвращался, и обтер своим платком его лицо, и поцеловал его в лоб.

Всему остальному приходилось верить на слова больного и в этом смысле докладываться начальству.

Батальонным командиром у Павла Фермора в это время был Ферре. К нему к первому явился Павел Фермор, рассказал, что и как происходило, и затем просил разъяснить ему: как теперь быть, — оставить ли это без движения, отнеся все слышанное на счет больного воображения Николая Фермора, или же верить передаче и исполнять в точности переданное приказание государя?

Ферре был того мнения, что хотя Николай Фермор и считается человеком больным и очень легко может галлюцинировать, но что в данном случае он, по всем видимостям, говорит правду, и потому переданные через него приказания государя надо исполнить.

Тогда Павел Федорович Фермор взял экипаж, посадил туда больного брата и повез его в «пустыню» к Сергию.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Брянчанинова П. Фермор застал на служении: он совершал литургию. Ему доложили о прибывших к нему от государя братьях Ферморах, когда он вернулся из церкви домой и собирался в трапезу.

Игнатий принял братьев в своих покоях, при чем находился и Чихачев, на племяннице которого был женат Павел Федорович. Они поговорили здесь вкратце потому, что надо было идти в трапезную к братии. За трапезою в монастыре разговоры невозможны, но после трапезы до звона к вечерне подробнее поговорили обо всем, что вспомнулось, затем офицеры должны были возвратиться в лагерь.

Свидание «утратившего доверие к людям» Николая Фермора с Брянчаниновым и Чихачевым нимало не возвратило ему его утраты, а только исполнило его сильной нервной усталости, от которой он зевал и беспрестанно засыпал, тогда как брату его, Павлу Федоровичу, одно за одним являлись новые хлопоты по исполнению забот государя о больном.

Едва они подъехали к лагерю, как Павлу Фермору сказали, что его давно уже ищут.

— Но я не мог быть в лагере, потому что возил брата к Сергию по приказанию государя и сказался о том своему батальонному командиру.

— Все равно, — отвечали ему, — вас ищут тоже по приказанию государя, а батальонный ничего не сказал. Идите скорее в вашу палатку — там вам есть важное письмо.

Оказалось, что в лагере был самолично великая медицинская знаменитость своего времени доктор Мандт.

Он приехал в лагерь по личному приказанию государя, чтобы видеть Николая Фермора, и остался очень недоволен, что не нашел больного. Зато он оставил записку, в которой писал, что «сегодня от был экстренно вытребован государем императором, которому благоугодно было передать на его попечение Николая Фермора, и ввиду этого он, д-р Мандт, просит Пв. Ф. Ф-ра, как только он возвратится в лагерь и в какое бы то ни было время, тотчас пожаловать к нему для личных объяснений».

Хотя время было уже поздновато, но Павел Фермор сейчас же отправился в город, на квартиру Мандта.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Мандт был дома. Он сидел на веранде и курил. Когда ему доложили о Ферморе, он его тотчас же принял и, дымя сигарою, сказал:

— Государь очень заинтересовался вашим братом. У него, как думает его величество, должно быть, есть склонность к меланхолии. Что вам известно о болезненном состоянии вашего брата?

Павел Федорович Фермор рассказал все, что ему было известно, но Мандт нашел это недостаточным: ему для уяснения себе дела и для доклада о нем государю нужно было иметь «историю болезни», написанную медиком, и притом все это надо было иметь в руках и завтра утром уже доложить государю.

По счастью, у Павла Фермора была история болезни, написанная врачом, пользовавшим его брата, но она была оставлена на городской квартире в Петербурге, а сообщения с Петергофом тогда были не нынешние.

Чтобы помочь делу, Мандт выдал Павлу Фермору билет на казенный пароход, отходивший в Петербург утром, и «история болезни» Николая Фермора поспела в руки Мандта вовремя. Он ее сразу прочел, все в ней понял и в тот же день доложил государю.

Государь был доволен, что приказания его исполняются так скоро и так точно: он благодарил Мандта и просил его принять к сердцу горестное состояние несчастного молодого человека.

— Его бред, — сказал государь, — исполнен такого искреннего благородства, что нечто подобное не худо бы иметь тем, которые пользуются цветущим здоровьем.

Мандт принял протянутую ему при этом руку государя и как бы из нее переданного ему больного Николая Фермора с его «утраченным доверием к людям».

Все семейство Ферморов было в восторге, все благословляли внимание государя и начали смотреть в будущее с новым упованием.

В обществе тоже говорили, что «теперь Мандт разорвется, а вылечит... Иначе, черт их возьми, — грош цена всей их науке».

Но сам Николай Фермор молчал и спокойно смотрел на все, что с ним делали. Все это как будто не имело для него никакого значения. Мандт, так и Мандт, — ему все равно, при чем содействии утеривать последнее доверие к людям. Он точно как изжил всю свою энергию и чувствительность в своем утреннем разговоре с государем, и что теперь за этим дальше следует — ему до этого уже не было никакого дела.

Чем, как и где будет пользоваться его Мандт, — это его и не интересовало. Он теперь смотрел на дело как человек, для которого все эти хлопоты не важны и результат их безразличен, потому что он сам знает самое верное средство, как избавиться от тяжести своего несчастного настроения.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Тем, что описано в выше сего помещенных строках, выразилось самое сильное и самое большое напряжение усердия знаменитого врача к исполнению поручения, лично переданного ему самим государем. Доктор Мандт сделал больному только один неудачный визит, когда он не нашел Фермора в палатке петергофского лагеря. На другой день, как сказано, Мандт прочел наскоро историю болезни и сделал государю доклад, не посетив больного. И с этой поры он сам не посещал Фермора ни разу, а присылал своего ассистента, врача, тоже составившего себе впоследствии большое имя, Н. Ф. Здекауера. Если же государь спрашивал: видит ли он Фермора, то Мандт отвечал, что «видит», и, чтобы это не было неправдою, он тотчас же вытребывал пациента к себе на квартиру.

Для больного, который находился в таком состоянии, как Николай Фермор, не тяжело было исполнить это требование, и он на каждый зов тотчас же шел в квартиру Мандта (по Мойке, неподалеку от Полицейского моста, в доме Беликова).

Таким образом прошел год и могло бы идти и дальше, но однажды раннею весной Николай Фермор во время прогулки опять попался на глаза императору Николаю Павловичу,

и от этого случая произошла перемена, которая дала делу новое направление.

Государь встретил Николая Фермора на углу Невского и Большой Морской, у самого английского магазина.

Проходивший Фермор, заметив приближение государя, взял руку к козырьку и остановился.

Государь взглянул на него и сейчас же узнал.

— Фермор?

— Точно так, ваше величество,

— Как теперь твое здоровье?

— Я не чувствую, ваше величество, ни малейшего облегчения.

На лице государя выразилось неудовольствие.

— Что же делает с тобой Мандт?

— Он иногда присылает ко мне Здекауера, а иногда требует меня к себе.

— Ну, а что же вы делаете, когда ты к нему приходишь?

— Сначала я долго ожидаю его в приемной, а потом, когда он выйдет, пустит мне в лицо дым от сигары и скажет, чтобы я пил bitter Wasser.²²

— И только?

— Только всего, ваше величество.

Лицо государя омрачилось, а Фермор воспользовался минутой этого разговора и напомнил государю о его дозволении обращаться к нему с просьбами.

— Ну, прекрасно, что же я могу тебе сделать?

— Прикажите меня лечить какому-нибудь доброму доктору из русских.

— Хорошо, — отвечал государь и, кивнув головой, удалился.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Государь опять не забыл своего обещания. Не успел Фермор возвратиться домой, как его уже ожидал «ездовой» из дворца, посланный Мандтом с требованием, чтобы больной немедленно прибыл к своему знаменитому доктору.

Николай Фермор, нимало не раздумывая, пошел.

Мандт на этот раз не держал его долго в приемной.

— Вы на меня нажаловались государю? — встретил он его строгим вопросом.

— Я не жаловался. Государь изволил спросить меня: чем вы меня лечите, а я отвечал, что ничем не лечите, кроме как велите пить bitter Wasser. Я всегда говорю правду.

— Да, да, вы все с правдой... Но вы просили государя поручить вас другому доктору?

— Да, мне казалось, что вам, при вашем положении, некогда мною заниматься, и я просил его величество дозволить мне пользоваться советом другого доктора.

— Государь удовлетворил вашу просьбу. По вашему желанию, вам назначен другой врач. Отправьтесь на Михайловскую площадь, в дом Жербина, там живет главный доктор учреждений императрицы Марии. Государь ему поручил вас, и я ему уже передал историю вашей болезни.

В семейных мемуарах, которыми я пользовался для составления настоящего очерка, не названо имени врача, сменившего в этой истории доктора Мандта. Способ его лечения, однако, тоже не отличался удачею, но зато приемы отличались от системы Мандта гораздо большею решительностью.

Новый врач не томил Фермора в своей приемной и не посылал к нему на дом помощника, а нашел нужным подвергнуть его болезненные явления более основательному и притом постоянному наблюдению, для чего самым удобным средством представлялось поместить пациента в больницу душевных больных «на седьмую версту».

²² горькую воду (нем.)

Родных Фермора эта мера поразила самым неприятным образом, так как, по их мнению и по мнению всех знакомых, не предстояло решительно никакой необходимости лишать несчастного Николая Фермора той свободы и тех семейных радостей, которыми он пользовался в домашней обстановке.

Но врач был непреклонен в своем мнении: он находил необходимым удалить пациента от его домашней обстановки и всю прежнюю безуспешность лечения приписывал тому, что больной ранее не был устроен из дома и не находился под постоянным надзором.

Возражать и спорить, однако, было невозможно: врач иначе не находил возможности приступать к лечению и в случае противодействия родных пациента обещал доложить о том государю.

Одни видели в этом необходимость, а другие подозревали в докторе желание — прежде всего обезопасить себя от повторения такой случайности, которая была причиной перехода Николая Фермора к нему от Мандта. И подозрение это имело основание. Пока Николай Фермор оставался в своем семействе и выходил свободно гулять по городу в своей военной форме, он опять мог как-нибудь встретиться с государем, и это могло дать повод к беспокойствам, между тем как с удалением его «на седьмую версту» возможность такой встречи устранялась и всем становилось гораздо спокойнее.

Мандт сам или не отваживался предложить эту меру, или она ему не приходила и в голову, но когда это было высказано его собратом русского происхождения, он ее поддержал, как меру вполне сообразную и самую полезную для основательного наблюдения за больным.

Государь убедился мнением знаменитых врачей, но и на этот раз не оставил Фарфора без своей опеки. Он велел поместить Николая Фермора на седьмую версту, но зато приказал его доктору «навещать больного как можно чаще и непременно раз в неделю лично докладывать о состоянии его здоровья».

Через такой оборот положение нового врача делалось несравненно более трудным, чем было положение Мандта.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Это, с одной стороны, успокоило родных больного, что Николай Федорович не будет на седьмой версте заброшен, как все прочие, которые имели несчастье туда попадать, а с другой стороны — создало находчивому доктору совершенно непредвиденное и очень тяжелое и неприятное положение, которого он не желал. Мудрец попался. Он должен был два-три раза в неделю ездить в больницу «Всех скорбящих», что ему было беспокойно и невыгодно, а потом раз в неделю являться к государю и давать утомительно однообразный отчет, так как с больным никаких перемен не происходило, а повторять все одно и то же через неделю перед государем было отнюдь не приятно.

Кроме того, это могло государя рассердить и иметь для карьеры врача дурные последствия.

«На седьмой версте» тоже не рады были такому гостю, как Николай Фермор, который блажил, но все понимал и, видя жестокие порядки, которые тогда были в сумасшедших домах, вступался за тех, кого считал обиженным.

Нет сомнения, что и в больнице «на седьмой версте», как и в других подобных учреждениях, люди допускали злоупотребление своею силой над больными.

Фермор же все это видел, и если бы государь вдруг пожелал его посетить (что, по характеру и обычаям императора, почитали за очень возможное), то неутомимый правдолюбец мог наделать больших хлопот; а их через него и так вышло уже немало.

Надо было от него совсем избавиться, и у медицинской политики не оказалось для этого недостатка в средствах.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Врач, наблюдавший за Николаем Фермором, хотя и претерпел на первых шагах неудачу, но оставался на высоте дипломатической линии; он доложил государю, что в Берлине открыта новая частная лечебница для душевных больных, которою заведует знаменитый психиатр, и что у него получаются удивительные результаты излечения.

— Так что же? — воскликнул государь, — послать туда, на мой счет, Фермора.

Это было как раз то, что было всего желательнее врачам, которым возня с Фермором чрезвычайно надоела.

— Только я приказываю, — добавил государь, — чтобы больной был послан как можно удобнее. За безопасность его мне отвечают.

К исполнению этого тотчас же были приняты самые энергические меры.

Лучшее сообщение с Берлином тогда представляли пароходы, отправлявшиеся из Петербурга в Штетин; с ними и ехали за границу. А из пароходов, совершавших эти рейсы, самым удобным и комфортабельным по тому времени почитался пароход «Александр». На нем ездила лучшая публика. По крайней мере все места в весенних рейсах «Александра» обыкновенно сберегались для особ знатных. На этом пароходе, в первый его весенний рейс, и назначено было отправить Николая Фермора с его провожатым.

Брат Николая Федоровича, Павел Фермор, о котором неоднократно приходилось упоминать в этой эпопее, не мог сопровождать больного в Штетин. Он нужен был по службе в петергофском лагере, а Николай Федорович был поручен смотрению своего товарища, по фамилии Степанова, которому вместе с больным были поручены и деньги на его расходы и подробная инструкция, как больного везти, оберегая его от всяких опасностей в пути. Он же должен был и устроить Николая Фермора в Берлине, согласно воле и приказанию императора.

Это препоручение Николая Фермора другому лицу, без сомнения, должно служить доказательством, что больной в это время уже был окончательно признан за сумасшедшего, а то, что его помещали все-таки на самом лучшем пароходе, которым пользовались по преимуществу особы знатные, указывает, как старались сберечь этого больного, пользовавшегося вниманием государя.

Лучше уже ничего нельзя было сделать для того, чтобы доложить государю, как тщательно и серьезно исполнена его воля.

Пароход шел с отменным обществом, в котором, между прочим, блистали своим присутствием: бывший новороссийский генерал-губернатор Воронцов со всем своим семейством, тайный советник Бек и много других особ того и другого пола, занимавших видное положение в тогдашнем высшем обществе и пользовавшихся в нем большим влиянием.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

День был самый погожий и жизнерадостный. Отъезжавший Николай Фермор находился в очень спокойном, философском настроении.

На стене его комнаты, в доме, за седьмою верстой, осталось начертание апофегмы Гиппократы: «Quod medicamenta non sanat, ferrum sanat; quod ferrum non sanat — ignis sanat; quod ignis non sanat, mors sanat» (то есть «что не излечивают лекарства, то излечивает железо; что не излечивает железо, то излечивает огонь; что не излечивает огонь, то излечивает смерть»).

Кому эта апофегма сильно понравилась и кто заботливою рукой воспроизвел ее на стене своего печального жилища, тот, вероятно, имел твердый взгляд на жизнь.

Фермор не радовался отъезду за границу и не скучал о том, с чем расставался на родине. Излечиться от своей меланхолии он был рад, но, по-видимому, отнюдь не верил в возможность излечения.

Эта предубежденность, по мнению врачей, и портила все дело. А у больного был

против этого свой довод: он находил, что нельзя же возвратить себе доверие к людям, если они этого доверия к себе не внушают.

Брат проводил больного до Кронштадта, где у них произошло последнее, трогательное прощание; но горечь разлуки для Павла Фермора была сильно облегчена общим участием пассажиров к его больному брату.

Как только эти уважаемые люди узнали на переезде до Кронштадта, что с ними едет тот Фермор, которому оказывает отеческое внимание государь, то все тотчас же наперерыв старались обнаружить к Николаю Фермору самую теплую, родственную заботливость. Зачем ему брат? — он в каждом здесь находил самого нежного родственника.

— Ведь все мы русские, все дети одного царя и братья по вере.

Тайный советник Бек привел даже по-церковнославянски от Писания об ангелах, которым заповедано сохранить и взять человека на руках своих. Да если бы молодой человек и не внушал ничего сам по себе, то одного того, что он лично известен государю и его величество имеет о нем попечение, было бы чересчур достаточно, чтобы все считали своим долгом сберечь его, позабыв сами себя.

Лучше, кажется, уже нельзя было отправить больного, как он отправлялся, и Павел Фермор в полном спокойствии возвратился к своему полку в петергофский лагерь, а на третий день после проводов брата поехал к своей тетке, которая тогда проводила лето на даче близ Сергия, и там скоро получил неожиданное известие, как отменно уберегли на пароходе его брата.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В то время, когда Павел Федорович Фермор сидел у тетки, к ней завернули проездом с бывшего в тот день в Красном Селе развода три уланские офицера, из которых один, Карл Пиллар фон Пильхау, начал с сожалением рассказывать, что развод не удался.

— Кто же в этом виноват? — спросила хозяйка.

— Никто не виноват, но государь приехал огорченный и оттого благодарил мало.

— Что же такое опечалило государя перед разводом?

Пиллар пожал плечами и сказал:

— Государю совсем не вовремя, перед самым его отъездом на развод, подали печальное известие.

— О чем?

— О неприятном происшествии с одним инженером, подпоручиком Фермором. Государь принимал в нем участие, и гибель его страшно его величество огорчила.

Хозяйка только в эту минуту заметила свою оплошность: она думала, что приехавшие кавалеристы знакомы с Павлом Федоровичем Фермором, и потому их не познакомила.

Теперь она поспешила это сделать, но не могла уже поправить этим ужасного впечатления, произведенного словами Пиллара на Павла Фермора.

Павел Федорович, однако, совладал с собою и сказал, что он в силах все выслушать и просит одной милости — сказать сейчас как можно скорее, в чем заключается печальное известие о его брате.

— Я должен скорее это знать, чтобы спешить, что можно поправить.

— Увы, — отвечал Пиллар, — дело кончено, и никакая поправка невозможна. Если вы тверды, как должен быть тверд в несчастье уважающий себя мужчина, то я вам скажу, что брат наш погиб невосвратно.

— Как, где и каким образом?

— Он бросился с корабля в море и утонул. Это случилось близ острова Борнгольма.

Тогда помянулась Гиппократова апофегма, начертанная на стене за седьмою верстой: «Quod medicamenta non sanat — mors sanat».

Утраченное доверие к людям уврачевала смерть...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Но краткое известие о том, что «Николай Фермор бросился в море и утонул», достаточное для начальства, не удовлетворяло родных и друзей погибшего. Им хотелось знать: как могло случиться это трагическое происшествие при той тщательной бережи и при той нежной предусмотрительности, с которыми больной был отправлен.

Об этом существовали две версии.

Г-н Степанов, принявший на свое попечение Николая Фермора, по возвращении из-за границы рассказывал происшествие Павлу Федоровичу Фермору следующим образом. Несчастье случилось вскоре после обеда. Погода была прекрасная, и все пассажиры после стола вышли на палубу, чтобы пить кофе. Из всей знати остались внизу только два-три человека, которые не пили послеобеденного кофе и предпочитали послеобеденный сон. Николай Фермор был в числе вышедших на палубу. Он был в спокойном расположении и за столом хорошо кушал.

На палубе пассажиры разместились с чашками кофе по группам, и все вели оживленные разговоры. Николай Фермор пил свой кофе, сидя в сообществе нескольких человек, и когда его чашка была уже им допита, он поставил ее на рубку, а сам встал с места и отошел к борту, и затем сию же минуту наступил ногою на перекладину и, перекинувшись через перила, бросился в воду на глазах всех пассажиров...

Всех обнял неописанный ужас, и поднялось страшное смятение, в котором ничего нельзя было разобрать.

Пока в этой суматохе отыскивали и вызвали наверх капитана, пока успели остановить пароход и спустить шлюпку, Николай Фермор вынырнул и стал грести руками, держась на волнах; но когда шлюпка стала к нему приближаться, он ослабел или не захотел быть спасенным и пошел ко дну.

Спасти его было уже невозможно, и пароход, при неопisanном ужасе пассажиров, продолжал дальше свое плавание к Штетину.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Другая версия, которую мне привелось слышать от контр-адмирала А. В. Фрейганга, человека замечательной искренности и справедливости, совсем не сходна с тою, которая приведена выше, и представляет дело в ином виде.

По второй версии, Николай Фермор погиб еще проще и незатейнее. Общество за столом действительно все было очень оживленно, и все были заняты вновь образовавшимися на пароходе знакомствами. Николай Фермор ничего не пил и был спокоен, но какого сорта было его спокойствие, это мог знать только он сам.

Когда обед был кончен, Фермор вышел из столовой раньше всех прочих, и после того его уже никто не видал. Налитая для него чашка кофе действительно осталась на рубке, но кофе в ней был цел, и потому нельзя с утвердительною сказать, кто ее там поставил, Фермор или разносивший кофе кельнер. Хватились же Фермора не сразу, а случайно, когда тайный советник Бек, посоветовавшись с Морфеем, вышел из каюты на палубу и, освежительно зевнув, спросил:

— А где же этот ваш... как его... что едет по приказанию государя?

Тогда стали оглядываться по всем сторонам и заметили, что Фермора нет. Но при этом сразу никто не предполагал, что он погиб в волнах, а думали, что он запропастился где-нибудь на пароходе, и потому суетились, бегали, искали его по всем местам, где можно и даже где нельзя человеку спрятаться... Но все поиски оказались тщетны, — и только тогда, когда были осмотрены все закоулки и все мышинные норочки, — тогда впервые у капитана явилось ужасное предположение, что Фермора нет на пароходе.

— Где же он делся? Вокруг вода и небо и ничего больше.

Кто-то, отличавшийся логическим настроением ума, все обнял мыслью и сказал:

— Если он не взят за правдолюбие живой на небо, то он, очевидно, утонул в бездне моря.

К стыду человечества, эта циническая шутка для многих облегчила тяжесть впечатления. Ужас был, но небольшой, и то он чувствовался более к ночи, когда дамам стало представляться, будто из волн «поднимается голова».

Чтобы избавиться от этого привидения, все поспешили скорее сойти в освещенные каюты, а на другое утро тайный советник уже советовал видеть во вчерашнем событии указание — «как наша молодежь относится к жизни и как она мало способна ценить милости».

Согласить эти две версии так, чтобы сделать из них какой-нибудь общий вывод, конечно, невозможно, но я не знаю, которой из них следует дать предпочтение перед другою в рассуждении справедливости. Летом 1887 года с парохода рижского общества, носящего то же самое имя, каким назывался пароход, с которого пропал Николай Фермор, одна молодая дама бросилась в море и утонула так, что этого никто не заметил. Известно и несколько других точно таких же случаев. Следовательно, нет ничего невозможного, что Николай Фермор, при большом оживлении пассажиров, занятых новыми интересными знакомствами, очень легко мог укрыть свое намерение и покончил со своею безотрадною жизнью так, как сообщает вторая версия этого рассказа.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В обители св. Сергия тоже знали эту вторую версию и едва ли не давали ей больше веры, чем первой. Брянчанинов и Чихачев были огорчены гибелью молодого человека, одного с ними воспитания и одних и тех же стремлений к водворению в жизни царства правды и бескорыстия. Монахи считали гибель Фермора тяжким преступлением для всех русских, бывших на пароходе. По их понятиям, эти господа могли меньше говорить о том, как им близок бедняк, о котором заботился их государь, но должны были больше поберечь его.

Но все было кончено. Иноки отслужили панихиду о погибшем мученике томительных стремлений к неосуществимой в то время служебной честности, и схимник Чихачев, опустив голову, пропел своею удивительною октавой «плачу и рыдаю».

Так отошли от жизни три страстно стремившиеся к праведности воспитанника русской инженерной школы. На службе, к которой все они трое готовились, не годился из них ни один. Двое первые, которые держались правила «отыди от зла и сотвори благо», ушли в монастырь, где один из них опочил в архиерейской митре, а другой — в схиме. Тот же третий, который желал перевестись со злом и побороть его в жизни, сам похоронил себя в бездне моря.

Впервые опубликовано — «Русская мысль», 1887.

ЛЕВША

(Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, сучая по своему хозяйству, все

государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть, — и чем-нибудь ответит.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, — Платов сказал себе:

— Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки,²³ дерябнул хороший стакан, на дорожный складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшее здание — подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромные бюстры, и посредине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит, — только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали.

Государь говорит:

— Это безрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю.

— Вот, — говорят, — какая у нас производительность, — и подают ружье.

²³ кизлярки (Прим. Лескова.).

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно,

— Ах, ах, ах, — говорит, — как это так... как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынул. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:

— Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? — думал Платов, — совсем того не понимаю», — и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

— Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане все государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар молво?

А англичане и не знают, что это такое молво. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

— Пожалуста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской

керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, славу богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот, — говорят, — изволите видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка. Работники говорят:

— Извольте пальчик посплюнуть и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это, — отвечают, — не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет, — отвечают, — не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик? А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же, — государь говорит, — я его не вижу?

— Потому, — отвечают, — что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте, — говорят, — взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кавриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами, — хотят серебряными пяточками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что говорит:

— Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр, — говорит, — всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

— Оставь, пожалуста, это не твое дело — не порть мне политики. У них свой обычай. — И спрашивает: — Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот

орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана перламутром и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же, — говорит, — принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота.²⁴ Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут — всё могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты, — говорит, — к духовной беседе неводержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое, — говорит, — теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны, — а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

²⁴ «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея Федотова-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». (Прим. Лескова.).

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую холод, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, — но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, — никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услышал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я, — говорит, — пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскиали: это, — говорит, — так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, — и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же микроскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это, — говорит, — ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке, — тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали, — не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не превозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, — говорят, — надо взяться подумавши и с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые принал за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать, — остановись и спыслай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не

говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть, — говорит, — будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, иначе, делать нечего, — я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортите, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу, — тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

— Тонкой работы, — говорят, — мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь государеву великолепию достойное представить.

А что именно, этого так-таки и не сказали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не позволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и трусили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служению и пойдет в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные

сборщики. На святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направляясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и претрашного» — святитель Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одет в сребропозлащенной одежде, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощью» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего неизвестно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не рассказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит, — не выскочут ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда, — и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за свое дело принялся.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно действует, и к подъезду возвратятся.

Так они и в Тулу прикатили, — тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак действовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать

хочет, а зубами так и скрипит — все ему еще нескоро показывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской пользы не пропадала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалились, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибать смее! Или в вас после этого бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем. А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Всё, — отвечают, — готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и фореитор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, — видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить? Оружейники отвечали:

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Всё здесь в вашем виду, — и предусматривайте.

Платов плечами вздвинул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же, — отвечают. — Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапы: ловил, ловил, — никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете, — мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны, — мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врите же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюсь, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга вроде пубеля, — ты мне за всех ответишь. А вы, — говорит свистовым, — теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони — все враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, рассказавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной каземат без срока посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

— А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

— Нимфозория, — говорит, — ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, — а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

— У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает, Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

— Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели, А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то, — говорит Платов, — что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите, в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

— Я тебе, — говорит, — такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого Царя Благая Мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят, — потому они его терпеть не могли за храбрость.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостью говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут. — И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, — словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде. А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает. — Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить, — пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы, — говорит, — вот как клали. И положил блоху под мелкоскоп. — Смотри, — говорит, — сам — ничего не видно.

Левша отвечает.

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь спросил:

— А как же надо?

— Надо, — говорит, — всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

— Помилуй, скажи, — говорит государь, — это уже очень сильно мелко!

— А что же делать, — отвечает левша, — если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы, — говорит, — был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидеть, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.

— Никак нет, — отвечает левша, — моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому, — говорит, — что я мельче этих подковаков работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, — там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление? А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит, — это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть, — говорит — над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ремненным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ехали курьер с левшой очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: «Ай люли — се тре жули».

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглички спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет, — англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне, — он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветой вышел.

— А самого этого мастера, — говорят, — мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе — за руки. «Камрад, — говорят, — камрад — хороший мастер, — разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает, — может быть, отравить с досады хотите.

— Нет, — говорит, — это не порядок и в Польше нет хозяина больше, — сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

— Он — левша и все левой рукой делает.

Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходились, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежившись, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем. Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это, — спрашивают, — за книга в России «Полусонник»?

— Это, — говорит, — книга, к тому относящаяся, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо полезнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом, — говорит, — спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставляйтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня, — говорит, — дома родители есть.

Англичане назвали, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

— Мы, — говорит, — к своей родине привержены и тятенька мой уже старичок, а

родительница — старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы, — говорят, — обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого, — ответил левша, — никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому, — отвечает, — что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое евангелие содержим.

— Евангелие, — отвечает левша, — действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому, — отвечает, — есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие, — говорит, — что у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают. — Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем, — говорит, — напрасно девушек морочить. — И отнекался. — Грандеву, — говорит, — это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

— А если, — говорят, — без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

— У нас, — говорит, — когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками хлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы, — говорят, — только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна сапажу — плисовая тальма.

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия, — отвечает левша, — нет, а только опасаясь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она из всего этого разбираться станет.

— Неужели же, — говорят, — ваш фасон лучше?
— Наш фасон, — отвечает, — в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.
Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:
— Для чего вы морщитесь?
Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.
Тогда ему по-русски вприкуску подали.
Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:
— На наш вкус этак вкуснее.
Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.
— А потом, — говорят, — мы его на своем корабле привезем и живого в Петербург доставим.
На это он согласился.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались, — и пошли они левшу водить и все ему показывать. Он смотрел все их производство: и металлические фабрики, и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает, — на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфрях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их жите и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет, — засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

— Это, — говорит, — против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли, — говорит, — я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как, — говорит, — они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы, — говорят, — парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все

языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр, — говорят, — смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море.

— Это все равно, — отвечает, — где умереть, — все единственно, воля божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напители, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить, водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет, — отвечает, — мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка делается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец, — говорит, — рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напились.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так, — отвечал полшкипер, — так давай держать с тобой аглицкое парей. Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится, — скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно — пари держать все-таки веселее будет.

— Хорошо, — говорит, — идет!

— Только чтоб честно.

— Да уж это, — говорит, — не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин.

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это черт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь, — говорит, — я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидели, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить и есть и свое пари выдержать, — а горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

— Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрели, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повел городской левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате лежал; потом поймал городской извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городскому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий подшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы, — говорит, — два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него, — говорит, — хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

— Как же, братец, — говорит, — очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил — теперь меня больше не уважают, — а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:

— Знай, — говорит, — свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:

— Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слышал, — тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется», — так и молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до государя, — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народною фантазиею миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравнивали неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими

приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душой».

Впервые опубликовано — впервые опубликовано — «Русь», 1881.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас любопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, от чего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина, или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то, часто здесь путешествующий, ответил на это, что будто и здесь разновременно жили какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?

— М... н...не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал, — откликнулся философ.

— Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? по крайней мере умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ремненным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах

не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкой.

— Это все ничего не значит, — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх по-гусарски закрученных седых усов. — Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

— А вот кто-с, — отвечал богатырь-черноризец, — есть в московской епархии в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, — так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить и поверили?

Пассажиры пристали к инок с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, — пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось; тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил действительно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души, — куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?», потому что думали, будто служба им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергей.

Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угольник отвечает:

«Я, раб божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостойнства?»

А святой Сергей отвечает:

«Милости хочу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попа, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть; простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергей, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оною течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скачут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте, — говорит, — их: теперь нет их молитвенника», — и проскакал мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и всё кивают владыке грустно и жалостно, и всё сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! — он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попом и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват, — говорит, — в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишиться, я всегда на святой проскомидии за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попа: «Ступай, — изволили сказать, — и к тому не согрешай, а за кого молился — молись», — и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковы людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же «должен»?

— А потому, что «толщитесь»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На Троицу, не то на Духов день, однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.
— Вы иеромонах или иеродиакон?
— Нет, я еще просто в рясофоре.
— Все же ведь уже это значит, вы инок?
— Н... да-с; вообще это так почитают.
— Почитать-то почитают, — отозвался на это купец, — но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли? — снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же; солдат, или вахтер, или помазок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

— Значит, кантонист? — сердясь, добивался купец.

— Опять же нет,

— Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я конэсер.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководства.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правою кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется, — она и усмиреет.

— Ну, а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбилась и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и выщелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал, — «бешеный усмиритель» он назывался, — так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С божиею помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались,

все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лошину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный пояс от святого храброго князя Всеволода-Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: «Чести моей никогда не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком в конце так не более яко в два фунта, а в другой — простой муравный горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри. Он испугался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк... Он ек да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снесь!» да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

— Издох однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

— Нет-с.

— Отчего же?

— Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?
— Хотел у меня секрет взять.
— А вы бы ему продали?
— Да, я бы продал.
— Так за чем же дело стало?
— Так... он сам меня, должно быть, испугался.
— Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?
— Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой ж секрет? — это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет, и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что...» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами закрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примера стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

— Поэтому вы к нему и не поступили?

— Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

— А вы что же почитаете своим призванием?

— А не знаю, право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

— А когда же вы в монастырь пошли?

— Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призвание к этому почувствовали?

— М... н... н... не знаю, как это объяснить... впрочем, надо полагать, что имел-с.

— Почему же вы это так... как будто не наверное говорите?

— Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

— А чьею же?

— По родительскому обещанию.

— И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

— Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.

— Будто так?

— Именно так-с.

— Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

— Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

— Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из

Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезда, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на ворки корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз в седьмом номере был, и старинною синею ассигнациею жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее молитвенный сын, значит, она, долго детей не имея, меня себе у бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни — отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с фореитором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе — всё дивятся и даже от стен шарахаются, а всё только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато, которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик фореитором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужась! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на фореиторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских фореиторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «ддди-ди-и-и-ттт-

ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придеешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это фореиторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыне дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям сажеными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я увидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стремях подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаясь, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стремях, впервые тогда заскрипел зубами да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами заматался... Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значит, а только трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

«Чего тебе от меня надо? пошел прочь!»

А он отвечает:

«Ты, — говорит, — меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет, — отвечаю. — Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, — говорю, — тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то, — говорит, — это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее моленый сын?»

«Как же, — говорю, — слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли, — говорит, — ты еще и то, что ты сын обещанный?»

«Как это так?»

«А так, — говорит, — что ты богу обещан».

«Кто же меня ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну так пускай же, — говорю, — она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я, — говорит, — не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так, — говорит, — потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, — говорит, — так я тебе дам знамение в удостоверение».

«Хочу, — отвечаю, — только какое же знамение?»

«А вот, — говорит, — тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая гибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно, — отвечаю, — согласен и ожидаю».

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графиней в Воронеж, — к новоявленным мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли, и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят».

Я отвечаю:

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

«Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористы: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою фореитор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чувствует, весь рот в крови от удиллов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся... Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю

опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил. Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне:

— Ну что, неужели ты, малый, жив?

Я отвечаю:

— Должно быть, жив.

— А помнишь ли, — говорит, — что с тобою было?

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямишей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается:

— Да и где же, — говорит, — тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели — расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз, как на салазках, и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну, а теперь, — говорит, — если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть.

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

— Вот, — говорит, — мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

— Проси у меня, Голован, что хочешь, — я все тебе сделаю.

Я говорю:

— Я не знаю, чего просить!

А он говорит:

— Ну, чего тебе хочется?

А я думал-думал да говорю:

— Гармонию.

Граф засмеялся и говорит:

— Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию, — говорит, — ему сейчас же купить.

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:

— На, — говорит, — играй.

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я, сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Не успел я, по сем облагодетельствованию своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне завести у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень

они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели... Маленькие такие эти голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубят, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого откуда ни возмись белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней — пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну, — думаю, — нет, зачем же, мол, это так делать?» — да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, — так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут... Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо, — думаю, — теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил, и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

— Ага, ага! вот это кто? вот это кто!

Я говорю:

— Что такое?

— Это ты, — говорит, — Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколотен?

Я говорю:

— Ну так что же такое за важность, что хвостик приколотен?

— А как же ты, — говорит, — это смел?

— А она, мол, как смела моих голубят есть?

— Ну, важное дело твои голубята!

— Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня.

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

— Что, — говорю, — за штука такая кошка.

А та стрекоза:

— Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама

графиня ласкала, — да с этим ручкою хватить меня по щеке, а я как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колесы, помолился за вся христиань, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталось скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется — белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

— Что это, — говорит, — ты, батрак, делаешь?

— А тебе, мол, что до меня за надобность?

— Или, — пристаёт, — тебе жить худо?

— Видно, — говорю, — не сахарно.

— Так чем своей рукой вешаться, пойдем, — говорит, — лучше с нами жить, авось иначе повиснешь.

— А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?

— Воры, — говорит, — мы и воры и мошенники.

— Да; вот видишь, — говорю, — а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?

— Случается, — говорит, — и это действуем.

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях, да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомерла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмеются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все: «А еще, — говорят, — спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

— Чтоб я, — говорит, — тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, зная в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шеи, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

— Вот тебе твоя доля.

Мне это обидно показалось.

— Как, — говорю, — я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?

— Потому, — отвечает, — что такая выросла.
— Это, — говорю, — глупости: почему же ты себе много берешь?
— А опять, — говорит, — потому, что я мастер, а ты еще ученик.
— Что, — говорю, — ученик, — ты это все врешь! — да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

— Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец.

А он отвечает:

— И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься.

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

— Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?

— Нет, — говорю, — у меня один целковый есть, а десяти рублей нету.

— Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть, серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?

— Да, — говорю, — это сережка,

— Серебряная?

— Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания серебряный.

— Ну, скидай, — говорит, — их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит.

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателю печать приложил и говорит:

— Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, — говорит, — и кому еще нужно — ко мне посылай.

«Ладно, — думаю, — хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и всё так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

— Скажи правду: ты ведь беглый?

Я говорю:

— Беглый.

— Вор, — говорит, — или душегубец, или просто бродяга?

Я отвечаю:

— На что вам это расспрашивать?

— А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен.

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

— Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты, — говорит, — верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру.

Я ужаснулся.

— Как, — говорю, — в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден.

— Нет, это пустяки, — говорит, — пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда; потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила

мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить.

— Помилуйте, — отвечаю, — тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?

— Пустяки, — говорит, — ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится.

— Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен.

— А я, — говорит, — на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дои и тем молочком мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, мол, с козой отчего дитя не воспитать, но только все бы, — говорю, — кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь.

— Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, — отвечает, — не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать, — и коза-то, и та к нам привыкла, бывало за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

— Я, — говорит, — тут чем причинен? снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит.

Я понес, а лекарь говорит:

— Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать.

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокошет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскрикались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттол как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, фореитором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего

еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, слышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну, — думаю, — опять это мне про монашество пошло!» и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река-рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу — дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

— Что надо?

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

— Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!

Я говорю:

— Ну так что же в этом такое?

— Отдай, — говорит, — мне ее.

— С чего же ты это, — говорю, — взяла, что я ее тебе отдам?

— Разве тебе, — плачет, — ее не жаль? видишь, как она ко мне жмется.

— Жаться, мол, она глупый ребенок — она тоже и ко мне жмется, а отдать я ее не отдам.

— Почему?

— Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

— Ну, хорошо, — говорит, — ну, не хочешь дитя мне отдать, так по крайней мере не сказывай, — говорит, — моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла.

— Это, мол, другое дело, — это я обещаю и исполню.

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила, и бежит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует, и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.

— Кури, — говорит, — пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить.

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана... злою мачехою и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?.., с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

— Ну что же, мол, делать; если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то

должна и пострадать.

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала все мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит:

— Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай, — говорит, — что я тебе скажу: нынче, — говорит, — он сам сюда к нам придет.

Я спрашиваю:

— Кто это такой?

Она отвечает:

— Ремонтер.

Я говорю:

— Ну так что ж мне за причина?

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть, ей ее дочку отдал.

— Ну, уж вот этого, — говорю, — никогда не будет.

— Отчего же, Иван? отчего же? — пристаёт. — Неужто тебя меня и ее не жаль, что мы в разлуке?

— Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне.

Она плакать, а я говорю:

— Ты лучше не плачь, потому что мне все равно.

Она говорит:

— Ты бессердечный, ты каменный.

А я отвечаю:

— Совсем, мол, я не каменный, а такой же, как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя и берегу его.

Она убеждает, что ведь, посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

— Опять-таки, — отвечаю, — это не мое дело.

— Неужто же, — вскрикивает она, — неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?

— А что же, — говорю, — если ты, презрев закон и религию...

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтер, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздражить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

— Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги, —

говорит, — раскинем, у него глаза разбежались; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка, — и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

— Вот, — говорит, — тут ровно тысяча рублей, — отдай нам дитя, а деньги бери и ступай, куда хочешь.

А я нарочно невежничая, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

— Нет, — говорю — это твое средство, ваше благородие, не подействует, — а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю:

— Тубо, — пиль, апорт, подними!

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцию, — что же мне с форменным офицером долго справляться; я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

— Вот тебе, — говорю, — и храбрость твою под ногой придавлю.

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее, да с кулачками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

— Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хват за другую и говорю:

— Ну, тяни его: на чью половину больше оторвется.

Он кричит:

— Подлец, подлец, изверг! — и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти... А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бежит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

— Держи их, Иван! Держи!

«Ну как же, — думаю себе, — так я тебе к стану их держать? Пускай любятся!» — да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

— Натте вам этого пострела! только уже теперь и меня, — говорю, — увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по незаконному паспорту.

Она говорит:

— Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить.

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы еду, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

— Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя. Я говорю:

— Почему же?

— А потому, — отвечает, — что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет.

— Нет, у меня был, — говорю, — паспорт, только фальшивый.

— Ну вот видишь, — отвечает, — а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с богом, куда хочешь.

А мне, признаюсь, ужась как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

— Ну, прощайте, — говорю, — покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что.

— Что, — спрашивает, — такое?

— А то, — отвечаю, — что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил.

Он рассмеялся и говорит:

— Ну что это, бог с тобой, ты добрый мужик.

— Нет-с, это, — отвечаю, — мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил.

— Это, — отвечает, — правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем вас и повелеваем вас почитать и уважать».

— Ну, позвольте же, — говорю, — я этого никак дальше снести не могу...

— А что же, — говорит, — теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь.

— Вынуть, — говорю, — нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить, — и взял обе щеки перед ним надул.

— Да за что же? — говорит, — за что же я тебя стану бить?

— Да так, — отвечаю, — для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил.

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает:

— Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?

А я говорю:

— Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, — говорю, — меня с обеих сторон ударить, — и опять щеки надул; а он вдруг, вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

— Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут.

— А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать?

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею... «Шабаш, — думаю, — пойду в полицию и объявлюсь, но только, — думаю, — опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки, одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посреди их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

— Нешто ты, — говорит, — его не знаешь: это хан Джангар.

— Что, мол еще за хан Джангар?

А тот и говорит:

— Хан Джангар, — говорит, — первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь.

— Разве, — говорю, — эта степь не под нами?

— Нет, она, — отвечает, — под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью выются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине, — говорит, — хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? просто статуй великолепный, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро согладает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся на вытяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости всё вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушами запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтора и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить, — сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! — думаю себе, — ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татарчище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталость сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты, — думаю, — милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел, — но где было о том думать, чтобы такого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтёрами невесть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг тут еще торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим, из-за Суры от Селиксы гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

— Моя кобылица.

А хан отвечает:

— Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают.

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

— Сто монетов больше всех даю!

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы

цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит;

— Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит.

А он отвечает:

— Это, — говорит, — дело зависит от очень большого хана-Джангарова понятия. Он, — говорит, — не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня, или двух, что конэсеры не знают что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку зная, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...

— Диво, — говорю, — какая лошадь!

— Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всередине косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он сказал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?

— А что, мол, такое: из-за чего нам биться?

— А из-за того, — отвечает, — что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спят, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет.

— Что же они, — спрашиваю, — очень, что ли, богаты?

— И богатые, — отвечает, — и озорные охотники; они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худищий, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев, — оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают.

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и всё хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и все трясутся да кричат; один кричит:

— Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов (значит пять лошадей), — а другой вопит:

— Врет твоя морда, я даю десять.

Бакшей Отучев кричит:

— Я даю пятнадцать голов.

А Чепкун Емгурчеев:

— Двадцать.

Бакшей:

— Двадцать пять.

А Чепкун:

— Тридцать.

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, и Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню», — и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормозят их, Чепкуна и Бакшея, в разные

стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

— Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?

— А вот видишь, — говорит, — этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили.

— Как же, — спрашиваю, — можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может.

— Отчего же, — отвечает, — азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят.

Я любопытствую:

— Что же, мол, такое это значит: «наперепор».

А тот мне отвечает:

— Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев оба будто стишали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

— Сгодá! — дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

— Сгодá: поладили!

И оба враз с себя и халаты долой и бешметы и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

— Сейчас, бачка, сейчас.

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнивал их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите, — говорит, — обе штуки ровные».

— Ровные, — кричат татарва, — все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают.

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «пождождите», и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшее, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать; в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми нагайками порются... Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже вытолбенели, и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдастся.

Я спрашиваю у моего знакомца:

— Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?

— Да, — отвечает, — тоже такой поединок, только это, — говорит, — не насчет чести, а чтобы не расхотеться.

— И что же, — говорю, — они эдак могут друг друга долго сечь?

— А сколько им, — говорит, — похочется и сколько силы станет.

А то всё хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», и кому хочется, об заклад держат

— те за Чепкуна, а те за Бакшея, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит:

— Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет.

А я говорю:

— Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят.

А тот мне отвечает:

— Сидят-то, — говорит, — они еще оба ровно, да не одна в них повадка.

— Что же, — говорю, — по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает.

— А вот то, — отвечает, — и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его запорет.

«Что это, — думаю, — такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же, — размышляю, — должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

— Скажи, — говорю, — милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасаясь?

А он говорит:

— Экой ты пригородник глупый! ты гляди, — говорит, — какая у Бакшея спина.

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

— А видишь, — говорит, — как он бьет?

Гляжу, и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

— Ну, а теперь сообрази, как он нутрём действует?

— Что же, мол, такое нутрём? — я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

— Ну, а теперь сообрази, как он нутрём весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет.

— Что же, — спрашиваю, — стало быть, Чепкун надежней?

— Непременно, — отвечает, — надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрохвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плоть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея запорет. Понимаешь ты это теперь?

— Теперь, — говорю, — понимаю, — и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

— А еще самое главное, — указывает мой знакомец, — замечай, — говорит, — как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет, — это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет.

Я все эти его любопытные примеры на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли... И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунву руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тут мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

— Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересек Бакшея, садись — теперь твоя кобыла.

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

— Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот, — думаю, — все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет», — а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знаковый человек говорит мне:

— Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет.

Я говорю:

— Чему же еще быть? все кончено.

— Нет, — говорит, — не кончено, ты смотри, — говорит, — как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское.

Ну, а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Башкея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит, — по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны, — настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой неся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как он ваш стал? — перебили рассказчика удивленные слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородинка какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, говорит, по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татаринком сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упрямился, говорю:

«Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татаринком... что же... секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, но пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль.

— Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на óпух бить, чтобы кровь не спускать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну, и так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

— Как заporоли, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало, — отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него, если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите, — продолжал он, — это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов? — перебили рассказчика.

— А вот наверно этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восьмьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, и я сбился на минуту и уже так, без счета пушал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый... Тьфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как, — говорят, — ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

«Он, — говорят, — тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя, — говорят, — по христианству надо судить. Пойдем, — говорят, — в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князья: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжалились, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

— То есть позвольте... как же они вас скрыли?

— Совсем я с ними бежал в их степи.

— В степи даже!

— Да-с, в самые Рынь-пески.

— И долго там провели?

— Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

— Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

— Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

— Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель: мы, говорят, тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь, — коней нам лечи и бабам помогай».

— И вы лечили?

— Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

— Да вы разве умеете лечить?

— Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру дам или калганного корня, и пройдет, а сабуру у них много было, — в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

— И обжились вы с ними?

— Нет-с, постоянно назад стремился.

— И неужто никак нельзя было уйти от них?

— Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

— А у вас что же с ногами случилось?

— Подщетилен я был после первого раза.

— Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были подщетилены?

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

— Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши, — всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, говорят, здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно, больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

«Что же это, — говорю, — вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же, — говорю, — это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты, — говорят, — присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячкою на косточках ходи».

«Тьфу вы, подлецы!» — думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорячкою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал, — скука смертная одолела, и стал прионоравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

— Экое несчастье, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да, невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?.. Так и упал, а они отыскиали меня и взяли и подщетинили...

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщети́нивания, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо, — отвечал Иван Северьяныч, — да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь, — говорят, — тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принести, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, — говорят, — брат, себе теперь Наташу, — мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне:

«Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да, — отвечал он, — эта вышла поутешнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разное... Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать — шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же, — запытал опять один из слушателей, — как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и ших-з#225;ды, и мало-з#225;ды, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал... «Эх, говорит, Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я, говорит, было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы, — отвечаю ему, — ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья — говорю, — слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так, — говорит, — и видел, что из них, — говорит, — настоящих охотников нет, а всё только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с,

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленой, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетиныт, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетенный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Как Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что, — говорят, — тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить, — Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что, — говорю, — мне их больше? мне больше не надо».

«Нет, — говорят, — ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тяткой кричать будут».

«Ну, — говорю, — легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?... Да, то есть вы про это? ничего, одна что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парюю принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их всё так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек — так Иван, а женщина — Наташа, а мальчиков они Кольками кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещенные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

— Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спят, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую — все одинаково... Змеиный вид, жестокий; простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже чем от ковыля делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизее или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно блыщание... Там где-нибудь огонь пáлом по траве пойдет, — суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чирикание... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник... И когда на восходе солнца туман росой садится, будто прохладой пахнёт, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенести можно, но на солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи и, гладишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый,

только чуть траву укроет и залубенит — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохлятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются, — это и называется тюбенькуют... Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно по крайней мере запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то эту гадость глосешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дяки, попадьи и дячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, говорит, мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нет, мол, батюшка, у нас газетной бумаги», — он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг нагнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастья отлучен и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети, и никто бы тебя из поганных не видал, и начнешь молиться... и молишься.... так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы свой монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полной откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидеть свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуя бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит,

бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и плененных», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости, сказать, хоша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же, — думаю, — молить, когда ничего от того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу; татарва что-то сумятятся. Я говорю:

— Что такое?

— Ничего, — говорят, — из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять.

Я бросился, говорю:

— Где они?

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собралось много ших-задов и мало-задов, и мамов и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

— А что? а что! видите! видите? как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета.

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

— Нет, — я говорю, — я, точно, русский! Отцы, — говорю, — духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу.

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: все проповедуют.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтись», — и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особливой ставке, и кинулся к ним и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

— Попугайте, — говорю, — их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я, — говорю, — здесь живу, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть.

А они отвечают:

— Что, — говорят, — сыне: выкупу у нас нет, а пугать, — говорят, — нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непереданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем.

— Так что же, — говорю, — стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?

— А что же, — говорят, — все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у бога много милости, может быть, он тебя и избавит.

— Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил.

— А ты, — говорят, — не отчаивайся, потому что это большой грех!

— Да я, — говорю, — не отчаиваюсь, а только... как же вы это так... мне это очень обидно, что вы русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите.

— Нет, — отвечают, — ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны.

— Все? — говорю.

— Да, — отвечают, — все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся... это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу, — говорят, — рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать.

И показывают мне книжку.

— Вот ведь, — говорят, — видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано, — это всё мы столько людей к нашей вере присоединили!

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

— У нас на озере, тятка, человек лежит.

Я пошел посмотреть; вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: обчертит да дернет, так шкуру и снимет, — а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

— Эх, — думаю, — не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь ради Христа!

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли, и закопал, и «Святой боже» над ним пропел, — а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только все без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им бога смиренного проповедывают. Это попервоначалу никак не годится, потому что азиат смиренного бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

— А главное, надо полагать, идучи к азиятам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут, и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые... очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Иовоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Иовоз бен Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя, все мои жидки могут умирать. Не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел-ну ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготовлял себе агнца, который был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем... Азиятам это очень понравилось про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к нам, свои деньги закопал? Жидовин, батюшки, как клялся, что денег у него нет, что его бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где

деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:

«Стой, — говорят, — давай мы его по горло в песок закопаем: может быть, ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети ее стали пугаться, так срубили ее и в сухой колодец кинули.

— Вот тебе и проповедуй им!

— Да-с; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

— Были?!

— Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки и всего по кусочкам из песку повытаскали и, наконец, добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну, а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасен.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой этот Талафа: тоже татарин?

— Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индеец, а ихний бог, на землю сходящий.

Упрощенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— После того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригнали к нам два человека, ежели только можно их за человека считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка; а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: всё ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и останется в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось? — лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подущают. Слышу я, этот рыжий, — говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «нат-шальник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может в степи зимою с своим огнем, — ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужась как

интересно, и все мы хотя немножко этой ужаси боимся, а рады посмотреть: что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки рано и ждем... Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как выюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю:

«Цыть! заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали».

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел... зашипело и опять лопнуло...

«Ну, — думаю, — однако, видно, Талафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер, — как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все желтое делается и потом синее станет.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слышать этого, разумеется, никому нельзя такой пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуместь, кони шарахаются и всё в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробежали, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем... Кони как зынули на то, да и понеслись... Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят: «Алла! Алла!» — да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память... Вот тут как все наши батыры угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгло, и вверх полетела, а там... бббаххх, звездами рассыпало... «Эге, — думаю себе, — да это, должно, не бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали», — да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились и ничком лежат кто где упал, да только ногами дрыгают... Я было попервоначалу и сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

«Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адью-мусью!»

Да еще трубку с вертуном выпустил... Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли... Огонь погас, а они всё лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордою вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

«Ну, что? признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота?», потому что вижу, что они уже страх меня бояться.

«Прости, — говорят, — Иван, не дай смерти, а дай живота».

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и всё прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

«Мать Пресвятая Владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!»

А сам татар строго спрашиваю:

«В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?»

«Прости, — говорят, — что мы в твоего бога не верили».

«Ага, — думаю, — вон оно как я их пугнул», — да говорю: «Ну уж нет, братцы, врите, этого я вам за противность религии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою... Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

«Что же: еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего бога верить».

«Не губи, — отвечают, — мы все под вашего бога согласны подойти».

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время и окрестили?

— В эту же самую минуточку-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел «во имя Отца и Сына», и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого мисанера, чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

— Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнул, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще остротки самый большой фейверк пустил и ушел...

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретишь. Мне на четвертый день чувашин показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так... он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно, А он, бестолковый, кричит:

«Садись, — кричит, — веселей, двое будем ехать».

Я говорю:

«А кто ты: может быть, у тебя бога нет?»

«Как, — говорит, — нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок».

«Кто ж, — говорю, — твой бог?»

«А у меня, — говорит, — всё бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок... все бок. Как у меня нет бок?»

«Все!.. гм... все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос, — говорю, — стало быть, тебе не бог?»

«Нет, — говорит, — и он бок, и богородица бок, и Николач бок...»

«Какой, — говорю, — Николач?»

«А что один на зиму, один на лето живет».

Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает.

«Всегда, — говорю, — его почитай, потому что он русский», — и уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался.

«Как же, — говорит, — я Николача почитаю: я ему на зиму пушай хоть не кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да еще на него одного не надеюсь, так Керемети бычка жертвую».

Я и рассердился.

«Как же, — говорю, — ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого бычка! Пошел прочь, — говорю, — не хочу я с тобою... я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь».

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опомниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят... Должно быть, думаю, христиане. Подполоз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют, — ну, значит, русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

«Пей водку!»

Я отвечаю:

«Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык».

«Ну, ничего, — говорят, — здесь своя нация, опять привыкнешь: пей!»

Я налил себе стаканчик и думаю:

«Ну-ка, господи благослови, за свое возвращение!» — и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

«Пей еще! — говорят, — ишь ты без нее как зачичкался».

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный: все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что я опять на святой Руси, но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

«А паспорт же у тебя есть?»

Я говорю:

«Нет, нема».

«А если, — говорит, — нема, так тебе здесь будет тюрьма».

«Ну так я, — говорю, — я от вас не пойду; а у вас небось тут можно жить и без паспорта?»

А он отвечает:

«Жить, — говорит, — у нас без паспорта можно, но помирать нельзя».

Я говорю:

«Это отчего?»

«А как же, — говорит, — тебя поп запишет, если ты без паспорта?»

«Так как же, мол, мне на такой случай быть?»

«В воду, — говорит, — тебя тогда бросим на рыбное пропитание».

«Без попа?»

«Без попа».

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется.

«Я, — говорит, — над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем».

Но я уже очень огорчился и говорю:

«Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надомною часто шутить, так я и до другой весны не доживу».

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия...

Я говорю:

«Как же так, батюшка, я было... столько лет не причащамшись... ждал...»

«Ну, мало ли, — говорит, — что; ты ждал, а зачем ты, — говорит, — татарок при себе вместо жен держал... Ты знаешь ли, — говорит, — что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взяться как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты, — говорит, — этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется».

«Ну что же, — думаю, — делать: останусь хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена», — но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я, — говорят, — не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть».

И приказал управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерений у меня никаких определительных не было, но на мою долю бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с.

— Как! магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой ее влияние?

— Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла ваша собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

— Отчего же-с; с большим моим удовольствием.

— Так, пожалуйста.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Взявши я паспорт, пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь прее, потому что ее яблочный дух

обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина и угощенья и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло; и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно что божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал:

«Открой, — говорит, — братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит».

А я отвечаю:

«Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование».

Ну, а он пристаёт:

«Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь, — вот тебе сто рублей».

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен, и говорит; «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай».

«Первое самое дело, — говорю, — если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за челку, за храпок, за обрез и за грудной сокол или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник как этакую военную латоху увидал, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь вислоух — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, уши развиснут. Если уши велики, — их обрезают, — а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой, — барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить: пемзою шерсть вытирают, или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким

манером ращенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколёт кожуцу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надуёт так, что кожа подымется и глаз освежеет, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от теплого дыхания, и она стоит не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик, и он будто гладит, а сам кольнет». И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: назавтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит:

«Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать».

Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

«У этой плечи мясисты, — будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладет и много что чрез годок себе килу намнет; а эта когда овес ест, передней ногою топает и колено об ясли бьет», — и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, и если, бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтирскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проигрался где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идет в архалучке ко мне в конюшню и говорит:

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?» — он все этак шутил, звал меня почти полупочтенный, но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечаю, бывало:

«Ничего, мол: мои дела, слава богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?»

«Мои, — говорит, — так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо».

«Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднешнему?»

«Вы, — отвечает, — изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся».

«А на сколько, — спрашиваю, — вашу милость облегчило?»

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я покачаю головою да говорю:

«Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому».

Он рассмеется и говорит:

«То и есть, что некому».

«А вот ложитесь, мол, на мою кровать, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постегаяю».

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

«Нет, ты, — говорит, — лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на

реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю».

«Ну уж это, — отвечаю, — покорно вас благодарю, нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь».

«Как, благодаришь! — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться: — Ну, пожалуйста, — говорит, — не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги».

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

— Никогда, — отвечал он. — Я его, бывало, либо обману: скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйста мой паспорт».

«Хорошо-с, — говорит, — извольте собираться: завтра получите ваш паспорт».

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случилось, так он тоже как брат ко мне снисходил.

— А с вами что же случилось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит выходы?

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпускаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по ним и запьешь. Особенно если отдалешь от себя такого коня,

который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

— Это значит — запьете?

— Да-с; выйду и запью.

— И надолго?

— М... н... н... это не равно-с, какой выход задастся: иногда пьешь, пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покорооче удастся, в части посидишь или в канаве выспишься, и доволен, и отойдет. В таковых случаях я уже наблюдал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду».

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

«Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждет меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспоминать страшно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно

от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

— У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золотогнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздри сублильные и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет... Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакое животное задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась... В эту пору у нас разом шли две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотничий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю; «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это

устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попускаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целию прятать и всё по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить... Думаю: «Что делать? видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю... Измучился просто я их прятавши, и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул за себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, посплюнивши, кулак в морду и сунул:

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь», — а сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить... А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру... Тут его, в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить

и стоит да говорит:

— Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек, а что я всего лишился, так на это была особая божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет.

Те ему не верят и смеются, а он рассказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне, — говорит, — я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки! — я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил, и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробой жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это почувствовал и руку мне подает.

— Верно, — говорит, — ты происхождения из господских людей?

— Да, — говорю, — из господских.

— Сейчас, — говорит, — и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси, — говорит, — тебе за это.

Я говорю:

— Ничего, иди с богом.

— Нет, — отвечает, — я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду.

— Ну, мол, пожалуй, садись.

Он возле меня и сел и начал рассказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

— Что это... ты чай пьешь?

— Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей,

— Спасибо, — отвечает, — только я чаю пить не могу.

— Отчего?

— А оттого, — говорит, — что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!.. — И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды рассказывает, а все-то куражится и невесть что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет и все о суете.

— Подумай, — говорит, — ты, какой я человек? Я, — говорит, — самим богом в один год с императором создан и ему ровесник.

— Ну так что же, мол, такое?

— А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я, — говорит, — нисколько не взыскан и вышел ничтожеством, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем. — И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмеются, и в конце говорит:

— Они, — говорит, — необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное; но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу.

— Зачем же, — рассуждаю, — этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось.

— Бросить? — отвечает. — А-га, нет, братец, мне этого бросить невозможно.

— Почему же, — говорю, — нельзя?

— А нельзя, — отвечает, — по двум причинам: во-первых, потому, что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют.

— Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли эту вредную пакость бросить, этому я верить не хочу.

— Да, вот ты, — отвечает, — не хочешь этому верить... Так и все говорят... А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет: рад ли он этому будет или нет?

— Спаси, мол, господи! Нет, я думаю, не обрадуется.

— А-га! — говорит. — Вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня по крайней мере за это, и вели мне еще графин водки подать!

Я постучал еще графинчик, и сажу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он продолжает таковые слова:

— Оно, — говорит, — это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я, — говорит, — хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми разлучал; жену за себя богатую взял и со света ее сжил, и, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть.

— И что же, — спрашиваю, — теперь ты уже на этот характер не ропщешь?

— Не ропщу, — отвечает, — потому что оно хотя хуже, но зато лучше.

— Как это, мол, так: я что-то не понимаю, как это: хуже, но лучше?

— А так, — отвечает, — что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, — говорит, — теперь все равно что Иов на гноище, и в этом, — говорит, — все мое счастье и спасение, — и сам опять водку допил, и еще графин спрашивает, и молвит:

— А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял.

— Ну, где же, — говорю, — возможно такого человека найти! Никто на это не согласится.

— Отчего так? — отвечает, — да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек.

Я говорю:

— Ты шутишь?

Но он вдруг вскакивает и говорит:

— Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай.

— Ну как, — говорю, — я могу это испытывать?

— А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование: я вот, видишь, — я сейчас пьян... Так или нет: пьян я?

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь ослоловевши и на ногах покачивается, и говорю:

— Да разумеется, что ты пьян.

А он отвечает:

— Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а

этот пьяный баринок уже опять мне командует:

— А ну-ка погляди теперь на меня?

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбаясь.

Я говорю:

— Что же это значит: какой это секрет?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — не секрет, а это называется магнетизм.

— Не понимаю, мол, что это такое?

— Такая воля, — говорит, — особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, — говорит, — это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести.

— Так сведи, — говорю, — сделай милость, с меня!

— А ты, — говорит, — разве пьешь?

— Пью, — говорю, — и временем даже очень усердно пью.

— Ну так не робей же, — говорит, — это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю: все с тебя сниму.

— Ах, сделай милость, прошу,ними!

— Изволь, — говорит, — любезный, изволь: я тебе это за твое угощение сделаю; сниму и на себя возьму, — и с этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

— На что тебе две рюмки?

— Одна, — говорит, — для меня, другая — для тебя!

— Я, мол, пить не стану.

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

— Тссс! сиянс! молчать! Ты теперь кто? — больной.

— Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной.

— А я, — говорит, — лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство, — и с этим налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать.

Помахал, помахал и приказывает:

— Пей!

Я было усумнился, но как, по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось и он приказывает: «Дай, — думаю, — ни для чего иного, а для любопытства выпью!» — и выпил.

— Хороша ли, — спрашивает, — вкусна ли или горька?

— Не знаю, мол, как тебе сказать.

— А это значит, — говорит, — что ты мало принял, — и налил вторую рюмку и давай опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: «Эта какова?»

Я пошутил, говорю:

— Эта что-то тяжела показалась.

Он кивнул головой, и сейчас намахал третью, и опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю:

— Эта легче, — и затем уже сам в графин стучу, и его потчую, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит:

— Шу, сиянс... атанде, — и прежде над нею руками помашет, а потом и говорит:

— Теперь готово, можешь принимать, как сказано.

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги, и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследствии всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

— Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь и зато вон какой лонтрыгой ходишь.

А он говорит:

— Шу, сиянс! любовь — наша святыня!

— Пустяки, мол.

— Мужик, — говорит, — ты и подлец, если ты смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть.

— Да, пустяки, мол, оно и есть.

— Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое «краса природы совершенство»?

— Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю. А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

— Разве лошадь, — говорит, — краса природы совершенство?

Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек шесть и сами просят... «пожалуйста вон», а сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какую силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминеях нет.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник? Оказалось, что он при мне. «Теперь, — думаю, — вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но претеплейшие и премягкие: по небу звезды как лампы навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает... А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять сядя, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? вместе нас вон выставили, а куда же он так спешно делся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову так:

— Слышишь, ты? — говорю, — магнетизер, где ты?

А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

— Я вот он.

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка, — говорю, — еще поближе. — И как он подошел, я его взял за плечи, и начинаю рассматривать, и никак не могу узнать, кто он такой? как только его коснулся,

вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я в том ничего не понимаю.

— Что ты такое, — говорю, — лопочешь?

А он опять по-французски:

— Ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе.

— Да перестань, — говорю, — дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл.

Отвечает:

— Ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе: я магнетизер.

— Тьфу, мол, ты пострел этакой! — и на минутку будто вспомню, что это он, но стану в него всматриваться, и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь об этом — позабуду, кто он такой...

«Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался?» — и опять его спрашиваю:

— Кто ты такой?

Он опять говорит:

— Магнетизер.

— Провались же, — говорю, — ты от меня: может быть, ты черт?

— Не совсем, — говорит, — так, а около того.

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

— За что же ты меня ударил? я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

— Да кто же ты, мол, такой?

Он говорит:

— Я твой до вечный друг.

— Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?

— Нет, — говорит, — я тебе такое пти-ком-пё представлю, что ты себя иным человеком ощутишь.

— Ну, перестань, — говорю, — пожалуйста, врать.

— Истинно, — говорит, — истинно: такое пти-ком-пё...

— Да не болтай ты, — говорю, — черт, со мною по-французски: я не понимаю, что то за пти-ком-пё!

— Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам.

— Ну, вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?

— А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу природы совершенство.

— Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?

— А вот пойдем, — говорит, — сейчас увидишь.

— Хорошо, мол, пойдем.

И пошли. Идем оба, шатаемся, но всё идем, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

— Стой! говори мне, кто ты? иначе я не пойду.

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню, и спрашиваю:

— Отчего же это я позабываю, кто ты такой?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — и есть действие от моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пушу.

И вдруг повернул меня к себе спиной и ну у меня в затылке, в волосах пальцами перебирать... Так чудно: копается там, точно хочет мне взлезть в голову.

Я говорю:

— Послушай ты... кто ты такой! что ты там роешься?

— погоди, — отвечает, — стой: я в тебя свою силу магнетизм перепущаю.

— Хорошо, — говорю, — что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь? Он отпирается.

— Ну так постой, мол, я деньги попробую. Попробовал — деньги целы.

— Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор, — а кто он такой — опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот, — думаю, — штуку он со мной сделал!» — а где же теперь, — спрашиваю, — мое зрение?

— А твоего, — говорит, — теперь уже нет.

— Что, мол, это за вздор, что нет?

— Так, — отвечает, — своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету.

— Вот, мол, еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь.

Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня из-за всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястеный баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиной к какому-то дому, а в нем окна открыты и в середине светло, и оттуда те разные голоса, и шум, и гитара поет, а передо мною опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает, и за персты рук схватит, встряхнет полегонечку, и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту.

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпся.

А он мне на это отвечает:

— погоди, — говорит, — еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести.

Я говорю:

— Чего, мол, такого я не могу перенести?

— А того, — говорит, — что в воздушных сферах теперь происходит.

— Что же я, мол, ничего особенного не слышу?

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

— Ты, — говорит, — чтобы слышать, подражай примерно гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою.

«Нет, — думаю, — да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, сам продолжает в том же намерении уговаривать.

— Так, — говорит, — купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовныя.

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит:

— Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись, — говорит, — и подкрепись!

И с этим принагнулся, и все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал, и, наконец, что-то оттуда достает. Гляжу, это вот такохонький махонький-махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

— Раскрой рот.

Я говорю:

«Зачем?» — а сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит:

— Соси, — говорит, — смелее; это магнитный сахар-ментор: он тебя подкрепит.

Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда впопыхах в эту минуту или так куда провалился, лихо его ведает, но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю: чего же мне его ждать? мне теперь надо домой идти. Но опять дело: не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение... Теперь ночь, — все спят, а зачем тут свет?.. Ну, а лучше, мол, попробовать... зайду посмотрю, что здесь такое: если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только обольщение глаз, а не живые люди... так что же опасного? я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: дом стоит, не шатается, и вижу: двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этикие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь, и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня... томная-претомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед:

— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам от него польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим.

И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

— Милости просим, господин купец, пожалуйста наших песен послушать! Голоса есть хорошие.

И с этим дверь перед мною тихо навстезь распахнул... Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди... очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер... Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно всё умерло... Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает? «Ух, — думаю, — да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, — только одних

белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации; а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:

— Грушка! — и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничками... ей-богу, вот такие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велит ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет: заходит ко мне на задний ряд, кланяется и говорит;

— Выкушай, гость дорогой, про моё здоровье!

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидел, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощение, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожей, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет... «Вот она, — думаю, — где настоящая-то красота, что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это совсем не то, что в лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

— Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого мужика угощать? нам это обидно. А он отвечает:

— У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают.

А я, это слышучи, думаю:

«Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богаче, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а теперь себя не постыжусь и сей невиданной красы скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперед, и сажают в самый передний ряд рядом с исправником и с другим и господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят, и не пускают, и зовут:

— Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!

И та выходит и... враг ее знает, что она умела глазами делать: взглянула, как сразу какую в очи пустила, а сама говорит:

— Не обидь: погости у нас на этом месте.

— Ну уж тебя ли, — говорю, — кому обидеть можно, — и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.

И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанею пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет, и за это я ей на

поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул... Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но с#243лу не делает, и мне ее голоса не слышать, а только роток с белыми зубками видно... «Эх ты, — думаю, — доля моя сиротская: на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу!» Но на мое счастье не одному мне хотелось ее послушать, и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

— Груша! Груша! «Челнок», Груша! «Челнок»!

Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете, их пение обыкновенно достигающее и за сердца трогает, а я как услышал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато, мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда зеленая недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:

Джа-л#225;-ла. Джа-ла-ла.
Джа-л#225;-ла прингал#225;!
Джа-ла-ла принга-ла.
Гай да чепурингаля!
Гей гоп-гай, та-гара!
Гей гоп-гай-та гара!

и потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя... На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя, и уже не считаю, сколько их выпустил, а даю да и конечно, и зато другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И много-с она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счету лебедей, а в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и, точно с намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как заорут:

Ты восчувствуй, мил#225;я,
Как люблю тебя, драгая!

и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватают: «Ходи, изба, ходи, печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе выются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается... Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и

сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтёр, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, красавица!» — и она... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актеры в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерихонится, а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит... Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:

«Ничего не жалею: танцуй!»—деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще заваялось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает... Она ступит, а меня черт в жилу щелк; она опять ступит, а он меня опять щелк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя все мучить! Пушу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед Грушею вприсядку... А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилась, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалуете, меня тем не удивите: а вот что я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того... даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром; да только старый цыган, спасибо, это заметил, да как на нее топнет... Она и поняла и пошла за мной... Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горынице, ажно гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя... Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и небо сделала? а сам на нее с дерзостью кричу: «ходи шибче», да все под ноги ей лебедей, да раз руку за пазуху пуцаю, чтобы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десятка остался... «Тьфу ты, — думаю, — черт же вас всех побирай!»—скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул:

— Сторонись, душа, а то оболью! — да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Ну, и что же далее? — спросили Ивана Северьяныча.

— Далее действительно все так воспоследовало, как он обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизер, который это на меня навел: он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я и сам не знаю, как-то очень просто: как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже края нет... Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лазию во все стороны и все не найду края, и, наконец, думаю: ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну, и размахнулся да как сигану как можно

дальше, и чувствую, что меня будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг; а наместо того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все...

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег, да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать... и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот... магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил... Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «как бы хуже не было, если питье бросить», — и пошел его искать — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замагнетизированы?

— Так и остался-с.

— И долго же на вас этот магнетизм действовал?

— Отчего же долго ли? он, может быть, и посейчас действует.

— А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то?.. Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?

— Нет-с, объяснение было, только не важное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванж у меня стал просить. Я говорю:

«Ну уже это оставьте: у меня ничего денег нет».

Он думает, шутка, а я говорю:

«Нет, исправди, у меня без вас большой выход был».

Он спрашивает:

«Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?..»

Я говорю:

«Я их сразу цыганке бросил...»

Он не верит.

Я говорю:

«Ну, не верьте; а я вам правду говорю».

Он было озлился и говорит:

«Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять, — а потом, это вдруг отменив, говорит: — Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный».

И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была и хотел будто бы я вешаться, только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:

«Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить».

Он отвечает:

«Пошел к черту».

Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагибаюсь.

«Что, — говорит, — это значит?»

«Да оттрепите же, — прошу, — меня по крайней мере как следует!»

А он отвечает:

«А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю».

«Помилуйте, — говорю, — как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало».

А он отвечает:

«А что, братец, делать, когда ты артист».

«Как, — говорю, — это так?»

«Так, — отвечает, — так, любезнейший Иван Северьяныч, вы, мой полупочтеннейший, артист.

„И понять, — говорю, — не могу“.

„Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист“.

„Ну, вот это, — думаю, — понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался“.

А он встал, ударил об пол трубку и говорит:

„Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было“.

Я во все глаза на него вылупился.

„Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно“.

„Ну, ты, — отвечает, — очень не пугайся: бог милостив, и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор полсотни тысяч отдал“.

Я так и ахнул:

„Как, — говорю, — полсотни тысяч! за цыганку? да стоит ли она этого, аспидка?“

„Ну, вот это, — отвечает, — вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили... Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить“.

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю говорю:

„Этакая, мол, сумма! целые пятьдесят тысяч!“

„Да, да, — говорит, — и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал... все, что хочешь, дал бы“.

„А вам бы, — говорю, — плюнуть и больше ничего“.

„Не мог, — говорит, — братец, не мог плюнуть“.

„Отчего же?“

„Она меня красотой и талантом уязвила, и мне исцеления надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?..“

Я губы закусил и только уже молча головой трясу:

„Правда, мол, правда!“

„Мне, — говорит князь, — знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?“

„Что же, — говорю, — тут непонятного, краса, природы совершенство...“

„Как же ты это понимаешь?“

„А так, — отвечаю, — и понимаю, что краса природы совершенство, и за это восхищенному человеку погибнуть... даже радость!“

„Молодец, — отвечает мой князь, — молодец вы, мой почти полупочтёвнейший и премногомалозначащий Иван Северьянович! именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть“.

Тут я еще ниже спустил голос и шепчу:

„Как, — говорю, — будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?“

А он отвечает:

„А то как же иначе? разумеется, здесь“.

„Может ли, — говорю, — это быть?“

„А вот ты, — говорит, — постой, я се сейчас приведу. Ты артист — от тебя я ее не скрою“.

И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю:

„Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть!“

Наскучит!“ Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: „Неужели я ее сейчас увижу?“ А они вдруг и входят: князь впереди идет и в одной руке гитару с широкой алой лентой несет, а другою Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти реснички черные по щекам как будто птичьи крылья шевелятся.

Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклат. Потом сел сам на полу у дивана и, голову склонил к ее алому сафьянному башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тощо делается. Я сидел-сидел, индо колени разломило, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от томноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут... И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: „Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную“.

Князь шепчет: „Что?“

А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю:

„Пти-ком-пё“, — говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет: „А меня с красоты продадут, продадут“, да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на нее, плачу, и князь... тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а, как будто службу служа, застонал: „Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной“, — да и ну рыдать. И поет и рыдает: „Успокой меня, беспокойного, осчастливь меня, несчастливого“. Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и пению и все стала тишать, умиряться и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову...

Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно, и вышел.

— И, верно, тут-то вы и в монастырь пошли? — спросил некто рассказчика.

— Нет-с: еще не тут, а позже, — отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Видите, — начал Иван Северьяныч, — мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдет, и, в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и ее, Грушин, отец и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее именье, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда налицо не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал.

— Садись, — говорит, — послушай.

Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям: и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало, ее попросит петь, а она скажет:

— Перед кем я стану петь! Ты, — говорит, — холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась.

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем; а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружелюбно, и я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то всегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

— А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи.

Я говорю:

— Чем же они плохи? Слава богу, живете как надо, и все у вас есть.

А он вдруг обиделся.

— Как, — говорит, — вы, мой полупочтеннейший, глупы, „все есть“? что же это такое у меня есть?

— Да все, мол, что нужно.

— Неправда, — говорит, — я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?

„Вот, — думаю, — что тебя огорчает“, — и говорю:

— Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть что слаще и вина и меду.

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

— Конечно... конечно... разумеется... но только... Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал...

— А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?

Князь вспыхнул.

— Ты, — говорит, — братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом.

„А-га! — думаю, — вот ты что, брат, запел?“ — и говорю:

— Что же, мол, теперь делать?

— Давай, — говорит, — станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили.

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало, и говорю: „Извольте“.

И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря; меня не слушает... Накупили обельму, а продажи нет... Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере... Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда, да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении... в тягости. Скучает. „Мало, — говорит, — его вижу“, — а перемогает себя и великатится; чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет:

— Ты бы, — говорит, — изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неученая.

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьется, а ее мне заказывает.

— Береги, — говорит, — ее, полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих „изумрудов яхонтовых“ в сон клонит.

Я говорю:

— Почему же это так? ведь это слово любовное.

— Любовное, — отвечает, — да глупое и надоедное.

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

— Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович, — возговорит, — ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит.

Ну, я ее, разумеется, уговариваю:

— Чего, — говорю, — очень мучиться: где он ни побывает, все к тебе воротится.

А она всплечет, и руками себя в грудь бьет, и говорит:

— Нет, скажи же ты мне... не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?

— У господ, — говорю, — у соседей или в городе.

— А нет ли, — говорит, — там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне: может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился, или не задумал ли он, лиходей мой, жениться? — А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я ее утешаю, а сам думаю:

„Кто его знает, что он делает“, — потому что мы его мало в то время и видели.

Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

— Съезди, такой-сякой, голубчик Иван Северьянович, в город; съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи.

Пристает она с этим ко мне все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

„Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность“.

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал не спроста, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настроено наказано было от нее скрывать, что у князя, до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой к Евгенье Семеновне, после того как ее наградил, никогда не заезжал, а люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили и всякий приезд все, бывало, к ней захаживали, потому что ее любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

— Я, матушка Евгенья Семеновна, у вас остановился.

Она отвечает:

— Ну что же; очень рада. Только отчего же, — говорит, — ты к князю не едешь на его квартиру?

— А разве, — говорю, — он здесь в городе?

— Здесь, — отвечает. — Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит.

— Какое, мол, еще дело?

— Фабрику, — говорит, — суконную в аренду берет.

— Господи! мол, еще что такое он задумал?

— А что, — говорит, — разве это худо?

— Ничего, — говорю, — только что-то мне это удивительно.

Она улыбается.

— Нет, а ты, — говорит, — вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть.

— И что же, — говорю, — вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрешили?

Она пожалала плечами и отвечает:

— Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит, — и с этим вздохнула и задумалась, сидит спустя голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши... та ведь больше ничего, как начнет свое „изумрудный да яхонтовый“, а эта совсем другое... Я ее и взревновал.

„Ох, — думаю себе, — как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несатым сердцем не глянул! От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует“. И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке:

— Князенька к нам приехал!

Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка из московских: страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

— Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда в гардеробную за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем.

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать, и как от Евгеньи Семеновны мне был лодиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпущу-ка я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и совет, чего бы без того и не высказала.

Удалились мы из детской и сидим за шкафами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья Семеновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешенная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно.

Князь как вошел, и говорит:

— Здравствуй, старый друг! испытанный!

А она ему отвечает:

— Здравствуйте, князь! Чему я обязана?

А он ей:

— Об этом, — говорит, — после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать, — и мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгенья Семеновна отвечает, что она, мол, дома.

— Здорова?

— Здорова, — говорит.

— И выросла небось?

Евгенья Семеновна рассмеялась и отвечает:

— Разумеется, — говорит, — выросла.

Князь спрашивает:

— Надеюсь, что ты мне ее покажешь?

— Отчего же, — отвечает, — с удовольствием, — и встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которою я угощаюсь.

— Выведите, — говорит, — нянюшка, Людочку к князю.

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдо на стол и говорит:

— О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут! — и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: —

Посиди, — а сама пошла с девочкой, а я один за шкапами остался и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленях и говорит:

— Хочешь, мой анфан, в карете покататься?

Та ничего не отвечает; он говорит Евгенье Семеновне:

— Же ву при, — говорит, — пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поедит, покатается.

Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, „непременно надобно“, и этак они раза три словами перебросились, и потом Евгенья Семеновна нехотя говорит нянюшке:

— Оденьте ее и поезжайте.

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, да я у них под сокрытьем на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал: „Вот же когда мой час настал и я теперь настоящее исследую, что у кого против Груши есть в мыслях вредного?“

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком что можно увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит па диване, а барыня стоит у окна и, верно, смотрит, как ее дитя в карету сажают.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

— Ну, князь, я все сделала, как вы хотели; скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне? А он отвечает:

— Ну что там дело!.. дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому.

Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит:

— Что же, — говорит, — ты: я прошу, — мне говорить с тобой надо.

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

— Ну, мол, посиди, посиди по-старому, — и обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит:

— Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?

— Что же это, — спрашивает князь, — стало быть, без разговора все начистоту выкладывать?

— Конечно, — говорит, — объясняйте прямо, в чем дело? мы ведь с вами коротко знакомы, — церемониться нечего.

— Мне деньги нужны, — говорит князь.

Та молчит и смотрит.

— И не много денег, — молвил князь.

— А сколько?

— Теперь всего тысяч двадцать.

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать, — что: „Я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер, я, говорит, все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно“. Евгенья Семеновна говорит:

— Где же их достать?

А князь отвечает:

— Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчет у меня самый верный: у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конэсеров, очень не умен, а золотой мужик —

честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут... тогда... я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам...

И он замолк, а барыня помолчала, вздохнула и начинает:

— Расчет, — говорит, — ваш, князь, верен.

— Не правда ли?

— Верен, — говорит, — верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились...

— Да.

— Да; и тогда...

— Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею.

— Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимете всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ее приданое, в самом деле разбогатеете.

— Ты так думаешь? — говорит князь. А барыня отвечает:

— А вы разве иначе думаете?

— А ну, если ты, — говорит, — все понимаешь, так дай бог твоими устами да нам мед пить.

— Нам?

— Конечно, — говорит, — тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам.

Барыня отвечает:

— Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен.

Он было начал, что: „Нет, дескать, дом не мой; а ты ее мать, я у тебя прошу... разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь...“

А она отвечает:

— Ах, полноте, — говорит, — князь, то ли я вам, — говорит, — верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла.

— Ах да, — говорит, — ты про это... Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно... Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?

— Присылайте, — говорит, — я подпишу.

— А тебе не страшно?

— Нет, — говорит, — я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться.

— И не жаль? говори: не жаль? верно, еще ты любишь меня немножечко? Что? или просто сожалеешь? а?

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

— Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам моченой морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная.

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается.

— Нет, — говорит, — кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай, — и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгения Семеновна и подает ему на прощанье руку, а сама говорит:

— А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

— Ах, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоём уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила!

— А вы, — говорит, — будто про нее так и позабыли?

— Ей-богу, — говорит, — позабыл. И из ума вон, а ее, дуру, ведь действительно надо устроить.

— Устраивайте, — отвечает Евгения Семеновна, — только хорошенечко: она ведь не

русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого.

— Ничего, — отвечает, — как-нибудь успокоится.

— Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?

— Страсть надоела; но слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья.

— Что же вам из этого? — спрашивает Евгенья Семеновна.

— Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить.

А Евгенья Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

— Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька: где ваша совесть?

А князь отвечает:

— Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей богу, мне теперь не до нее: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать.

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услад меня прямо из города к Макарью, так что я Груши и повидать не мог, а только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мне счастье так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать не могу... Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменялось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет; срыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул и кинулся: где же Груша? а про нее никто и не ведает; и люди-то в прислуге все новые, наемные и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допреж сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать; где же это она делась? Кого из старых людей не спрошу — все молчат: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была и всего, говорит, ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их: стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он ее, что ли, злодей, ножом, или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил... От страстного человека ведь все это легко может статься; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то не снести и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду истеплила. В этой цыганское пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он ее и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводительскою дочкою. А как свадьбы день пришел и всем людям роздали цветные платки и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своем чуланчике покинул, и ушел с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера; все думал: не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится, и праздник идет; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные

чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом:

— Сестрица моя, моя, — говорю, — Грунюшка! откликнись ты мне, отзовись мне; откликнись мне; покажись мне на минуточку! — И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне повисло и колотится ...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу перед своим лицом как раз лицо Груши...

— Родная моя! — говорю, — голубушка! живая ли ты или с того света ко мне явилась? Ничего, — говорю, — не потайся, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвой не испугаюсь.

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:

— Я жива.

— Ну, и слава, мол, богу.

— Только я, — говорит, — сюда умереть вырвалась,

— Что ты, — говорю, — бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи вместо милой сестры.

А она отвечает:

— Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, милсердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоём слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить.

Пытаю ее:

— Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалеешь?

А она отвечает:

— Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю.

— Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?

— Не-е-е-т, — отвечает, — я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!

Виджу, вся женщина в расстройстве и в иступлении ума: я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменялась и где вся ее красота делась? тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные космы трепятся. Гляжу на платье, какое на ней надето, а платье темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

— Скажи, — говорю, — мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?

А она вдруг улыбнулась и говорит:

— Что? чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал милсердечный друг за любовь к нему за верную: за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей наставил, чтобы строго мою красоту стеречь...

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

— Ах ты, глупая твоя голова княженицкая: разве цыганка барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошусь и твоей молодой жене горло переем.

Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

— А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал... Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху и снизу в подошву обцелует.

Она это стала слушать, и вечищами своими черными водит по сухим щекам, и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:

— Любил, — говорит, — любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?... Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет... Глупый он, глупый! Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила, так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила.

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:

— Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?

А она всплескивает руками и говорит:

— Ах, ни через что ничего не было, а все через одно изменство... Нравиться ему я перестала, вот и вся причина, — и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлестать. — Он, — говорит, — платье мне, по своему вкусу, таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями; я их надену, выстроюсь, а он сердится, говорит: „Скинь; не идет тебе“; не надену их, в распашне покажусь, еще того вдвое обидится, говорит: „На кого похожа ты?“ Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела...

И с этим совсем зарыдала и сама вперед смотрит, а сама шепчет:

— Я, — говорит, — давно это чужая, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел...

И рассказала-с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посейчас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было: а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится... Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала... Сердце болело, и дитя подкатывало... думала: оно у меня умрет в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: „Он едет!“ Все во мне затрепетало... Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое морское платье с кружевом, лиф без горлышка... Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится... я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и к нему на крыльцо выскочила... вся дрожу и себя не помню, как крикнула:

„Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!“ — да обхватила его шею руками и замерла...

Дурнота с нею сделалась.

— А прочудилась я, — говорит, — у себя в горнице... на диване лежу и все вспоминаю: во сне или наяву я его обнимала; но только была, — говорит, — со мною ужасная слабость, — и долго она его не видала... Все посылала за ним, а он не шел.

Наконец он приходит, а она и говорит:

„Что же ты меня совсем бросил-позабыл?“

А он говорит:

„У меня есть дела“.

Она отвечает:

„Какие, — говорит, — такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бралиянтовый!“ — да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею...

— На счастье, — говорит, — мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезнялся и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

„Зачем ты такие грязные шнурки носишь?“

А я говорю:

„Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота“.

А он:

„Тьфу, тьфу, тьфу“, — заплевал, заплевал и ушел, а перед вечером входит сердитый и говорит:

„Поедем в коляске кататься!“ — и притворился, будто ласковый и в голову меня поцеловал: а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не доспрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельнею — двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-одноворки в мареновых красных юбках и зовут меня барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особенно от этик одноворок, замутило, и сердце мое сжалось.

«Что это, — спрашиваю его, — какая здесь станция?»

А он отвечает:

«Это ты здесь теперь будешь жить».

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут, а он и не пожалел: толкнул меня прочь и уехал...

Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит:

— Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-одноворки стерегут и глаз не спускают... Томила я, да, наконец, вздумала притвориться, и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да всё за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по коже примечаю — куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю:

«Давайте, — говорю, — ласковые, в жмурки по полянке бегать».

Они согласились.

«А наместо глаз, — говорю, — станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить».

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на ее крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричать, а я, хоть тягостная, ударила коня резвого: все по лесу да по лесу и бежала целую ночь и наутро упала у старых бортей в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воск и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

«Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать, — вы и встретитесь». Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра — вот и встретились. Спасибо! — и обняла меня, и поцеловала, и говорит:

— Ты мне все равно что милый брат.
Я говорю:
— И ты мне все равно что сестра милая, — а у самого от чувства слезы пошли.
А она плачет и говорит:
— Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею; один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час.
— Говори, — отвечаю, — что тебе хочется?
— Нет; ты, — говорит, — прежде поклянись чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану.
Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:
— Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты, — говорит, — страшней поклянись.
— Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать.
— Ну так я же, — говорит, — за тебя придумала, а ты за мной поспешай, говори и не раздумывай.
Я сдуру пообещался, а она говорит:
— Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не слушаешь.
— Хорошо, — говорю, — и взял да ее душу проклял.
— Ну, так послушай же, — говорит, — теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих, — говорит, — больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и его и ее порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку... Пожалей меня, родной мой, мой миленький брат; ударь меня раз ножом против сердца.
Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пячуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги, кланяется и увещает:
— Ты, — говорит, — поживешь, ты богу отмолишь и за мою душу и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла... — Н... н... н... у...
Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расхолодившейся груди:
— Нож у меня из кармана достала... розняла... из ручки лезвие выправила... и в руки мне сует... А сама... стала такое несть, что терпеть нельзя...
«Не убьешь, — говорит, — меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной».
Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул...
Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но, наконец, кто-то откашлянулся и молвил:
— Она утонула?..
— Залилась, — отвечал Иван Северьяныч.
— А вы же как потом?
— Что такое?
— Пострадали небось?
— Разумеется-с.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

— Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова малая, как луновочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-

хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далекомько так покатила, покатила, и вдруг Груша идет, только маленькая, не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у нее малые крылышки; а чуть я ее увидел, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и немощу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парю, и говорят:

«Садись, бедный человек, мы тебя подвезем».

Я сел. Они едут и убиваются:

«Горе, — говорят, — у нас: сына в солдаты берут; а капиталу не имеем, нанять не на что».

Я старичков пожалел и говорю:

«Я бы за вас так, без платы, пошел, да у меня бумаг нет».

А они говорят:

«Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым».

«Что же, — отвечаю, — мне все равно: я своему ангелу Ивану Предтече буду молить, а называться я могу всячески, как вам угодно».

Тем и покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день богу за себя молил, через Предтечу-ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течет по Андии, так и зовется андийская, которая по Аварии, зовется аварийская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счету этих татаров побиили, но кои переправились за Койсу, — те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится:

«Помилуй бог, — говорит, — как вода тепла: все равно что твое парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесить?»

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как

роем, пулями осыпаям, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьего парой и мало стало охотников, потому что видимо всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит:

«Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть?»

Я и подумал:

«Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови, господи, час мой!» — и вышел, разделся, «Отчу» прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою!» — да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву... Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю: ранен я или не ранен, но только достиг берега... Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала... Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит: ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

«Ой, помилуй бог, — говорит, — какой ты, Петр Сердюков, молодец!»

А я отвечаю:

«Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет».

Он вопрошает:

«В чем твой грех?»

А я отвечаю:

«Я, — говорю, — на своем веку много неповинных душ погубил», — да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал, слушал, и задумался, и говорит:

«Помилуй бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю».

Я говорю:

«Как угодно, а только пошлите и туда узнать, не верно ли я показываю, что я цыганку убил?»

«Хорошо, — говорит, — и об этом пошлю».

И послали, но только ходила, ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происхождения ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать: чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

«Не смей, братец, больше на себя этого врать: это ты как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я, — говорит, — очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат,

помилуй бог как хорошо».

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду, или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было?

И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

«Поздравляем, — говорят, — тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти; помилуй бог, как спокойно, — и письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург Дал. — Ступай, — говорит, — он твою карьеру и благополучие совершит». Я с этим письмом и добрался до Питера, но не посчастливилось мне насчет карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже.

— Как на фиту? что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како; много на них фамилиев начинается и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет; говорят: ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно... Просто хоть повеситься, но я благодаря бога и с отчаянности до этого себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошел.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

— В балагане на Адмиралтейской площади. Там благородством не гнушаются и всех принимают; есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на страстной неделе или перед масленицей, когда в церкви поют: «Покаяния отвержи ми двери», а во-вторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с: в двух переменах танцевать надо и кувыркаться, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет; а потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в середине хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что всё по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому еще с холоду или для смеху изловчатся и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: всё за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и всё это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику

утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это такое с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шутки выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил: костюм мне портил; в грельне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам прицепит или еще что глупое делает на смех, а я не осматрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится; но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала и этого принца от моих рук спасти должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюли выходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручки совсем посинели, зашлись, а он ее допекает, лезет к ней, и когда мы втроем в апофеозе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало: я его и оттрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в трупке иметь; а как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается, и я все думал-думал, как этого положения избавиться? На фиту не захотел ворочаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так я взял и пошел в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? деться было некуда. А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил, — здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажут: «запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут), — я запрягу; а скажут: «отец Измаил, отпрягай», — я откладываю.

— Позвольте, — говорим, — так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались... при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен.

— А скоро же вы примете старший постриг?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так... достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Д-д-а-с. Да и вообще зачем? я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

— Как же-с; не раз говорил; да что же, когда справок нет... не верят, так и в монастырь светскую ложь занес, и здесь из благородных числюсь. Да уже все равно доживать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался; однако же вышло совсем иное. Один из наших спутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса, и спросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал:

— Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушел и в послании пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с.

— В каком же роде?

— Всё разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и его, самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользоваться. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

«У Якова-апостола сказано: „Противустаньте дьяволу, и побежит от вас“, и ты, — говорит, — противустань». И тут наставил меня так делать, что ты, — говорит, — как если почувствуешь сердцеразжижение и ее вспомнишь, то и разумеи, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени. Колени у человека, — говорит, — первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твое протягивание на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и не искушать, авось-де он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с; и все одним измором его, врага этакое, брал, потому что он другого ничего не боится: вначале я и до тысячи поклонов ударял и дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил, а потом он понял, что ему со мною спорить не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим... он-то... Это так: вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели?

— Ничего-с; что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И он вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросенок издыхает. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать.

— Ну, и слава богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с; я соблазны большого беса осилил, но, доложу вам, — хоть это против правила, — а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с; положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут...

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просят на землю поучиться смущать, и балуются, и чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например... чем могут досаждают?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие, весело: в ладоши хлопают и бежат к своему старшему: дескать, и мы смутили, дай нам теперь за то грошик. Ведь вот из чего бьются... Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели.

А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось; но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву, — нет, все-таки стоит. Я перекрестил: все стоит и опять вздохнул. «Ну что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц молить, а пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню». Положил на него этакое заклятие, он и отошел, а я опять заснул, но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает... мешает спать, да и все тут. Как ни терпел, просто сил нет! Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда в конюшню ко мне ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал, и как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе: уж теперь не придет, да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь! Всю как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

«Чего ты такой пуганый?»

Я говорю:

«Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю».

А брат Диомид отвечает:

«Брось, — говорит, — и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь пресердитый и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать».

Я говорю:

«А мне совершенно все равно; только сделай милость, помоги, — я тебе за это старые теплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно».

«Ладно», — отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр-апостол написан, и в руке у него ключи от царства небесного.

«Вот это-то, — говорит, — и самое важное есть ключи: ты эту дверь только заставься, так уже через нее никто не пройдет».

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне эту дверь заставляться да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях, а для безопасности еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня, и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу — опять дышит! просто ушам своим не верю, что это можно, ан нет: дышит, да и только! да еще мало этого, что дышит, а прет дверь... При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он ее так и пихает, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет со всей силы назад... А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, еще смелее, и опять морда, а блок ее еще жестче щелк... Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал, да как лизнет меня в ухо... Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бьякнул на месте. «Ну, — думаю, — так тебе и надо», — а вместо того, утром, гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Так и прорубил топором-с! Смущение ужасное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с; отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда наперед у решетки для возжигания свеч стоял, а они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого на Мокрого Спаса, на всенощной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит:

«Поставь, батюшка, празднику».

Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на Водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать, — две уронил. Стал их вправлять, ан, гляжу — четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук рвут... Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ об подсвечник... а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой посбивал. «Что же, — думаю, — если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился.

«За что, — говорит, — вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили».

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили на сколько именно времени, а так сказали только, что «посадить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну нет-с: как же можно сравнить? здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жернов мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни молот. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать.

— Пророчествовать?

— Да-с, я в погребу, наконец, в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовещаюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть, говорит, помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи всё на этом инструменте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Геронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского, и когда, случалось, мимо моей ямы идет, всегда, бывало, возьмет да мне из-под раски газету кинет.

«Читай, — говорит, — и усматривай полезное: во рву это тебе будет развлечение».

Я, в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать, и начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келии пресвятая владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник божий Тихон стал тогда просить богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда, — говорит, — все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапно всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от апостола в таких словах откровение? Наконец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается речейное: «Егда рекут мир, нападает внезапно всегубительство», и я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещавать, молитесь, мол, о покорении под нозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные, все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что, — говорят, — наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевести и поставить мне образ «Благое молчание», пишется Спас с крылами тихими, в виде ангела, но в Саваофовых чинах вместо венца, а ручки у груди смиренно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе и все «Благому молчанию» молился, но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул:

«Экий, — говорит, — ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак еще не добьют».

Я говорю:

«Что же делать? Верно, так нужно».

А он, все выслушавши, игумену сказал:

«Я, — говорит, — его не могу разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это, — говорит, — по вашей части, а я в этом не сведущ, мнение же мое такое: прогоните, — говорит, — его куда-нибудь подальше пробегаться, может быть, он засиделся на месте».

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Зосиме и Савватию благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

— Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?

— Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.

— Позвольте: как же это вы опять про войну говорите?

— Да-с.

— Стало быть, вам «Благое молчание» не помогло?

— Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.

— Что же он?

— Все свое внушает: «ополчайся».

— Разве вы и сами собираетесь идти воевать?

— А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы: в клобуке и в рясе пойдете воевать?

— Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену.

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещения его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.

Впервые опубликовано — «Русский мир», 1873.

ЧЕЛОВЕК НА ЧАСАХ (1839 г.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.

Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.

Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зимою, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так разморопогодило, что совсем как будто весне быть: снег таял, с крыш падали днем капли, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный: со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки.

Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которою командовал блестяще

образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер, Николай Иванович Миллер (впоследствии полный генерал и директор лицея). Это был человек с так называемым «гуманным» направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства.

На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдaшнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сначала в карауле все шло хорошо: посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В кордегардии тишина. Капитан Миллер приколот булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной сафьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой.

Н. И. Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь; но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство: пред ним является разводный унтер-офицер и, весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой:

— Беда, ваше благородие, беда!

— Что такое?!

— Страшное несчастье постигло!

Н. И. Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались «беда» и «страшное несчастье».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дело заключалось в следующем: часовой, солдат Измайловского полка, по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услышал, что в полынье, которою против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи.

Солдат Постников, из дворовых господских людей, был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда на все видимое ему пространство набережной и ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души.

Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальется...

А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется.

Уж одно бы ему, кажется, — не трата сил, спускаться на дно, так ведь нет! Его изнеможенные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно тут на этом пути он попадет в иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед и конец... Вот и опять стих, а через минуту снова полощется и стонет: «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется...

Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться

рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу и присягу; он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки.

С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное: так и ноет, так и стучит, так и замирает... Хоть вырви его да сам себе под ноги брось, — так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей... Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит и ничто иное вредное не случится. «Иль сбежать, а?.. Не увидят?.. Ах, господи, один бы конец! Опять стонет...»

За один получас, пока это длилось, солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать «сомнения рассудка». А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которою сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может быть даже и «расстрел»; но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.

— Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!

Тут вот сейчас и есть иорданская прорубь... Конец!

Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают, да по ветру, прерываясь, долетает этот крик... может быть, последний крик...

Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забулькотало.

Часовой не выдержал и покинул свой пост.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющимся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыньи и, скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложку своего ружья.

Утопавший схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег.

Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его, солдат Постников, не решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалась, на набережной показались сани, в которых сидел офицер существовавшей тогда придворной инвалидной команды (впоследствии упраздненной).

Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший господин был, надо полагать, человек очень легкомысленного характера, и притом немножко бестолковый, и изрядный наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать:

— Что за человек... что за люди?

— Тонул, заливался, — начал было Постников.

— Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте?

А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет: он взял ружье на плечо и опять стал в будку.

Смекнул или нет офицер, в чем дело, но он больше не стал исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасенного человека и покатыл с ним на Морскую в съезжий дом Адмиралтейской части.

Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни.

Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, иззябший и изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его.

Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и, с свойственною полицейским

людям подозрительностью, недоумевали, как он сам весь сух из воды вышел? А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль «за спасение погибавших», объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки.

А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие, быстрые течения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасенного утопленника в свои сани были неизвестны. Там Измайловский офицер и солдаты знали только то, что их солдат, Постников, оставив будку, кинулся спасать человека, и как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться.

Мокрый и дрожавший солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменен с поста и, будучи приведен в кордегардию, чистосердечно рассказал Н. И. Миллеру все, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть.

Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав тотчас же доведет об этом до сведения обер-полицеймейстера Кокошкина, а тот доложит утром государю, и пойдет «горячка».

Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к делу старших.

Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиныну, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде.

Это было уже около трех часов, а Кокошкин являлся с докладом к государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Подполковник Свинын не имел той жалостливости и того мягкосердечия, которые всегда отличали Николая Ивановича Миллера: Свинын был человек не бессердечный, но прежде всего и больше всего «службист» (тип, о котором нынче опять вспоминают с сожалением). Свинын отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью дисциплины. Он не имел вкуса ко злу и никому не искал причинить напрасное страдание; но если человек нарушал какую бы то ни было обязанность службы, то Свинын был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в караульной роте все знали, что придется претерпеть рядовому Постникову за оставление своего поста, то он и оттерпит, и Свинын об этом скорбеть не станет.

Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди, не симпатизировавшие Свиныну, потому что тогда еще не совсем вывелся «гуманизм» и другие ему подобные заблуждения. Свинын был равнодушен к тому, порицают или хвалят его «гуманисты». Просить и умолять Свинына или даже пытаться его разжалобить — было дело совершенно бесполезное. От всего этого он был закален крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него, как у Ахиллеса, было слабое место.

Свинын тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем, чтобы на нее, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села; а между тем несчастная выходка человека из вверенного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что один из его солдат сделал под влиянием увлечения

благороднейшим состраданием, — этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свинына, а многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протежируемого людьми в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него «слабые офицеры», что у них «люди распущены». А кто это наделал? — Свинын. Вот так это и пойдет повторяться, что «Свинын слаб», и так, может, покор слабостью и останется несмываемым пятном на его, Свинына, репутации. Не быть ему тогда ничем достопримечательным в ряду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства Российского.

Изучением истории тогда хотя мало занимались, но, однако, в нее верили, и особенно охотно сами стремились участвовать в ее сочинении.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Как только Свинын получил около трех часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и, под влиянием страха и гнева, прибыл в караульную Зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому Постникову и убедился, что невероятный случай совершился. Рядовой Постников опять вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному командиру все то же самое, что произошло на его часах и что он, Постников, уже раньше показал своему ротному капитану Миллеру. Солдат говорил, что он «богу и государю виноват без милосердия», что он стоял на часах и, заслышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и, наконец, на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы: покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонувшего на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды.

Подполковник Свинын был в отчаянии; он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свой гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру, попрекнув его «гуманерией», которая ни на что не пригодна в военной службе; но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Подыскать если не оправдание, то хотя извинение такому поступку, как оставление часовым своего поста, было невозможно, и оставался один исход — скрыть все дело от государя...

Но есть ли возможность скрыть такое происшествие?

По-видимому, это представлялось невозможным, так как о спасении погибавшего знали не только все караульные, но знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома генерала Кокошкина.

Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать помощи и защиты?

Свинын хотел скакать к великому князю Михаилу Павловичу и рассказать ему все чистосердечно. Такие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь, по своему пылкому характеру, рассердится и накричит, но его нрав и обычай были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости и даже тяжело обидит, тем он потом скорее смирится и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. «Брань на вороту не висла», и Свинын очень хотел бы свести дело к этому благоприятному положению, но разве можно ночью достигнуть во дворец и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явиться к Михаилу Павловичу после того, когда Кокошкин побывает с докладом у государя, будет уже поздно. И пока Свинын волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его начал прозревать еще один выход, до сей поры скрывавшийся в тумане.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В ряду известных военных приемов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей

опасности, угрожающей со стен осаждаемой крепости, не удаляться от нее, а прямо идти под ее стенами. Свињин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину.

Об обер-полицеймейстере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но, между прочим, утверждали, что он обладает удивительным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только «умеет сделать из мухи слона, но так же легко умеет сделать из слона муху».

Кокошкин в самом деле был очень суров и очень грозен и внушал всем большой страх к себе, но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шулунов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в его лице могущественного и усердного защитника. Вообще он много мог и много умел сделать, если только захочет. Таким его знали и Свињин и капитан Миллер. Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважиться на то, чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его великодушию и его «многостороннему такту», который, вероятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокошкин, к чести его, всегда избегал с большим старанием.

Свињин надел шинель, устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз: «Господи, господи!» — поехал к Кокошкину.

Это был уже в начале пятый час утра.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Обер-полицеймейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о Свињине, приехавшем по важному и не терпящему отлагательств делу.

Генерал немедленно встал и вышел к Свињину в архалучке, потирая лоб, зевая и ежась. Все, что рассказывал Свињин, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений и просьб о снисхождении произнес только одно:

— Солдат бросил будку и спас человека?

— Точно так, — отвечал Свињин.

— А будка?

— Оставалась в это время пустою.

— Гм... Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли.

Свињин из этого еще более уверился, что ему уже все известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решения этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического обер-полицеймейстера.

Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасенным уопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого обер-полицеймейстера, да и притом самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал уопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только честолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей.

Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер.

Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто, во-первых, страшною усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его, г-на обер-полицеймейстера, прямо не касалось.

Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение.

Он послал за приставом Адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником, а Свинына просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собою дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги; но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям «сорок тысяч курьеров», о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя.

Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства.

Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей.

Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свинына.

— Протокол? — односложно спросил освеженным голосом у пристава Кокошкин.

Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо прошептал:

— Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету...

— Хорошо.

Кокошкин отошел в амбразуру окна, а за ним пристав.

— Что такое?

Послышался неясный шепот пристава и ясные побрякиванья генерала...

— Гм... Да!.. Ну что ж такое?.. Это могло быть... Они на том стоят, чтобы сухими высказывать... Ничего больше?

— Ничего-с.

Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному:

— Как ты, братец, попал в полынью против дворца?

— Виноват, — отвечал спасенный.

— То-то! Был пьян?

— Виноват, пьян не был, а был выпимши.

— Зачем в воду попал?

— Хотел перейти поближе через лед, сбился и попал в воду.

— Значит, в глазах было темно?

— Темно, кругом темно было, ваше превосходительство!

— И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?

— Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется. — Он указал на офицера и добавил: — Я не мог рассмотреть, был испужамшись.

— То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благодородный человек жертвовал за тебя своею жизнью!

— Век буду помнить.

— Имя ваше, господин офицер? Офицер назвал себя по имени.

— Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Ты православный?

— Православный, ваше превосходительство.
— В поминанье за здравие это имя запиши.
— Запишу, ваше превосходительство.
— Молись богу за него и ступай вон: ты больше не нужен.
Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили.
Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все принимает милостию божиею!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кокошкин обратился к инвалидному офицеру:
— Вы спасли этого человека, рискуя собственной жизнью?
— Точно так, ваше превосходительство.
— Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть?
— Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых.

— О часовых незачем поминать: часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним, Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?

Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул.

Но офицер не сробел, а, вылупив глаза и выпучив грудь, ответил:

— С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство.

— Ваш поступок достоин награды.

Тот начал благодарно кланяться.

— Не за что благодарить, — продолжал Кокошкин. — Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобится.

Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел.

Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:

— Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть.

— Слушаю-с, — отвечал понятиливо пристав.

— Вы мне больше не нужны.

Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас, по набожной привычке, перекрестился.

Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем когда сюда вступали.

В кабинете у обер-полицеймейстера остался один Свиньин, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим, пристальным взглядом и потом спросил:

— Вы не были у великого князя?

В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу.

— Я прямо явился к вам, — отвечал Свиньин.

— Кто караульный офицер?

— Капитан Миллер.

Кокошкин опять окинул Свиньина взглядом и потом сказал:

— Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили.

Свиньин даже не понял, к чему это относится, и промолчал, а Кокошкин добавил:

— Ну все равно: спокойно поживайте.

Аудиенция кончилась.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В час пополудни инвалидный офицер действительно был потребован к Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди, и жалует ему медаль «за спасение погибавших». При сем Кокошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свинын чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить *point sur les i*.²⁵

Он был так встревожен, что три дня проболел, а на четвертый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконою спасителя и, возвратясь домой с успокоенною душой, послал попросить к себе капитана Миллера.

— Ну, слава богу, Николай Иванович, — сказал он Миллеру, — теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы, без сомнения, обязаны сначала милосердию божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недобрый и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвастовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне, но ничего иного не оставалось: им нужно было воспользоваться для спасения многих, и Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности, — напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною очень доволен. Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего, но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтоб оградить себя на всякий случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление.

— Да, пора! — подсказал обрадованный Миллер.

— Ну, конечно, и вам это всех лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем двумястами розог.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Миллер изумился и сделал попытку склонить Свинына к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который к без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет; но Свинын вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать.

— Нет, — перебил он, — это оставьте: я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставьте это!

Свинын переменял тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью:

— А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации в ваших подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно... как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским

²⁵ Точку над *i* — франц.

либерализмом: они товарища не секут как должно, а только блох у него за спиною пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан.

Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира.

Рота была выстроена на дворе Измайловских казарм, розги принесены из запаса вдовольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников «был сделан» при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выставили на нем все *point sur les i*, в полной мере определенные ему его батальонным командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Батальонный командир Свинын, по получении донесения об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был «сделан как следует». Свинын остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал:

— Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отеческую милость.

И он в самом деле был «доволен», потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести розог, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда; а такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастью его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюции, о которых выше рассказано.

Но число всех довольных рассказанным происшествием этим не ограничилось.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Под сурдинкою подвиг рядового Постникова расплзся по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В устных передачах имя настоящего героя — солдата Постникова утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтический характер.

Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили: один — должную награду, а другой — заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и равнодушный к «светским событиям» владыко, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свиныных.

Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасать из волн Невы, то почему о нем мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и «суесловят», но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самое настоящее.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Однажды, когда Свиный случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним «кстати о выстреле». Свиный рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали «кстати о выстреле».

Владыко выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же Свиный кончил, владыко тихо журчащею речью произнес:

— Почему надлежит заключить, что в сем деле не все и не везде излагалось согласно с полною истиной?

Свиный замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин.

Владыко в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил:

— Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.

Опять четки, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь:

— Неполная истина не есть ложь. Но о сем наименьше.

— Это действительно так, — заговорил поощренный Свиный. — Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя нарушил свой долг...

Четки и тихоструйный перебив:

— Долг службы никогда не должен быть нарушен.

— Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью: он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя... Это высокое, святое чувство!

— Святое известно богу, наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенести на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. В сем справедливость от вас нисколько не пострадала.

— Но он лишен и награды за спасение погибавших.

— Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас — подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг.

Пауза, четки и тихоструй:

— Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем сем наибольшее — это то, чтобы хранить о всем деле сем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сем было сказывано.

Очевидно, и владыко был доволен.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым, по великой их вере, дано проникать тайны божия смотра, то я, может быть, дерзнул бы позволить себе предположение, что, вероятно, и сам бог был доволен поведением созданной им смиренной души Постникова. Но вера моя мала; она не дает уму моему силы зреть столь высокого: я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа.

Впервые опубликовано — «Русская мысль», 1887.

ШЕРАМУР (Чрева-ради юродивый)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

По некоторым, достаточно важным причинам выставленная кличка должна заменять собственное имя моего героя — если только он годится куда-нибудь в герои.

Если бы я не опасался выразиться вульгарно в самом начале рассказа, то я сказал бы, что Шерамур есть герой брюха, в самом тесном смысле, какой только можно соединить с этим выражением. Но все равно: я должен это сказать, потому что свойство материи лишает меня возможности быть очень разборчивым в выражениях, — иначе я ничего не выражу. Герой мой — личность узкая и однообразная, а эпопея его — бедная и утомительная, но тем не менее я рискую ее рассказывать.

Итак, Шерамур — герой брюха; его девиз — жрать, его идеал — кормить других; в этом настроении он имел похождения, достойные некоторого внимания. Я опишу кое-что из них в коротких отрывках: это единственная форма, в которой можно передать что-нибудь о лице, не имевшем никакой последовательности и не укладывающемся ни в какую форму.

Начинаю с того самого случая, как он показался первому человеку, который обнаружил в нем нечто достойное наблюдения.

Летом 187* года в Париж прибыл из Петербурга литературный Nemo.²⁶ Он поселился в небольшой комнатке, против решетки Люксембургского сада, и жил тут тихо и смирно несколько дней, как вдруг однажды входит к нему консьерж и говорит, что пришел «некто» и требует, чтобы monsieur вышел к нему — на лестницу.

Nemo имел основания не любить таинственности и с неудовольствием спросил:

— Кто это такой и что ему нужно?

— Я думаю, это некто из ваших, — отвечал француз.

— Это мужчина или женщина?

— Во всяком случае мне кажется, что это скорее мужчина.

— Так попросите его сюда.

— Да, но мне кажется, что ему неудобно войти.

— Разве он пьян?

— Нет; он... раздет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На узенькой спиральной лестнице с крошечным окном в безвоздушный канал, образовываемый тремя сходящимися острым углом стенами, стояла очень маленькая, но преоригинальная фигура. Первое, что бросилось в глаза Nemo, были полудетские плечи и курчавая голова с длинными волосами, покрытая истасканною бандитскою шляпою.

Сначала казалось, что это костюмированный тринадцати- или четырнадцатилетний мальчик, но чуть он оборотился, вид изменился: перед вами прежде всего два яркие, черные глаза, которые горят диким, как бы голодным огнем, и черная борода замечательной величины и расположения. Она заросла по всему лицу почти под самые глаза и вниз закрывает грудь до пояса. Такую бороду, по строгановскому лицевому подлиннику, указано писать только преподобному Моисею Мурину, вероятно ради особенности его мадьярского происхождения и мучительной пылкости темперамента этого святого, которому зато и положено молиться «от неистовой страсти».

Nemo подошел к незнакомцу и спросил:

²⁶ Никто — лат.

— С кем я имею честь...

— Никакой нет чести, — отвечал незнакомец не натуральным, а искусственным баском, как во время оно считали обязанностью хорошего тона говорить кадеты выпускного класса. Немо понимал некоторый толк в людях и сам переменил манеру.

— Что же вам надо? — спросил он гостя.

— Имею дело.

— Так войдите в комнату.

— У вас нет никого?

— Никого.

— Могу.

И незнакомец пошел за хозяином важно и неспешно, переставляя свои коротенькие ножки, а когда взошел, то сел и, не снимая шляпы, сейчас же спросил:

— Нет ли у вас работы?

— Работы!

— Да, нет ли у вас какой работы?

— Да какая же у меня работа?

— Разве я знаю, какая?

— Вы мастеровой?

— Нет, не мастеровой, а мне говорили, что вы романы пишете.

— Это правда.

— Так я переписывать.

— Но теперь я ничего не пишу.

— Вот как! Значит — сыты.

Он встал и, немного насупясь, добавил:

— А деньги есть у вас?

Хозяин невольно посторонился и спросил:

— Что это значит?

— Значит, что я три дня не жрал.

— Сколько же вам нужно?

— Мне нужно много, но я у вас хочу взять два франка.

— Извольте.

Турист опустил руку в портмоне и подал своему гостю пятифранковую монету.

— Здесь больше, — сказал тот.

— Это все равно.

— Да, разумеется, — вы сдачи получите.

С этим он завернулся и вышел тем же ровным шагом, с тою же неизменной важностью. Во время разговора можно было видеть, что у него некрепко держатся рейтузы и под блузою нет рубашки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Немо рассказал историю землякам: те сразу узнали.

— Это, — говорят, — Шерамур.

— Кто он?

— Неизвестно.

— Во всяком случае он русский.

— О да! русский, у него какая-то таинственная история.

— Политическая?

— Кто его разберет! но, кажется, политическая.

— По какому делу он сюда сбежал?

— Право, не знаю, да и знает ли он сам об этом — сомневаюсь.

— Он не сумасшедший?

— Разве с точки зрения доктора Крупова.
— И не плут?
— Нет, он по-своему даже очень честен: да вот вы сами в этом убедитесь.
— Каким образом?
— Он занял у вас денег?
— А вы почему так думаете?
— Если он приходил, значит или долг принес, или умирает с голоду и в долг просит.
— Я ему очень мало дал.
— Все равно: он принесет.
— Я этого вовсе не требую.
— Мало ли что! А вы если хотите у него заискать, то сведите его пожрать.
— Он не обидится?
— Нимало; он человек натуральный; только не ведите в хорошее место: этого он терпеть не может, а куда-нибудь погрязнее.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На другое утро спит Nemo и слышит:

— Проснитесь!

Тот открыл глаза и увидел перед собою Шерамура. Он был по-вчерашнему в блузе без рубашки и в бандитской шляпе. Только яркий, голодный блеск черных глаз его немножко смягчился, и в них даже как будто мелькало что-то похожее на некоторый признак улыбки. Он протянул к хозяину руку и проговорил:

— Получайте.

— Что это?

— Три франка сдачи.

— Присядьте, — я сейчас встану, и мы пойдем вместе завтракать.

Шерамур сел и, положив деньги на стол, проговорил:

— Могу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Они пили и ели именно так, как хотел того Шерамур, даже не у Дюваля, а пошли по самому темному из закоулков Латинского квартала и приютились в грязеньком кабачке дородной, богатырского сложения нормандки, которую звали Tante Grillade. Это была единственная женщина в Париже, которую Шерамур знал по имени и при встречах с которою он кивал ей своею горделивою головою. Она этого стоила, потому что имела историческую репутацию высокой пробы. Если она не лгала, то она в самом цвете своей юности была предметом внимания Луи Бонапарта и очень могла бы ему кое-что напомнить, но с тех пор, как он сделался Наполеоном Третьим, Grillade его презирала и жила, держа грязенькую съестную лавку.

Было ли это все правда, или только отчасти, — это оставалось на совести Танты, но Шерамур ей верил: ему нравилось, что она презирает «такого барина». За это он ее уважал и доказывал ей свое уважение, перед ней одной снимая свою ужасную шляпу. Притом же она и ее темный закоулок составляли для Шерамура очень приятное воспоминание. Здесь, в этой трущобе, к нему раз спускалось небо на землю; здесь он испытал самое высокое удовольствие, к которому стремилась его душа; тут он, вечно голодный и холодный нищий, один раз давал пир — такой пир, который можно было бы назвать «пиром Лазаря». Шерамур самыми удивительными путями получил по матери наследство в триста или четыреста франков и сделал на них «пир Лазаря».

Он отдал все эти деньги Танте и велел ей «считать», пока он проест.

С того же дня он ежедневно водил сюда по несколько воуоу²⁷ и всех питал до тех пор, пока Танта подала ему счет, в котором значилось, что все съедено.

Теперь он сюда же привел своего консоматера. Им подали скверных котлет, скверного пюре и рагу из обрезков да литр кислого вина. Шерамур ел все это сосредоточенно и не обращая ни на кого никакого внимания, пока отвалился и сказал:

— Буде!

С этого у Nemo и Шерамура завязалось знакомство, которое поддерживалось «жратвою» у Tante Grillade и с каждым днем выводило наружу всё новые странности этого Каинова сына.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Nemo мог определить, что Шерамур был чрезвычайно горд, потому что он был очень застенчив, но понятия о самой гордости у него были удивительные. Так, например, корм он принимал от всякого без малейшего стеснения и без всякой благодарности. Кормить, — это, по его мнению, для каждого было не только долг, но и удовольствие. В том, что его кормят, он не только не усматривал никакого одолжения, но даже находил, что это мало. И действительно — сам он при тех же средствах сделал бы гораздо больше. При тех же средствах он накормил бы несколько человек. Жратва была пункт его помешательства: он о ней думал сытый и голодный, во всякое время — во дни и в ночи.

Приходит он, например, и видит банку с одеколоном. Тотчас намечает ее своим сверкающим взглядом и, показывая на нее пальцем, с презрением спрашивает:

— Это что?

— Одеколон.

— Зачем нужен?

— Обтираюсь им.

— Гм! Обтираетесь. Разве прелое место есть?

— Нет; прелого места нет.

— Так зачем же такая низость!

— Кому же это вредно?

— Еще и спрашиваете: лучше бы сами пожрали да другого накормили.

— Пойдемте, — накормлю.

— Что же одного-то кормить... сказали бы, так я бы еще человек пять позвал.

Другой раз он застает на комодѣ белье, принесенное прачкою, и опять тычет пальцем:

— Чьи рубашки?

— Разумеется, мои.

— Сколько тут?

— Кажется, четыре.

— Зачем столько?

— А по-вашему, сколько рубашек можно иметь человеку?

— Одну.

— И будто у вас всего одна?

— Нет; у меня ни одной.

— Без шуток, ни одной?

— Какие шутки, мы не такие друзья, чтобы шутить шутки.

С этим он расстегнул блузу и показал нагое тело.

— Вот вам и шутки.

— Возьмите у меня рубашку.

— Могу.

²⁷ оборванцев — франц.

Он взял поданную ему рубашку, пошел за занавес, а оттуда кричит:

— Нож!

— Вы не зарежетесь?

— Это не ваше дело.

— Как не мое дело! Я не хочу, чтобы вы здесь у меня напачкали кровью.

— Эка важность!

— Нет, не режьте у меня.

— Не нарежусь — я нынче пожравши.

— Нате вам нож.

Послышался какой-то треск, и что-то шлепнуло.

— Что это вы сделали?

Он вместо ответа выбросил отрезанные от обоих рукавов манжеты и появился сам в блузе, из-под обшлагов которой торчали обрезки беспощадно оборванных рукавов рубашки.

Этак ему казалось лучше, но тоже не надолго, — завтра он явился опять без рубашки и на вопрос: где она? — отвечал:

— Скинул.

— Для какой надобности?

— У другого ничего не было.

Таков он был в бесконечном числе разных проявлений, которые каждого в состоянии были убедить в его полнейшей неспособности ни к какому делу, а еще более возбудить самое сильное недоразумение насчет того: какое он мог сделать политическое преступление? А между тем это-то и было самое интересное. Но Шерамур на этот счет был столь краток, что сказания его казались невероятны. По его словам, вся его история была в том, что он однажды «на двор просился».

Как и что? Это всякого могло удивить, но он очень мало склонен был это пояснять.

— Бунт, — говорит, — был. Мы все, техноложцы, в институт пришли — ворота закрыты, не пускают. Мы стали проситься на двор пустить, — пихать начали. Меня взяли.

— Ну а потом?

— А потом — я ушел.

— Зачем?

— Да что же ждать — неизвестно бы куда засудили.

И больше ничего не добьетесь, да и сомнительно, есть ли чего добиваться.

До сих пор говорю с чужих слов — теперь перехожу к личным наблюдениям, которые были счастливее.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Я о нем в мою последнюю поездку за границу слышался еще по дороге — преимущественно в Вене и в Праге, где его знали, и он меня чрезвычайно заинтересовал. Много странных разновидностей этих каиновых детей встречал я на своем веку, но такого экземпляра не видывал. И мне захотелось с ним познакомиться — что было и кстати, так как я ехал с литературною работою, для которой мне был нужен переписчик. Шерамур же, говорят, исполнял эти занятия очень изрядно.

Его адреса никто не знал, но я взял адрес Tante Grillade, и он мне помог. По письму, оставленному в этом кабачке, Шерамур ко мне явился, совершенно таким, каким я его описал выше: маленький, коренастый, с крошечным носиком и огромной бородой Черномора.

Здесь, кстати, замечу, что кличка Шерамур была не что иное, как испорченное на французский лад Черномор, а происхождение этой клички имеет свою причину, о которой будет упомянуто в своем месте.

Я не торопил Шерамура сближением, а просто дал ему работу, и в первый визит он со мною не говорил почти ни слова, а только кивал в знак согласия, но, принесся через три дня

назад переписанную тетрадь, разговорился.

— Все ли вы, — спрашиваю, — разобрали в моей рукописи, — не трудно ли было?

— Ничего нет трудного, а только одно трудно понять: зачем вы это пишете?

— Печатать буду.

— Очень нужно.

— Вам это не нравится?

— Не не нравится, а зачем всякую юрунду. (Он именно говорил юрунду.)

— Добрые люди купят, прочтут, посмеются и бросят.

— Ну да; только и всего. Стоит того дело. Могли бы что-нибудь лучше написать.

— Да что лучше-то? — Не умею.

— Ну да; не умеете! Нет, вы, я вижу, не совсем глупый!

— Да не знаю, — говорю, — что же такое надо писать?

— Полезное что-нибудь.

— Например?

— Я ведь не писатель, — что меня спрашивать. Если бы я был писатель, — я бы написал.

— Статью?

— Не знаю, может быть и статью.

— О чем?

— О том, чтобы всем было что жрать, — вот о чем.

— Как же это надо написать?

— Не знаю, — пишу.

— Где?

— Я не знаю; а пишу.

— Да все, — говорю, — мало куда годится.

— Оттого, что не дописывают.

— А отчего не дописывают?

— А черт их знает.

— Ума мало или смелости недостает?

— Да я не знаю.

— Вы революционер?

— Ну вот еще! Жрать всем надо, вот революция. В революцию хорошо, кто большого роста.

— Это почему?

— Потому что маленького никто не слушает.

— А вот Наполеоны-то, — ведь они оба были небольшого роста, а их слушались.

— Так это у французов; они на рост не глядят; а у нас надо, чтоб дылда был и ругаться умел.

— А вы разве этого не можете?

— Нет, не могу.

— А жрать?

Он улыбнулся, но только удивительно странно, сначала одним, а потом другим глазом, точно он не смел сразу обоими улыбнуться, и отвечал:

— Могу.

— Ну, идите.

И он ходил со мною раз и два, и, наконец, за обычай взял со мною питаться, и освоился до того, что раз сказал:

— А я еще и другую штуку могу.

— Какую?

— Подвыть.

— Как же это?

— Здесь нельзя — страшно.

Я об этом и позабыл, но потом мы с ним как-то пошли за город в Нельи. Это был хороший вечер; мы всё бродили, бродили, сели на бережку ручья и незаметно осмеркли.

Он так же незаметно от меня отлучился и где-то исчез. Я задумался и совсем про него позабыл, но вдруг вздрогнул и вскочил в ужасном испуге, и было чего: в самом недалеком от меня расстоянии громко и протяжно провыл голодный волк... И прежде чем я мог оправиться, — он завыл снова.

Надо было опомниться, что я всего в двух шагах от Парижа, которого грохот слышен и которого огни отражаются заревом, чтобы понять, как трудно было появиться здесь волку.

И пока я это сообразил, предо мною предстал Шерамур.

— Каково? — говорит.

— Это вы были?

— Я. Разобрали, в чем дело?

— Какое же дело?

— Слушайте.

И он опять сел на корточки, сложил у рта ладошки и завыл: «Уаа-уаа-уаа».

— Разобрали?

— Нет; но вы действительно воете как настоящий волк.

— Еще бы! Мы, бывало, все этак хором воем.

— Кто, где?

— Техноложцы-то, в Петербурге, когда топить нечем и жрать нечего. Завоем, — хозяйка испугается и даст дров и поплеванник — чтобы замолчали. Ведь это слова.

Он опять опустил на корточки и еще раз завыл, но гораздо протяжнее, и в этот раз в этом вое я разобрал слова:

Холодно, странничек, холодно;

Голодно, родименький, голодно!

И мне стало жутко и больно, а он стал рассказывать, как им бывало холодно и как голодно, и как они, вымолив полено дров и «поплеванник», потом разогревались прыгая вокруг пустой комнаты и напевая:

А лягушки по дорожке

Скачут, вытянувши ножки,

Ква-ква-ква-ква,

Ква-ква-ква-ква,

На него, кажется, действовала ночь, звезды и свобода открытого пространства. Он был в духе и в каком-то порыве на откровенность. Я этим воспользовался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Неужто вам, — говорю, — когда вы так бедствовали, никто не помогал?

— А кто мне станет помогать? со мною всё бедняки жили; все втроем редко жрали.

— Не все же технологи, или, по-вашему, «техноложцы», так бедны.

— Да, у кого есть отцы, — не бедны, разумеется, — им помогали.

— А ваш отец?

— У меня отца не было, — только родитель.

— Какая же тут разница?

— Отец жалеет, а родитель — родит и бросит.

— Кто же был ваш родитель?

— Мизантроп.

— Чем он занимался?

— Дворянин — развлекал свою ипохондрию.

— Ну, а мать, разве и она о вас не заботилась?

— Чем ей заботиться? — одна из крепостных девок была.

— Так вы, значит, из податного звания?

- Нет; из благородного, — мизантроп ее за чиновника выдал.
- Вы всё путаете.
- Ничего не путаю: родитель был один, а отцом другой числился; муж материн в казначействе служил.
- Да вы чью фамилию-то носите?
- Материного мужа.
- Ваша матушка, верно, была очень красива.
- Ну вот... Разумеется, не такая, как я. А у него все равно были всякие: и красивые и некрасивые, и всех замуж выдавал.
- И приданое давал?
- Матери пятьсот рублей дал, за чиновника, а которых за своих — тем не давал.
- Значит, он вашу матушку больше других любил.
- Время такое пришло: эманципация. Крепостные не захотели без награждения. А он рассудил, что если с награждением, так уж все равно за благородного. Чиновник и взялся.
- Выходит, вы все-таки счастливее других.
- Не вижу, те наделы получили, а я нет.
- А чиновник вас не обижал, воспитывал?
- Мы у него не жили, он с матерью очень дрался; она назад убежала.
- К мизантропу?
- Да; меня швырнула ему, а сама утопиться хотела. Он нового суда побоялся и взял нас.
- Тут вам хорошо было?
- Ничего не было хорошего: меня к акушерке на воспитание в город отдали.
- Это добрая была женщина?
- Шельма; сама все с землемером кофей пила, а мне жрать не давала. И землемер очень бил.
- Зачем?
- Так; напьется и бьет по головешке. Я оттого и расти перестал — до двенадцати лет совсем не рос. В училище отдали: там начал жрать и стал подниматься. А пуще в пасалтыре морили.
- Что это такое за «пасалтырь»?
- Чулан, — землемер так называл. «Бросить, скажет, его в пасалтырь», — меня и бросят, да и позабудут без корму. А там еще тесно, все стена перед носом, Я от этого пасалтыря и зрение испортил, что все в стенку смотрел. В училище привели — за два шага доски не видел.
- Вы в каком были училище?
- В гимназии.
- Окончили курс?
- Нет; у меня от битья память глупая.
- А потом?
- В технологию.
- Что же тут, больше учились или больше читали?
- Больше всего опять жрать было нечего, а иногда и читали.
- А что читали?
- Много — не помню.
- Стихи или прозу?
- И стихи и прозу.
- И ничего не помните?
- Одни стихи помню, потому что много списывал их.
- Какие?
- Начало божественное, а потом политическое:
- И вы подобно так падете,

Как с древ увядший лист падет,
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет.
— Это — говорю, — «Властителям и судиям».
— Вот, вот, оно самое.
— Зачем же вы его списывали?
— Всем нравилось.
— Да ведь это державинское стихотворение: оно есть печатное.
— Ну, рассказывайте-ка.
— Не верите?
— Разумеется.
— Ну так знайте же, что это переложение псалма, и оно было в хрестоматии, по которой мы, бывало, грамматический разбор делали.
— Ну, а мы не делали.
— Бедняжки.
— Ничего не бедняжки.
— А когда вы окончили свою технологию?
— Я ее не кончал.
— Почему?
— Политическая история помешала.
— А какая же это была история?
— Наши студенты на двор просились.
— Для какой надобности?
— Как для какой надобности? Без двора разве можно? двор заперли, и некуда деться: мы проситься. Бударь говорит: нельзя на двор — от начальства не велено, а мы его отпихнули, и пошел бунт.
— Верно, прежде была какая-нибудь распря.
— Я тогда не ходил, у меня за ухом юрунда какая-то вспухла, и ее в тот день только распороли.
— Как же вы этим не оправдались?
— А как это оправдаться, стали нас показывать, — бударь на меня говорит: «Вот и этот черномордый тоже на двор просился». Меня отставили, а ему велели изложить. Он говорит: «Я не пушал, а он, как Спиноза, промеж ног проюркнул». Меня за это арестовали.
— За Спинозу?
— Да.
— Долго же вы были под арестом?
— Нет; я скоро в деревню уехал, — меня графиня выпросила.
Он, к крайнему моему удивлению, назвал одно из самых великосветских имен. Я впервые ему не поверил.
— Почему она вас знала?
— Ничего не знала, а у нас был директор Ермаков, которого все знали, и он был со всеми знаком, и с этой с графинею. Она прежде жила как все, — экокес танцевала, а потом с одним англичанином познакомилась, и ей захотелось людей исправлять. Ермаков за нас заступался, рассказывал всем, что нас «исправить можно». А она услышала и говорит: «Ах, дайте мне одного — самого несчастного». Меня и послали. Я и идти не хотел, а директор говорит: «Идите — она добрая».
— И что же: вправду так вышло?
— Ничего не правда. Пустили к ней скоро — у нее внизу особый зал был. Там люди какие-то, — всё молились. Потом меня спросила: «Читал ли Евангелие?» Я говорю: «Нет». — «Прочитайте, говорит, и придите». Я прочитал.
— Всё прочитали?
— Всё.

- Что же — понравилось вам?
- Разумеется, мистики много, а то бы ничего: есть много хорошего. Почеркать бы надо по местам...
- Вы так и графине отозвались?
- Не помню, — да ведь еще раньше генерал Дубельт говорил... Я читал об этом, а с графинею... не помню... Все равно она была дура. Она мне долбила все про спасение, только мне спать захотелось, а ничего не понял.
- Что же такое было непонятное?
- «Надо прийти ко Христу». Очень рад, — только как это сделать? Или будто я спасен... Почему я это знаю! Или про кровь там и все этакое: ничего по-настоящему нельзя понять. Я сказал, что я этого не понимаю и мне это не нужно. Она стала сердиться: «Оставим, говорит, до деревни, — вы там поймете». Дорогою хотела меня с собой посадить и читать, а потом во второй класс послала; две девки, я да буфетчик. Мы и поссорились.
- Какое же вам до них дело было?
- Подлости говорят и бесстыдство: я это ненавижу; а потом с мужиком скандал вышел — все и пропало.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вот в чем заключался этот эпизод — нелепый, курьезный и отрывочный, как все эпизоды своеобразной эпопеи Шерамура.

— Мы поехали, — начал он. — Графиня сама села в первый класс, и детей и старую гувернантку англичанку тоже там посадили, а две девки и я да буфетчик во втором сели. Буфетчик мне подал билет и говорит:

«Графиня вам тут велела».

Я говорю:

«Мне все равно». А как они стали разные глупости говорить, я и ушел в третий класс к мужикам.

— Какие же такие нестерпимые глупости они говорили?

— Всякие глупости, всё важных из себя передо мною представляли: одна говорит, что ее американский князь соблазнить и увезть хотел, да она отказалась, потому что на пароходе ездить не может, будто бы у нее от колтыханья морская свинка делается. Противно слушать, а на первой станции при нас большая история вышла: мужика возле нашего вагона бить стали. Я говорю: «За что?» А кондуктор говорит: «Верно, заслуживает». Я самого мужика спросил: за что? а он говорит: «Ничего!» Я подскочил к графине, говорю: «Видите, бесправие!» А она закричала: «Ах, ах!» и окно закрыла. Буфетчик говорит: «Разве можно беспокоить». Я говорю: «Если она христианка, она могла за бедного заступиться». А он: «С какой стати этак можете? — вы ангелист». А я говорю: «А ты дурак». И повздорили. Они и начали про студентов намеки. «Теперь, говорит, все взялись за этот ангелизм. Коим и не стоило звания своего пачкать, и те нынче счета считают. У нас тоже теперь новый правитель — только вступил, сейчас счета стал перемарывать. „Зачем, говорит, пельсики пять с полтиной ставить, когда они по два рубля у Юлисеева? — Это воровство“. Ах ты дрянная юная! Мы при твоём отце не такие счета писали, и ничего, потому что то был настоящий барин: сам пользовался и другим не мешал; а ты вон что!»

Девки так и ахают:

«Ишь, подлец! ишь, каналья!»

А тот говорит;

«Ну так я ему сейчас и ввернул, чего он и не думал: „Мало ли что, говорю, у Юлисеева, мы бакалейщика Юлисеева довольно знаем, что это одна лаферма, а продает кто попало, — со всякого звания особ“. — „К чему мне это знать?“ говорит. „А к тому-с, что там все продается для обыкновенной публики, а у нас дом, — мы домового поставщика имеем — у него берем“. — „Вперед, говорит, у Юлисеева брать“. — „Очень хорошо, говорю, только

если их сиятельство в каком-нибудь фрукте отравят, так я не буду отвечать“».

Девки визжат: «Ловко, ловко! Ожегся?»

«Страфил! и весь энгелизм спустил: „Бери, говорит, негодай, у своего поставщика, а то ты и вправду за три целковых кого угодно отравишь“».

А девки радостно подхватывают: «Очень просто, что так! — очень просто!» И сами что-то едят, а буфетчик мне очистки предлагает: «У вас, говорит, желудок крепкого характера, — а у меня с фистулой. Кушайте. А если не хотите, мы на бал дешевым студентам за окно выбросим». А потом вдруг все: хи-хи да ха-ха-ха, и: «точно так, как наше к вашему». Я этого уже слушать не мог и пересел к мужикам.

— Что же вас в этих словах особенно возмутило?

— Ну как же: цинизм: «наше к вашему». — Разве я не понимаю?

— Да я-то, — говорю, — не понимаю: что тут такого особенно циничного.

— Ну оставьте, пожалуйста, — очень это понятно.

— Извольте; оставляю, но все-таки где вы видите цинизм — не понимаю.

— Ну, а я понимаю: я даже в Петербург хотел вернуться и сошел, но только денег не было. Начальник станции велел с другим, поездом в Москву отвезть, а в Петербург, говорит, без билета нельзя. А поезд подходит — опять того знакомого мужика; которого били, ведут и опять накалывают. Я его узнал, говорю: «За что тебя опять?» А он говорит: «Не твое дело». Я приехал в Москву — в их дом, и все спал, а потом встал, а на дворе уже никого, — говорят: уехали.

— Вас бросили?

— Не взбудили. Я проспал — пошел на станцию за книгами — книги свои взять — и вижу, опять поезд подъехал, и опять того знакомого мужика бьют. Я думаю: вот черт возьми! — и захотел узнать: за что! А он, как его отбили, с платформы соскочил и прямо за ворота, — снял шапку и на все сорок сороков раскрещивается. Я говорю: «Ты бы, дурак, чем башкой по пустякам кивать, — шел бы к мировому». — «А мне чего, говорит, без мирового не хватает?» — «Шея-то небось болит?» — «Так что же такое: у нас шея завсегда может болеть, мы мужики: а донес господь — я ему и благодарствую». — «А что били тебя — это ничего?» — «А какая важность, господа лише дрались, да мы терпели — и перетерпели: теперь они и сами обосели — стали смирные». — «Вот от этого, говорю, в тебе и нет человеческой гордости, а ты стал скотина». — «Через что такое, отвечает, скотина, когда я своих родителей знаю». — «Экое, говорю, животное: никаких чувств в тебе нет». А он начал сердиться: «Что ты, говорит, ко мне вяжешься: какое еще чувство, если мне так надобе». — «Отчего же это так надобе, чтобы тебя на всякой станции били?» — «Ан совсем, говорит, не на всякой». — «Я, говорю, видел». — «А мне, говорит, это еще лучше тебя известно: всего четыре раза за путину похлопали, только на больших станциях, где билет проверяют. Какое же тут чувство? потолкают и вон, а я на другой поездок сяду, да вот бог дал, ничего не платя и доехал». Понимаете, какой отличный народ! Я его практическому смыслу подивился, и как у меня полтора рубля было, я ему помочь хотел. «Дальше, спрашиваю, куда-нибудь поедешь?» — «Дальше мне теперь все равно что рукой подать — всего в Тульскую губернию: мы с Москвой-то суседи». — «А все же ведь и тут опять чугунка». — «Простое дело, что чугунка». — «Так опять деньги надо». Он посмотрел и говорит: «Это не твое расположение». — «Да у тебя есть деньги или нет?» — «С чего так нет: мы мужики, а не то что, — мы работаем, а не крадем, чтобы у нас не было. У нас что надобе есть». — «А то лучше, говорю, признайся: я тебе дам». — «Нам чужого не надо: у нас вот они свои, кровные». Вытащил кошель и хвалится: «Видишь, говорит, что есть название от бога родитель, — вот я родитель: я побои претерпел, а на билет ничего не извел — без билета доехал. Все, что заработал, — вот все одно цело — деткам везу; а еще захочу, так и в церкву дам за свое здоровье. Понимаешь?» — «Глупо, говорю, в церковь давать». — «Ну, этого говорить не смей, а то вот что...» И кулак мне к носу. — Что за народ! что за народ! — воскликнул Шерамур и даже впотьмах весь расцветился. — Я, — говорит, — не вытерпел: «Молодец, говорю, пойдем, я тебя угощу в трактире». А он сейчас кошель скорей прятать и

стал уходить. Я за ним, а он от меня еще шибче, шибче, да на углу хлоп, упал и растянулся. «Чего ты, говорю, дурак, бежишь?» — «А ты чего, говорит, меня гонишь: я ведь твоего не прошу». — «Чего же ты меня боишься?» — «Ты деньги увидел и скрасть хочешь», и с этим как дернет во всю мочь: «Каррраул!» Нас обоих и забрали.

— Куда?

— В часть.

— Выпустили?

— Да; на другой день пристав приехал, расспросил обо мне и послал к графине: действительно ли я с нею? Оттуда дворник их знакомого художника прислал, тот поручился, меня и отпустили. А у мужика там, в части, рубль пропал. Он после сказал мне: «Это твоя вина, — я за тебя заключался, — ты должен мне воротить», — я отдал...

— Вы, значит, на него не сердились?

— Нет, да ведь он умен, он мне сказал: «Я бы, говорит, от тебя и не бежал, да боялся, что у тебя вумственные книжки есть. А то, сделай милость, буду на угощении благодарен». Чай с ним вместе пили. Отличный мужик. «А если еще остача есть, говорит, купи моим деткам пряничного конька да рыбкину. Я свезу — скажу: дядька прислал, — детки малые рады будут». Хороший мужик. Мы поцеловались.

— Значит он вас до грошика обобрал?

— Я сам отдал.

— А зачем?

— Отдал, да и все.

— А сами куда и с чем пошли?

Шерамур только рукой махнул.

— Тут, говорит, — у меня началась самая тяжкая пора, я едва рассудок не потерял.

— Отчего же собственно?

— От ужасного божества... беда что такое было.

— Верно, опять графиня?

— Да; и другие, — если бы англичанка моего этого спасения верою не подкургузила, так я погиб бы от святости.

— Валяйте, валяйте, — говорю, — разве можно на таком интересном месте останавливаться: сказывайте, что такое было?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В московском доме графини, где она провела сутки и уехала далее, по-видимому совсем позабыв о Шерамуре и не сделав на его счет никаких распоряжений, он нашел того профессора живописи, который за него поручился.

Это был единственный человек, к которому наш герой мог обратиться в своем положении. Он так и сделал. Считая имена недостойными человеческого внимания пустяками, Шерамур не знал, как звали художника, но, по его словам, это был человек пожилой и больной. Он жил со своим семейством, занимая один из флигелей в доме графа, который считал себя покровителем какого-то московского художественного учреждения. Остальной дом был пуст и оберегался одним старым лакеем. Лакей этот питал какие-то особенные чувства к профессору и свел к нему Шерамура. Тот выслушал чудака и говорит:

— По-моему, вам не стоит за графинею ехать.

— Я, — говорит Шерамур, — спросил, отчего? А он не отвечает. Большущее что-то пишет и все помазикает кистями и отскочит: высматривает.

«Я, — говорит, — не советую... — И опять мазикает. — Графиня, я думаю... вами тяготится».

«Сама, — говорю, — пригласила».

«Это ничего. — И опять помазикал, отскочил и смотрит в кулак на картину, и говорит: — Это ей все равно; они люди, особенные, у них это ничего-с».

И еще помазикал, помазикал, а потом положил свои снасти, закурил трубочку и сел против картины.

«Вы, — спрашивает, — „Эмиля“ Руссо читали?»

«Не читал, а слышал: опыт какой-то делали — воспитать человека».

«Вот, вот, вот! — вот и вы на этот опыт взяты: вы лучше удирайте».

«А что она мне сделает?»

«Да нехорошо, — говорит, — с ними возиться. Ведь ей делать нечего — вот ее забота. Ее отец, бывало, для собственной потехи все лечил собственных людей, а эта от нечего делать для своей потехи всех ко спасению зовет. Только жаль — собственных людей у них теперь нет, все искать надо, чтобы одной перед другой похвастать: какая кого на свою веру поймала. Всякая дрянь нынче из этою глупостью потехою пользуется: „я, дескать, уверовал — дайте поесть“, а вы студент, — вам это стыдно».

Я говорю:

«Мне это все равно, — я религии не признаю; а если можете пять рублей мне занять, так я поеду, потому что она мне сулила дать школу».

Он говорит:

— Нате вам пять рублей, а школы она вам не даст, а если даст, так вас оттуда скоро выгонит.

А когда я хотел расспросить, отчего не даст? — Он вдруг закашлялся и говорит:

«Ну вас совсем! Если вы такой бестолковый, — ступайте куда хотите: у меня чахотка; а вы... ничего не понимаете».

Шерамур взял пять рублей и отправился к месту своего призвания, где его осетили трагикомические случайности, которые имели на него роковое влияние и довели его до эмиграции.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Во-первых, его не ждали и, как художник отгадал, — не желали видеть в имении, куда он явился не то педагогом, не то Эмилем. Встречен он был сухо, как человек никому не нужный; даже помещения ему не дали, и благотельницы своей графини он не видал. В этом, по его словам, был виноват тот же враг студентов, буфетчик, способный за три целковых отравить кого угодно. Он сбыл Шерамура сначала в чулан при конторе, а потом в каморку при прачечной. У его выломанного порога была ямина, а под окном зольная куча, на которую выбрасывали из кухни всякую нечисть, и тут, как говорил Шерамур, постоянно «ходили пешком три вороны и чьи-то птичьи кишки таскали». В самой же храме здесь была такая жара и духота, что Шерамур, к великому своему удивлению и благополучию, — тяжело заболел: у него сделался карбункул, который он называл: злой чирей. Ему не дали умереть и прислали к нему фельдшера — молодого еврея, который здесь тоже был и врачом и религиозным Эмилем: графиня его второй год воспитывала к христианству. Главный труд обращения его уже был окончен, и по осени он назначался на короткое время на выставку в религиозные салоны Петербурга, а оттуда к отсылке за границу для крещения по наилучшему образцу какой-то из неизвестных сект. Еврей был такой же горький человек, как Шерамур, — он был вырван из солдатчины благодаря тому, что решился оказать склонность к христианству. Он уже второй год жил здесь неизвестно по какому праву и, чувствуя свое рискованное положение, пел стишки и читал «трактатцы», — но он был, разумеется, гораздо находчивее Шерамура и сделал ему важную услугу — спас ему жизнь.

Шерамур лежал без всякого присмотра — его дверь часто некому было затворить, и вороны заходили к нему пешком даже в самую комнату, но фельдшер нашел, что случай этот достоин иного внимания. Он доложил о больном графине и удостоверил ее, что болезнь опасна, но не заразна. Он знал, что это был для нее бенефисный случай: она сейчас же пришла с книжечками и флаконом разведенной водою мадеры и читала Шерамуру о спасении верою. Он ничего не понял, а она ушла, оставив ему трактатцы, но флакон унесла.

Еврей ему сделал выговор:

— Что вам такого, — говорит, — понимать, — спросит: «погиб?» — говорите; «погиб», — а если «спасен», так «спасен».

— А что это значит? — добивался Шерамур,

— Ничего не значит, — один разговор, а за то вам будут хорошую пищу присылать и мадеры, — а вы еще слабы. — Он взял оставленные трактатцы, посмотрел и говорит: — Вот по этой погиб, а по этой спасен. Я скажу, что вы читали и пошли на спасенье.

Прием оказался хорош. В тот день Шерамуру, наперекор всем проискам буфетчика, прислали супу и котлет, а после обеда пришла графиня и принесла новых трактатцев и флакон. Еврей сказал, что больной слаб, и графиня его не утруждала; она спросила его только: «Видите, что вы погибли...» Он отвечал: «Погиб». Она стала на колени и долго молилась. Шерамур из всей молитвы запомнил только: «еще молим тебя, господи, и еще молим тебя». Она спросила: имеет ли он сколько-нибудь Христа? Он поморщился, но сказал: «Немножко имею». Она еще помолилась, а потом ушла, но флакон оставила. С тех пор его стали отлично кормить, и графиня к нему приходила с трактатцами и флаконом, а также приводила раза два англичанку, и обе возле него молились. Он вел себя, как учил еврей: но все путал, говорил то «погиб», то имеет Христа.

Еврей заметил по своим приметам, что это долго стоит на лизисе, — вскрыл Шерамуру нарыв и сказал: «Ну, теперь скажите: „спасен“». Шерамур так и сделал. Он был «спасен», графиня утешалась; она приобрела Христу первого нигилиста и велела Шерамуру по выздоровлении приходить к ней, чтобы петь с верными и учить детей писать и закону божию. И как с этих пор лично ей он уже был неинтересен, то она его бросила, а буфетчик опять стал ему посылать вместо «куричьего супу» — «свинячьи котлеты» и вместо «кокайского вина» — «подмадерный херес». Продолжали навещать Шерамура только фельдшер да англичанка, которая в эту пору и явилась изобретательницею его нынешней клички. Графиня при первом взгляде на него назвала его «Черномор» — что ему и очень шло, графинины горничные сделали из этого «черномордый», — но и это было кстати, а англичанка по-своему все перековеркала в «Шерамур». Однако, впрочем, и это тоже имело свою статью, хотя в смысле иронии.

Впрочем, началось это без иронии. Никому не благодарный и ни на кого не жаловавшийся, Шерамур при воспоминании об этой даме морщил брови.

— С губкою, — говорит, — все приходила, и с теплой водичкой, — чирей размывать. Я сяду на край кровати, а она стоит, — на затылке мне мочит, а лицо мое себе в грудь прижмет — ужасно неприятно; она полная и как зажмет лицо, совсем дышать нельзя, а она еще такие вопросы предлагает, что видно, какая дура.

— Какие же вопросы, Шерамур?

— «Приятно ли?» — «Разумеется, говорю, от теплой воды хорошо, а дышать трудно». Или: «Ти ни о чем не дюмаешь?» Говорю: «О чем мне думать?» — «А ти, говорит, дюмай, ти дюмай!» После было выдумала еще мне лицо губкой обтирать, но это я сразу отбил — говорю: «Уж это, пожалуйста, не надо; у меня здесь не болит».

— Да она, верно, в вас влюбилась?

— Ну вот еще! Просто дура.

— А чем же у вас с нею все кончилось?

— Еще что скажете!

— А что?

— Да никогда ничего и не начиналось; а просто как я выздоровел и сунулся в это божество — сейчас пошли отовсюду неприятности.

— Вы не умели петь или не умели преподавать?

— Я не пел, а там чай с молоком давали, так я просто ходил сидеть, чтоб чаю дали.

— Вам не нравилось, как графиня говорит?

— Глупости.

— Однако хуже попов или лучше, толковее?

- У попов труднее.
- Чем?
- У них, как тот мужик говорил, «вумственнее» — они подите-ка какие вопросы закатывают.
- Я, — говорю, — не знаю, о чем вы говорите.
- Ко мне раз поп пришел, когда я ребят учу: «Ну, говорит, отвечай, что хранилось в ковчеге завета!» Мальчик говорит: «расцветший жезл Аваронов, чашка с манной кашей и скрыжи». — «А что на скрыжах?» — «Заповеди», — и все отвечал. А поп вдруг говорил, говорил о чем-то и спрашивает: «А почему сие важно в-пятых?» Мальчонка не знает, и я не знаю: почему сие важно в-пятых. Он говорит: «Детки! вот каков ваш наставник — сам не знает: почему сие важно в-пятых?» Все и стали смеяться.
- Ученики ваши?
- Ребятишки отцам рассказали: «Учитель, мол, питерский, а не знает: почему сие важно в-пятых? Батюшка спросил, а он и ничего». А отцы и рады: «какой это, подхватили, учитель, это — дурак. Мы детей к нему не пустим, а к графинюшке пустим: если покосец даст покосить — пусть тогда ребятки к ней ходят, поют, ништо, худого нет». Я так и остался.
- Ни при чем?
- Да, так ходил, думал до осени, но тут... подвернулось...
- Новая история?
- Да, из-за пустого лакомства.
- Понятно, нетерпение знать: как и какая сладость сей жизни соблазнила Шерамура? Почему сие было важно в-пятых?
- Дело это содержалось в англичанке.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Пожилая дама, о которой заходит речь, была особа, описания которых не терпит английская литература, но которых зато с любовью разрабатывает французская. Смелейшие из английских писателей едва касаются одной стороны — их ипокритства, но Тэн обнаружил и другие свойства этих тартюфок. Их вкус мало разборчив, их выбор падает на то, что менее афиширует. В большинстве случаев это бывает собственный кучер или собственный лакей. Внешняя фешионабельность и гадкая связь идут, ничего не нарушая и ничему не препятствуя. Если нет собственного кучера и лакея, тогда хорош и католический монах. Эти лица пользуются очень хорошою репутациею во многих отношениях, особенно со стороны скромности. Вообще английский культ дорожит в таких обстоятельствах скромностью субъекта и таким его положением, которое исключало бы всякое подозрение. Шерамур был в этом роде. Но тут дело было несколько лучше: по тонким навыкам старой эксцентрички Шерамур ей даже нравился. Она была свободна от русских предрассудков и не смотрела на него презрительными глазами, какими глядела «мизантропка», опрокидывающая свою ипохондрию, или ее камеристки, этот безвкуснейший род женщин в целой вселенной. Крепкий, кругленький, точно выточенный торс маленького Шерамура, его античные ручки, огневые черные глаза и неимоверно сильная растительность, выражавшаяся смолевыми кудрями и волнистою бородою, производили на нее впечатление сколько томное, столько же и беспокоящее. Он представлялся ей маленьким гномом, который покинул темные недра гор, чтобы изведать привязанность, — и это ничего, что он мал, но он крепок, как молодой осленок, о котором в библии так хорошо, рассказано, как упруги его ноги и силен его хребет как бодро он несется и как неутомимо прыгает. Она знала в этом толк. Притом он был franc novice²⁸ — это возбуждало ее опытное любопытство, и, наконец, он молчалив и совершенно не подозрителен.

²⁸ добровольный послушник — франц.

И вот мало-помалу, приучив его к себе во время его болезни, англичанка не оставляла его своим вниманием и тогда, когда он очутился без дела без призора за то, что не знал: «почему сие важно в-пятых?»

Она была терпеливее графини и не покидала Шерамура, а как это делалось на основании какого-то текста то графиня не находила этого нимало странным. Напротив: это было именно как следует, — потому что они не так как мы примемся да и бросим, а они до конца держатся правила: *fais ce que tu dois*.²⁹

И та действительно держалась этого правила: она учила Шерамура по-французски, употребляла его для переписки «стишков» и «трактатцев» и часто его подкармливала, спрашивая на его долю котлетку или давая ему каштаны или фисташки, которые он любил и ел презабавно, как обезьяна.

Все это шло в своем порядке, пока не пришло к развязке, самой неожиданной, но вполне соответственной дарованиям и такту Шерамура. Но это замечательнейшее из его приключений нельзя излагать в моих сокращениях оно должно быть передано в дословной форме его собственного рассказа, насколько он сохранился в моей памяти.

— Она, — говорит Шерамур, — раз взяла меня за бороду, и зубами заскрипела. Я говорю: «Чего это вы?»

«Приходи ко мне в окно, когда все уснут».

Я говорю:

«Зачем?»

«Я, — говорит, — тебе сладости дам».

«Какой?»

Она говорит:

«Кис-ме-квик».

Я говорю:

«Это пряник?»

Она говорит:

«Увидишь».

Я и полез. Из саду невысоко: она руку спустила и меня вздернула.

«Иди, — говорит, — за ширмы, чтобы тень не видали».

А там, за ширмой, серебряный поднос и две бутылочки: одна губастая, а одна такая.

Она спрашивает:

«Чего хочешь: коньяк или шартрез?»

«Мне, — говорю, — все равно».

«Пей что больше любишь».

«Да мне все равно, — а вот зачем вы так разодеты?»

«А что такое?»

«То, — говорю, — что мне совестно — ведь вы не статуя, чтоб много видно».

— А она, — вмешиваюсь, — как была разодета?

— Как! скверно, совсем вполодета, рукава с фибрами и декольте до самых пор, везде тело видно.

— Хорошее тело?

— Ну вот, я будто знаю? Мерзость... по всем местам везде духами набрыськано и пудрой приляпано... как лишаи... «Зачем, говорю, так набрыськались, что дышать неприятно?»

«Ты, — говорит, — глупый мальчик, не понимаешь: я тебя сейчас самого набрыськаю», — и стала через рожок дуть.

Я говорю:

«Оставьте, а то уйду».

²⁹ исполняй свой долг — франц.

Она дуть перестала, а вместо того мокрую губку с одеколоном мне прямо в лицо.
«Это, — говорю, — еще что за подлость!»
«Ничего, — говорит, — надо... личико чисто делать».
«А, — говорю, — если так, то прощайте!» — Вскочил из-за ширмы, а она за мною, стали бегать, что-то повалили; она испугалась, а я за окно и прыгнул.
— Только всего и было с англичанкой?
— Ну, понятно. А буфетчик из этого вывел, что я будто духи красть лазил.
— Как духи красть? Отчего он это мог вывести?
— Оттого, что когда поймал, от меня пахло. Понимаете?
— Ничего не понимаю: кто вас поймал?
— Буфетчик.
— Где?
— Под самым окном: как я выпал, он и поймал.
— Ну-с!
— Начал кричать: «энгелиста поймал!» Ну тут, разумеется, люди в контору... стали графу писать: «пойман нигилист».
— Как же вы себя держали?
— Никак не держал — сидел а конторе.
— Сказали, однако, что-нибудь в свое оправдание?
— Что говорить — от нигилиста какие оправдания.
— Ну, а далее?
— Убежал за границу.
— Из-за этого?
— Нет; поп подбавил: когда графиня его позвала сочинять, что нигилисты в дом врываются и чтобы скорее становой приезжал, поп что-то приписал, будто я не признаю: «почему сие важно в-пятых?» Фельдшер это узнал и говорит мне: что это такое — «почему сие важно в-пятых?»
Я говорю: «Не знаю».
«Может быть, это чего вышнего касается? Вам теперь лучше бежать».
Я и побежал.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как он бежал? — это тоже интересно.
— Пешком, — говорит, — до самой Москвы пер, даже на подметках мозоли стали. Пошел к живописцу, чтобы сказать, что пять рублей не принес, а ухожу, а он совсем умирает, — с кровати не вставал; выслушал, что было, и хотел смеяться, но поманул и из-под подушки двадцать рублей дал. Я спросил: «На что?» А он нагнул к уху и без голосу шепнул:
«Ступайте!»
С этим я ушел.
— Куда же?
— В Женевку.
— Там были рады вам?
— Ругать стали. Говорят: «У англичанки, верно, деньги были, — а вы — этого не умели? Дурак вы».
— Неужто даже не приютили?
— Ничего не приютили: я им не годился, — говорят: «вы очень форменный, — нам надо потаенные».
— Тогда вы сюда?
— Да: здесь вежливо.
Он сказал это с таким облегченным сердцем, что даже мне легко стало. Я чувствовал,

что здесь — период; что здесь замысловатая история Шерамура распадается, и можно отдохнуть.

Я его спросил только: уверен ли он, что ему в России угрожала какая-нибудь опасность? Но он пожал плечами, потянул носом, вздохнул и коротко отвечал:

— Все же уйти — безопаснее.

Мы встали с края оврага, в котором Шерамур начал волчьим вытьем, а кончил божеством. Пора было вернуться в Париж — дать Шерамуру жрать.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Если бы я не имел перед собой примера «старца Погодина», как он скорбел и плакал о некоем блуждавшем на чужбине соотиче, то я едва ли бы решился сознаться в неодобрительном поступке: мне было жаль Шерамура, и я даже положил себе им заняться и довести его до какого-нибудь предела. Словом: я вел себя совсем как Погодин. Разбирая рапсодии Шерамура, я готов был иногда подозревать его в сумасшествии, но он не был сумасшедший; другой раз мне казалось, что он ленивый негодяй и дармоед, но и это не так; он всегда ищет работы, и что вы ему поручите, — он сделает. Не плут он уже ни в каком случае, — он даже несомненно честен. Он так, какой-то заморух: точно цыпленок, который еще в яйце зачичкался. Таких самые сердобольные хозяйки, как только заметят, — обыкновенно «притюкивают» по головешке и выбросят, — и это очень милостиво; но Шерамур был не куриный выводок, а человек. Родись он в селе, его бы считали «ледашеньким», но приставили бы к соответственному делу — стадо пасти или гусей сгонять, и он все-таки пропитался бы и даже не был бы в тягость; но среди культурного общества — он никуда не годился.

Однако все-таки его лучше увезть в Россию, где хоть сытнее и много дармоедов не умирает с голоду. Поэтому самое важное было дознаться, тяготит ли над ним какое обвинение и нельзя ли ему помочь оправдаться?

Но как за это взяться? К счастью, однако, явился такой случай. Но прежде, чем дойти до него, надо сказать два слова о том, как Шерамур жил в Париже.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

С первого дня своего прибытия в Париж он был так же обеспечен, как нынче. Никогда у него не было ни определенного жительства, ни постоянных занятий. Он иногда что-то зарабатывал,нося что-то в гаре, иногда катал какие-то бревна. Что ему за это платили — не знаю, но знаю, что иметь столько денег, чтобы пообедать за восемьдесят сантимов и выспаться в ночлежном доме, — это было его высшее благополучие. В большинстве же случаев у него не было никакой работы, тем более что, перекатывая бревна, он сломал ногу, а от носки тяжестей протирал свои очень хорошенькие дамские плечи, пленившие англичанку. Очевидно, в работе у него ни на что не доставало сноровки. Отдыхал же он днем и ночью на бульварах. Это трудно, но можно в Париже, а по привычке Шерамуру даже не казалось трудно.

— Я, — говорил он, — ловко спать могу. То есть, он мог спать сидя на лавочке, так, чтобы этого не заметил *sergent de ville*.³⁰

— А если он вас заметит?

— Я на другую иду.

— Ведь и с другой сгонят?

— Не скоро, — с полчаса можно поспать. Надо только переходить на ту сторону, откуда он идет.

³⁰ полицейский — франц.

Но теперь обращаемся к случаю.

Раз, выйдя из русской церкви, я встретился в парке Монсо с моею давнею знакомою, г-жою Т. Мы сидели на скамеечке и говорили о тех, кого знали и которых теперь хотелось вспомнить. А нам было о ком побеседовать, так как знакомство наше с этою дамою началось еще во дни восторгов, пробужденных псковскою историею Гемпеля с Якушкиным и тверскою эпопеею «пяти дворян». Мы вместе перегорали в этих трепетаниях — потом разбились: она, тогда еще молодая дама с именем и обеспеченным состоянием, переселилась на житье в Париж, а я — мелкая литературная сошка, остался на родине испытывать тоску за различные мои грехи, и всего более за то, чего во мне никогда не было, то есть за какое-то направление.

С тех пор минуло без малого четверть столетия, и многое изменилось — одних не стало, другие очутились слишком далеко, а мы, которых здесь свел случай после долгой разлуки, могли не без интереса подвергнуть друг друга проверкам: что в ком из нас испарилось, что осталось и во что переложилось и окрасилось. Она в это время видела больше меня людей интересных, и притом таких, о которых я имел только одни книжные понятия. В дни ее отъезда я помню, что она горела одним постоянным и ни на минуту не охлажденным желанием стать близко к Гарибальди и к Герцену. О первом она писала, что ездила на Капреру, но Гарибальди ей не понравился: он не чуждался женского пола, но относился к дамам слишком реально. Он ей показался лучше издали, но почему и как — я ее о том не расспрашивал. Герцен тоже не выдержал критики: он сделался под старость «не интересен как тайный советник» и очень капризен и придирчив. Дама весьма хорошо умела представлять, как она краснела за него в одном женевском ресторане — где он при множестве туристов «вел возмутительную сцену с горчицницей» за то, что ему подали не такую горчицу. Он был подвязан под горло салфеткою и кипятился совершенно как русский помещик. Все даже оборачивались... И это был тот, чьи остроумные клички и прозвища так смешили либеральный Петербург шестидесятых годов! Это невозможно было снести: дама махнула рукой на подвязанного салфеткой старца и даже в виде легкой иронии отыгралась с ним на его же картах: она называла его «салфеточным». Затем ее внимание занимали Клячко, Лангевич, Пустовойтова, наконец, папа Пий IX, от которого она тогда только что возвратилась и была в восторге по причине его «божественного лица».

— Кротость, ласковость и... какое обхождение, — говорила она, — всякому он что-нибудь... Пусть его бранят, что он выдумал непогрешимость и зачатие, но какое мне дело! Это все в догматах... Боже мой! кто тут что-нибудь разберет, а не все ли равно, как кто верит. Но какая прелесть... В одном представлении было много русских: один знакомый профессор с двумя женами, то есть с законной и с романической, — и купец из Риги, раскольник, — лечиться ездил с дочерью, девушкою... Всех приняли — только раскольнику велели фрак надеть. Старик никогда фрака не надевал, но купил и во фраке пришел... И он со всеми, со всеми умел заговорить — с нами по-французски, а раскольнику через переводчика напомнил что-то такое, будто они государю говорили, что «в его новизнах есть старизна», или «старина». Говорят — это действительно так было. Раскольник даже зарыдал: «Батюшка, говорит, откуда износишь сие, отколь тебе все ведомо?» — упал в ноги и вставать не хочет. «Старина, старина», говорит... Мне это нравится: с одной стороны находчивость, с другой простота... Здесь теперь в моде Берсье: он изменил католичеству, сделался пастором и всё против папы... Я и его не осуждаю — у него талант, но он не прав, и я ему прямо говорю: вы не правы; папу надо видеть; надо на него глядеть без предубеждения, потому что с предубеждением все может показаться дурно, — а без предубеждения...

Но только что она это высказала, — на повороте аллеи как из земли вылутился Шерамур — и какой, — в каком виде и убранстве! Шершавый, всклоченный, тощий, весь в пыли, как выскочивший из-под грязной застрехи кот, с желтым листом в своей нечесаной бороде и прорехами на блузе и на обоих коленях.

При появлении его я просто вздрогнул, перервал оживленный рассказ моей дамы и, пользуясь правами короткого знакомства, взял ее за руку и шепнул:

— А вот посмотрите-ка без предубеждения.

— На кого? Вот на этого монстра?

— Да; я после расскажу вам, какое под этим заглавием содержание.

Она прищурилась, рассмотрела и... тоже вздрогнула.

— Это ужасно! — прошептала она вслед Шерамуру, когда он минул нас, не удостоив не единого взгляда, с понурою, совершенно падающею головою. Надо было думать, что нынешнюю ночь, а может быть и несколько ночей кряду, его мало пожалел *sergent de ville*,

Моя дама схватилась за карман, достала портмоне и, вынимая оттуда десять франков, сказала:

— Вы можете ему передать это?..

— О, да, — говорю, — с удовольствием. Но, позвольте, вот что мне пришло в голову: вы ведь, верно, знакомы с кем-нибудь из здешних наших дипломатов?

— Еще бы — даже очень дружески.

— Помогите же этому бедняку.

— В чем?

— Надо узнать: преступник он или нет?

— Охотно, только если они знают. Но они, кажется, о русских никогда ничего не знают.

— Они, — говорю, — могут узнать.

Она вызвалась поговорить с одним из близких ей людей в посольстве и через два дня пишет мне, чтобы я прислал к ней Шерамура: она хотела дать ему рекомендательную карточку, с которою тот должен пойти к г. N.N. Это был видный чиновник посольства, который обещал принять и выслушать Шерамура, и если можно, помочь ему очистить возвратный путь в отечество.

— А тогда, — прибавила дама, — я беру на себя собрать ему средства на дорогу, буду просить в Петербурге... — и проч., и проч.

Думаю, чего же еще лучше надо?

Передаю все это Шерамуру и спрашиваю:

— Что вы на это скажете?

— Да я, — отвечает, — не понимаю: зачем это?

— Вы разве не хотите в Россию?

— Нет; отчего же — могу; там пищеварение лучше.

— Так идите к этой даме.

— Хорошо. Она дура?

— С какой же стати она будет дураю?

— Аристократка.

— А они разве все дураки?

— Да я не знаю, я так спросил: какая она?

— Это вам все равно, какая она, — она очень добрая, принимает в вас участие и в силах вам помочь, как никто другой. Вот все, что вам достаточно знать и идти.

— И ничего из этого не будет.

— Почему не будет?

— Ведь я сказал.

— Нет, не сказали.

— Аристократка.

— Так вы не пойдете?

Он помолчал, поводил носом и протянул:

— Ну, черт с ней, — пожалуй, схожу.

Он это делал совершенным *grande signore*³¹ — чтобы отвязаться. Ну да и то слава богу,

³¹ важным синьором — итал.

что хоть мало на лад идет. Моя знакомая женщина с душою — она его поймет и на его невежество не обидится.

Другое дело — как он аттестует себя в самом посольстве перед русским дипломатом, которого чувства, конечно, тоньше и который, по уставам своего уряда, «по поступкам поступает», а не по движению сердца.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Я ждал развязки дипломатических свиданий Шерамура с нетерпением, тем более что все это затеялось накануне моего отъезда, и вот мне не терпится: вечером в тот день, как он должен был представиться своей патронессе, я еду к ней и не могу отгадать: что застану? Но застаю ее очень веселую и довольную.

— Ваш Шерамур, — говорит, — презабавное существо. Как он ест! — как звереныш.

— Вы его кормили?

— Да; я его брала с собой...

— Вот как, я всегда знал, что у вас предоброе сердце, но это еще шаг вперед.

— Отчего?

— Оборвыш он этакой, а вы его водили и вместе обедали.

— Ах, это-то! ну полноте, ведь здесь не Россия. Не беспокойтесь меня хвалить: в Петербурге я бы этого ни за что не сделала, а здесь что же такое... Я такая, как все, и могу делать, что хочу. Гарсоны на него только всё удивлялись. Я им сказала, что это дикий из русской Сибири, и они его всё рассматривали и были к нему очень вежливы. А кстати: вы заметили, как он кости грызет?

— Нет, — говорю, — что-то не заметил.

— Ах, это прелестно: он их грызет, как будто какую-нибудь жареную вермишель, и чавкает, как поросенок.

— Да, — говорю, — насчет изящества с ним нужна снисходительность.

Но она и приняла это снисходительно и даже рассказала оставшийся у меня в памяти анекдот о другом, еще более противном способе обращаться с костями. Дело шло об одном ее великосветском кузене Вово и состояло в том, что этот кузен, русский консерватор, удостоясь чести кушать за особым столиком с некоторою принцессою, ощутил неодолимое желание показать, как он чтит этот счастливый случай. Он остановил лакея, убравшего тарелку с косточками птички, которую скушала принцесса, выбрал из них две или три, завернул в свой белый платок и сказал, что делает это с тем, чтобы «сберечь их как святыню». Но, к сожалению, все это было дурно принято: принцесса обиделась такою грубостью, и кузен Вово лишился вперед приглашений. Дама называла это «русским великосветским бебезизмом», который ставила без сравнения ниже шерамурова чавканья, — а я ее не оспаривал.

— Конечно, — говорю, — такой неделикатности Шерамур не сделает, но вот меня занимает: как он поведет себя с дипломатом? Предупредили ли вы того: какой это экземпляр?

— Как же — я все сказала.

— Ну, и что же он?

— Очень смеялся.

Я покачал головою и сомнительно спросил:

— Зачем же он очень смеялся?

— А что?

— Да так... Зачем это они все нынче любят очень смеяться, когда слышат о страдающих людях. Лучше бы немножко посмеяться и больше о них подумать.

И она вздохнула и говорит:

— Правда, правда, правда.

— А когда, — спрашиваю, — их rendez-vous?³²
— Завтра.
— Ну, хорошо. А Шерамуру вы не дали никакого наставления, как ему себя держать?
— Нет.
— Это очень жаль.
— Да не могла, — говорит, — он так скоро убежал, что мы и не простились.
— Отчего же так?
— Не знаю; должна была на минуту выйти и предложила ему почитать книгу, а когда пришла опять в комнату, — его уже не было; девушка говорит: швырнул книгу и убежал, как будто за ним дьявол гнался.
— Что за чудак!
— Да.
— Что же это может значить?
— Я вас могла бы об этом спросить, вы его больше знаете.
— Так, — говорю, — но надо знать; что перед этим было?
— Перед этим? — перед этим он съел довольно много омлета с малиной.
— А, — говорю, — это тоже не шутка.
И мы оба, казалось нам, поняли и рассмеялись.
— Но, Впрочем, — добавила она, — я надеюсь, что все будет хорошо.
А я, признаться, на это не надеялся, хотя сам не знал, почему все добрые надежды на его счет были мне чужды.
Затем, следующий день я правел в беготне и в сборах и не видал Шерамура. Консьерж говорил, что он приходил, узнал, что меня нет дома, и ушел, что-то написав на притолке.
Я долго разбирал и прочитал нечто несообразное и не отвечавшее главному интересу минуты. Надпись гласила: «Оставьте мне пузырянку глазных капель, что помогают от зубной боли».
Я знал, что он один раз, когда у него болели зубы, взял в рот бывшие у меня глазные капли и тотчас исцелил. Это меня тогда удивило и насмешило, и я отдал консьержу «пузырянку», чтобы передал Шерамуру, если он не застанет меня дома. Но он не приходил за глазными каплями — вероятно, зубы его прошли сами собою.
На следующий день он не явился, и еще день его тоже не было, а потом уже наступил и день моего отъезда. Шерамур как в воду канул.
Я был в затруднении; мне чрезвычайно хотелось знать: чем его бог через добрых людей обрадовал, но Шерамура нет и нет — как сквозь землю провалился.
Хоть неловко было докучать моей даме после прощания, но я урвал минутку и еду к ней, чтобы узнать: не был ли у ней мой несмысл или не слыхала ли о нем чего-нибудь от того, к кому его посылала.
Приезжаю и не застаю ее дома: говорят, она на целую неделю уехала к приятельнице за Сен-Клу.
Конечно, больше искать слухов было негде, и я помирился с той мыслью, что, вероятно, так завтра и уеду, ничего не узнав о Шерамуре. А потом, думаю, он, пожалуй, так и затеряется, и в сознании моем о нем останется какой-то рассучившийся обрывок... Будет и жалко и досадно всю жизнь воображать, что он по-прежнему все голоден и холоден и блуждает от одной скамьи до другой, не имея где выпастись.
Кто настоящий эгоист, кто с толком любит свой душевный комфорт, тот должен тщательно избегать таких воспоминаний. Вот почему, между прочим, и следует знакомиться только с порядочными людьми, у которых дела их всегда в порядке, и надо их бросать, когда фортуна поворачивается к ним спиной. Это подлое, но очень практическое правило.
И вот прошла последняя ночь, прошло утро; я сбегал позавтракать невозможными

³² свидание — франц.

блюдами m-me Grillade, — все в чаянии встретить там Шерамура, и, наконец, за час до отхода поезда нанял фиакр, взял мой багаж и уехал.

Я знал, что приеду на амбаркадер рано; это мне было нужно, чтобы встретиться с земляком, с которым мы условились ехать в одном поезде, притом я хотел поправить свой желудок несколько лучшим завтраком.

О Шерамуре размышлять было уже некогда, но зато он сам очутился передо мною в самую неожиданную минуту, и притом в особенном, мало свойственном ему настроении.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Перед самым главным подъездом амбаркадера северной дороги есть небольшой ресторан с широким тротуаром, отененным пятью густыми каштанами, под которыми расставлено множество белых мраморных столиков. Здесь дают настоящее мясо и очень хорошее красное вино. Таких ресторанчиков тут несколько, и все они главным образом существуют на счет отъезжающих и провожающих; но самый лучший из них это тот ресторан с пятью каштанами, о котором я рассказываю. Тут мы условились встретиться с земляком, с которым хотели держать путь, и как сговорились, так и встретились. Комиссионер избавил нас от всяких трудов по сдаче багажа и покупке билетов, и мы имели добрый час досужего времени для последнего завтрака под тенью парижских каштанов. Мы заняли один столик, спросили себе бифштексы и вина и не успели воткнуть вилки в мясо, как на империале выдвинувшегося из-за угла омнибуса появился Шерамур, которого я издали узнал по его волнующейся черноморской бороде и бандитской шляпе. Он и сам меня заметил и сначала закивал головою, а потом скоро соскочил с империала и, взяв меня за руку, сжал ее и не только подержал в своей руке, но для чего-то поводил из стороны в сторону и даже промычал:

— Ну!

— Да, — говорю, — вот я и уезжаю, Шерамур.

Он опять пожал и поводил мою руку, опять что-то промычал и стал есть бифштекс, который я велел подать для него в ту минуту, когда только его завидел.

— Пейте вино, Шерамур, — поднимайте прощальную чашу, — ведь мы с вами прощаемся, — пошутил я, заговорив *in hoch romantischem Stile*.³³

— Могу, — отвечал он.

Я налил ему большой кубок, в который входит почти полбутылки, и спросил еще вина и еще мяса. Мне хотелось на расставанье накормить его до отвала и, если можно, напоить влагою, веселящею сердце.

Он выпил, поднял другой кубок, который я ему налил, сказал «ну», вздохнул, и опять поводил мою руку, и опять стал есть. Наконец все это было кончено, он выпил третий кубок, сказал свое «буде», закурил капоральную сигаретку и, опустив руку под стол, стал держать меня за руку. Он, очевидно, хотел что-то сказать или сделать что-то теплое, дружественное, но не знал, как это делается. У меня в груди закипали слезы.

Я воспользовался его рукожатием и тихо перевел в его руку двадцатифранковый червонец, которым предварительно подавил его в ладонь. Он почувствовал у себя в руке монету и улыбнулся, улыбнулся совершенно просто и отвечал:

— Могу, могу, — и с этим зажал деньги в ладонь с ловкостью приказного старых времен.

— Ну как же, — говорю, — расскажите, любезный Шерамур, каков вышел дебют ваш в большом свете?

— Где это?

— В посольстве.

³³ в высокоромантическом стиле — нем.

- Да, был.
- Что же... какой вы там имели успех?
- Никакого.
- Почему?
- Я не знаю.
- Ну, шутки в сторону; рассказывайте по порядку: вы нашли кого нужно?
- Нашел. Я сначала попал было куда-то, где написано: «Извещают соотечественников, что здесь никаких пособий не выдают». Там мне сказали, чтобы смотреть, где на дверях заплатка и на заплатке его имя написано.
- Ну, вы нашли заплатку и позвонили.
- Да.
- Вас приняли?
- Да, пустили.
- И вы рассказали этому дипломату всю вашу историю?
- Шерамур посмотрел на меня, как делал всегда, когда ему не хотелось говорить, и отвечал:
- Ничего я ему не рассказывал.
- Но я не мог позволить ему так легко от меня отделаться и пристал:
- Отчего же вы не рассказали? Ведь вы же с тем пошли...
- Да что ж, как ему рассказывать, если он не вышел.
- Что это за мучение с вами: «приняли», «не вышел», — говорите толком!
- Лакей пустил и велел пять минут подождать. Я подождал пять минут, а потом говорю: пять минут прошло. Лакей говорит: «Что делать, — monsieur,³⁴ верно, позабыл». А я говорю: «Ну так скажи же своему monsieur, что он свинья», — и ушел.
- Я просто глаза вытаращил: неужто это и все, чем кончилась моя затея?
- А что же вам еще надо?
- Шерамур, Шерамур! Злополучное и бедное создание: да разве это так можно делать?
- А как еще надо делать?
- Да вы бы подумали — ведь мы из-за этого подняли целую историю: впутали сюда светскую даму...
- А ей что такое?
- Как что такое? Она вас рекомендовала, за вас старалась, просила, а вы пошли, обругали знакомого ей человека в его же доме и при его же слуге. Ведь это же так не водится.
- Отчего — не водится?
- Ну вот еще: «отчего?» — не водится, а вдобавок ко всему, может быть, вы поступили не только грубо, но и совершенно несправедливо.
- Шерамур сделал вид резкого недоумения и вскричал:
- Как это... я несправедливо сделал!
- Да; вы несправедливо сделали; этот чиновник в самом деле мог быть занят, мог и позабыть.
- Ну, перестаньте.
- Отчего?
- Какие у них занятия!
- У дипломатов-то?
- Да!
- А сношения?
- Все глупости.
- Покорно вас благодарю.

³⁴ господин — франц.

— Разумеется; у них жрать всегда готовое. Я, батюшка, проходил, сам видел: внизу там повар в колпаке, и кастрюли кипели. Чего еще: жри пока не надо.

Я дольше не выдержал, рассмеялся и приказал подать еще вина.

Шерамур осветился; он почувствовал, что его пытка кончилась: он опять изловил мою руку, помял ее, поводил, вздохнул и сказал:

— Бросим... не надо ничего.

— Это дело о вашей судьбе бросить?

— Да; какая судьба... Ну ее!..

— А мне, — говорю, — ужасно даже это ваше равнодушие к себе.

— Ну вот — есть о чем.

«Русский человек, — думаю себе, — одна у него жизнь, и та — безделица». А он вдруг оказывает мне снисхождение.

— Вы, — говорит, — можете, если хотите, лучше в Петербурге.

— Что это такое?

— Да прямо Горчакову поговорите.

— А вы думаете, что я такая персона, что вижу Горчакова запросто и могу с ним о вас разговаривать и сказать, что в Париже проживает второй Петр Иванович Бобчинский.

— Зачем Бобчинский — сказать просто, так, что было.

— А вы думаете, я знаю, что такое с вами было?

— Разумеется, знаете.

— Ошибаетесь: я знаю только, что вас цыгане с девятого воза потеряли, что вас землемер в тесный пасалтырь запирали, что вы на двор просились, проскользнули, как Спиноза, и ушли оттого, что не знали, почему сие важно в-пятых.

— Вот, вот это все и есть, — больше ничего не было.

— Неужто это так — решительно все?

— Да, разумеется, так!

— И больше ничего?

— Ничего!

— Припомните?

Припоминал, припоминал и говорит:

— Я у одной дамы был, она меня к одному мужчине послала, а тот к другому. Все добрые, а помогать не могут. Тогда один мне работу дал и не заплатил — его арестовали.

— Вы писали, что ли?

— Да.

— Что же такое?

— Не знаю. Я середину писал — без конца, без начала.

— И политичнее этого у вас всю жизнь ничего не было?

— Не было.

— Ну так вот же вам последний сказ: как вы себя дурно ни держали в посольстве, ступайте опять к этой даме и расскажите ей откровенно все, что мне сказали, — и она сама съездит и попросит навести о вас справки: вы, верно, невинны и, может быть, никем не преследуетесь.

— Нет; к ней-то уж я не пойду.

— Почему?

Молчит.

— Что же вы не отвечаете?

Опять молчит.

— Шерамур! ведь мы сейчас расстаемся! говорите: почему вы не хотите опять сходить к этой даме?

— Она бесстыдница.

— Что-о?

Я от нетерпения и досады даже топнул и возвысил голос:

благородною целию просветить и наставить на истинный путь Искандера, нежные чувства к коему «старец» исповедал в своей «Простой речи о мудрых вещах» (1874 г.). Потом представился Иван Сергеевич Тургенев — этот даровитейший из всех нас писатель — и «мягкий человек»; пришел на ум и тот рослый грешник, чьи черты Тургенев изображал в Рудине, — человек, которого Тургенев видел и наблюдал здесь же, в этом самом Париже, и мне стало не по себе. Это даже жалостно и жутко сравнивать. Там у всех есть вид и содержание и свой нравственный облик, а это... именно что-то цыганами обрonnenное; какая-то затерть, потерявшая признаки чекана. Какая-то бедная, жалкая изморина, которую остается хоть веретеном встряхнуть да выбросить... Что это такое? Или взаправду это уже чересчур хитро задуманная «загадочная картинка», из тех, которыми полны окна мелких лавчонок Парижа? Глупые картинки, а над ними прилежно трудят головы очень неглупые люди. Из этих головоломок мне особенно припоминалась одна: какой-то завиток — серая размазня с подписью: «Qu'est-ce que c'est?». ³⁵ Она более всех других интригует и мучит любопытных и сбивает с толку тех, которые выдают себя за лучших знатоков всех загадок. Они вертят ее на все стороны, надеясь при одном счастливом обороте открыть: что такое сокрыто в этом гиероглифе? и не открывают, да и не откроют ничего — потому что там нет ничего, потому что это просто пятно и ничего более.

По возвращении в Петербург мне приходилось говорить кое-где об этом замечательном экземпляре нашей эмиграции, и все о нем слушали с любопытством, иные с состраданием, другие смеялись. Были и такие, которые не хотели верить, чтобы за видимым юродством Шерамура не скрывалось что-то другое. Говорили, что «надо бы его положить да поласкать каленым утюжком по спине». Конечно, каждый судил по-своему, но была в одном доме вальжная няня, которая положила ему суд особенный притом прорекла удивительное пророчество. Это была особа фаворитная, которая пользовалась в доме уважением и правом вступать с короткими знакомыми в разговор и даже делать им замечания.

Она, разумеется, не принадлежала ни к одной из ярко очерченных в России политических партий и хотя носила «панье» и соблюдала довольно широкую фантазию, но в вопросах высших мировых coterie ³⁶ держалась взглядов Бежецкого уезда, откуда происходила родом и оттуда же вынесла запас русских истин. Ей не понравилось легкомыслие и шутливость, с которыми все мы отнеслились к Шерамуру; она не стерпела и заметила это.

— Нехорошо, — сказала она, — человек ничевошный, над ним грех смеяться: у него есть ангел, который видит лицо.

— Да что же делать, когда этот человек никуда не годится.

— Это не ваше дело: так бог его создал.

— Да он и в бога-то не верит.

— А господь с ним — глуп, так и не верит, и без него дело обойдется, ангел у него все-таки есть и о нем убивается.

— Ну уж будто и убивается?

— Конечно! Он к нему приставлен и соблюдет. Вы как думаете: ведь чем плоше человек, тем ангел к нему умней ставится, чтобы довел до дела. Это и ему в заслугу.

— Ну да, вы как заведете о дураке, так никогда не кончите. Это у вас самые милые люди.

Она слегка обиделась, начала тыкать пальцем в рассыпанные детьми на скатерти крошки и с дрожанием в голосе докончила:

— Что они вам мешают, дурачки! их бог послал, терпеть их надо, может быть, он определится к такой цели, какой все вы ему и не выдумаете.

³⁵ Что это такое? — Франц.

³⁶ ценностей — франц.

— А вы этому верите?

— Я? почему же? верю и уповаю... А вот вам тогда и будет стыдно!

«Вот она, — думаю, — наша мать Федорушка, распродобрая, распретолстая, что во все края протянулась и всем ласково улыбнулась.

Украшайся добротою, если другим нечем».

Няня казалась немножко расстроена, и с нею больше не спорили и теплой веры ее не огорчали, тем более что никто не думал, что всей этой истории еще не конец и что о Шерамуре, долго спустя, получатся новейшие и притом самые интересные известия.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Прошло около двух лет; в Герцеговине кто-то встряхнул старые счеты, и пошла кровь. Было и не до Шерамура. У нас шли споры о том, как мы исполнили наше призвание. Ничего не понимая в политике, я не принимал в этих спорах никакого участия. Но с окончанием войны я разделял нетерпеливые ожидания многих, чтобы скорее начинала дешеветь страшно вздорожавшая провизия. Под влиянием этих нетерпеливых, но тщетных ожиданий я, бывало, как возвращаюсь с прогулки, сейчас же обращаюсь к этажерке, где в заветном уголке на полочке поджидает меня докучная книжка с постоянно возрастающей «передержкой». И вот раз, сунувшись в этот уголок, я нахожу какую-то незнакомую мне вещь — сверток, довольно дурно завернутый в бумагу, — очевидно книга. На бумаге нет ничьего имени, но есть какие-то расплывшиеся письма, писанные в самый край «под теснотку», как пишут неряхи. Начинаю делать опыты, чтобы это прочесть, и после больших усилий читаю: «долг и за процент ж. в. х.». Больше ничего нет.

Снимаю бумагу и нахожу книгу Ренана «St. Paul»,³⁷ но прежде, чем я успел ее развернуть, из нее что-то выпало и покатилося. Начинаю искать, шарить по всем местам: что бы это такое вывалилось? Зову служанку, ищем вдвоем, втроем, всё приподнимаем, двигаем тяжелую мебель и, наконец, находим... Но что? — Находим чистейшего золота двадцатифранковую французскую монету! Не может же быть, чтобы она валялась тут исстари: пол метут, натирают, и не могли бы ее не заметить... Нет; монета положительно сейчас только выпала из книги. Но что это такое? зачем и кто мог сделать мне такое приношение? Ломаю голову, припоминаю, не положил ли я ее сам, соображаю то и другое и не прихожу ни к какому результату. Опять разыскиваю оберточную бумагу и рассматриваю письма, возлагая на них последнюю надежду узнать: что это за явление? Ничего более: «долг и за процент ж. в. х.». Характер почерка неуловим, потому что писано на протекучке, и все расплылось... Соображаю, что здесь долг и что — процент, или «за процент»: монета долг, а книга «за процент», или наоборот? И потом, что значат эти «ж. в. х.»? Нет сомнения, что это не первые буквы какого-либо имени, а совсем что-то другое... Что же это такое? Подбираю, думаю и сочиняю: все выходит как-то странно и некстати: «жму вашу руку», — но последняя буква не та: «жгу ваш хохол», тут все буквы соответствуют словам, но для чего же кому-нибудь было бы нужно написать мне такую глупость? Или это продолжение фразы: посылаю «долг и за процент» еще вот что, например, — «желтый ватошный халат» или «женский ватошный халат»... Все никуда не годится. Глупый водевильный случай, а интересует! Даже во сне соображаю и подбираю «желаю вам хорошего». Вот, кажется, это пошло на дорогу! Еще лучше: «живу весьма хорошо»; или... наконец, батюшки мои! батюшки, да это так и есть: не надлежит ли это читать... «жру всегда хорошо»? Решительно это так, и не может быть иначе. Но тогда что же это значит: неужто здесь был Шерамур? Неужто он появился в Петербурге именно теперь, в это странное время, и проскользнул ко мне? Какова отчаянность! Или, может быть, его простили и разрешили, и он ходит смело по вольному паспорту... Ведь, говорят, все возможно в природе.

³⁷ «Святой Павел» — франц.

Я припомнил, что девушка мне дня три-четыре назад рассказывала о каком-то незнакомом ей господине, который приходил, спрашивал, просил позволения «обождать» и ждал, но не дождался, ушел, сказавши, что опять придет, но до сих пор не приходил.

Расспрашивал: каков был приходивший ростом, дородством, лицом — красотою? — ничего не добился. Все приметы описывают точно на русском паспорте: к кому хочешь приложи — всем одинаково впору будет.

Остается одно: книгу поставить на полку, золото спрятать, а незнакомца ждать. Я так и сделал, и ждал его терпеливо, с надеждою, что авось он и совсем не придет. Так минул день, два, неделя и месяц, и наконец, когда я совсем перестал ждать, — он вдруг и явился.

Звонок; девушка отпирает дверь и спешно бежит вперед гостя шепнуть:

— Это тот, который ждал.

Легкое волнение, и выхожу навстречу.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Входит человек средних лет, совершенно мне незнакомый и называет себя незнакомым же именем.

Прошу садиться и осведомляюсь: чем могу служить.

— Я, — говорит, — недавно из-за границы; жил два месяца в Париже и часто виделся там с одним странным земляком, которого вы знаете. Он дал к вам поручение — доставить посылочку. Я ее тут у вас и оставил, чтобы не носить, но позабыл сказать прислуге.

— Я, — отвечаю, — нашел какую-то посылочку; но от кого это?

Он назвал Шерамура.

— Как же, — говорю, — очень его знаю. Ну что он, как, где живет и все так же ли бедствует, как бедствовал?

— Он в Париже, но что касается бедствования, то в каком смысле вы это берете... Если насчет жены...

— Как, — говорю, — жены!.. Какая жена! Я спрашиваю: есть ли у него что есть?

— О, разумеется — он вовсе не бедствует: он «проприетер», женат, сидит grand mangeur³⁸ в женином ресторане, который называет «обжорной лавкой», и вообще, говоря его языком, «жрет всегда хорошо», — впрочем, он это даже обозначил начальными буквами, в полной уверенности, что вы поймете.

— Понять-то я понял, но что же это... как же это могло случиться... Ангел... конечно, много значит... но все-таки...

Всматриваюсь в моего собеседника — думая, коего он духа, — не вышучивает ли он меня, сообщая такие нестаточные дела о Шерамуре? Нет; насколько мне дано наблюдательности и проникновения, господин этот производит хорошее впечатление — по-видимому, это экземпляр из новой, еще не вполне обозначившейся, но очень приятной породы бодрых людей, не страдающих нашим нервическим раздражением и беспредметною мнительностью, — «человек будущего», который умеет смотреть вперед без боязни и не таять в бесплодных негодованиях ни на прошлое, ни на настоящее. Люди прошлого ему представляются больными с похмелья; он на них не сердит и даже совсем их не судит, а словно провожает на кладбище, приговаривая: вам гнить, а нам жить.

Я люблю эту породу за то, что в ней есть нечто свежее, нечто уже не наше, нечто нам не свойственное, но живучее и сильное. Они выросли как осот на межах между гряд, и их уже не выкопешь. Русь будет скоро не такая, как мы, а такая — как они, и слава богу, слава богу!

Поняв, что мой гость относится к этому сорту, я сейчас же усадил его в более покойное кресло, велел подать чай и бесцеремонно (как следует с такими людьми) попросил его рассказать мне все, что ему известно о моем Шерамуре, — как он женился и сделался

³⁸ обжора — франц.

парижским «проприетером».

Гость любезно согласился удовлетворить мое любопытство.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Шерамуру помогла славянская война в Турции. Но как он мог вздумать воевать? Не противно ли это всей его натуре и всем доводам его бедного рассудка? И против кого и за кого он мужествовал и сражался? Все это было, как вся его жизнь, — бестолково.

Вот как шло дело: он начитал в газетах, что турки обижают бедных славян, отнимая у них урожай, стада и все, что надо «жрать». Этого было довольно: долго не рассуждая, он восстал и пошел по образу пешего хождения в Черногорию. Он попал в «Волдавию» или «Молдахию», где соединился с «доброходцами» и явился в Сербию, образцовые порядки которой делали нелишним здесь даже Шерамура. Он поступил куда-то, во что-то, о чем, по своему обыкновению, не умел дать никакого резонного отчета. На войне он «барабанил», чего я даже не мог ожидать от него, но потом нашел, что в Сербии у всех жратвы больше, чем он видел во весь свой век. «Даже вином прихлебывают». Никаких иных интересов, достойных борьбы за жизнь и смерть, Шерамур, разумеется, не признавал, но в этом его нельзя винить, потому что он не мог их чувствовать. И вот он духом возмутился: за что он сражается: если у них есть, что жрать, то чего же им еще надо? «Черти проклятые!.. с жиру бесятся! к нам бы их спровадить, чтобы в черных избах пожили да мякины пожевали!» Славянские претензии Шерамур все считал пустяками, которые Аксаков в Москве выдумал вместе с Кокоревым, и Шерамур рассердился и «вышел», то есть перестал барабанить. Некоторое время он слонялся без дела, но ощущал себя в полном довольстве: «везде, говорит, есть кукуруза и даже вином запивают, как в царстве небесном». Таково его понятие о царстве небесном. Но вот, переходя туда-сюда, с плохими и бестолковыми расспросами, он был, наконец, приведен своим ангелом куда ему следовало; напал на таких людей, которые тоже подобно ему подвывали:

Холодно, странничек, холодно,
Голодно, родименький, голодно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Шерамур здесь сейчас «определился». Опять как и под каким заглавием? это он, по непримиримой вражде ко всякой определенности, излагал не ясно; но можно было понять, что он в качестве человека черноморского и с «сербским квитом» был в числе санитаров. Кому-то где-то его отрекомендовал какой-то, по его словам, «очень добрый и вполне неверующий монах». Прозорливый инок уверил кого-то, что лучше Шерамура нет, чтобы «приставить к пище». И вот наш чудак в первый раз во всю жизнь попал на место по своему настоящему призванию. И зато, говорят, как же он действовал: крошке не позволял пропасть, все больным тащил. Сам только «хлёбово» ел, а свою порцию котлет солдатам дробил, выбирая, который ему казался «заморенней». Начальство, «сестры» — все им были довольны, а солдатики цены не слагали его «добродетели».

Даже которого, говорят, монах на смерть отысповедует, он и тому, мимо идя, еще кусочек котлетки в рот сунет — утешает: «жри». Тот и помирать остановится, а за ним глазом поведет.

И кончилось все это для Шерамура чем же? тем, что он сам не заметил, как, при его спартанстве, у него к концу службы собралась от жалованья «пригоршня золота». Сколько его там было — он не считал, но повез все в свою метрополию, к «швейцарцам», — чтобы делить. Привез к одному из митрополитов и «высыпал». Стали говорить и поспорили: тот «всё» хотел взять на «дело», но Шерамур не дал. Он настаивал, чтобы прежде всего

«сотворить какую-то вселенскую жратву», то есть «пожрать и других накормить», и ограничился на этом так твердо, что «тот цапнул с краю и ушел». Сколько именно он у него взял — Шерамур не знал: «цапнул с краю», да и баста. Деньги были не считанные, да и считать их незачем: «все равно не воротить».

Шерамур увидел, что здесь делают неладно, и уехал в Париж. Здесь он знал честную душу, способную войти во все его многопитательные виды и оказать ему самое непосредственное содействие; драгоценный человек этот была Tante Grillade.

Она приняла Шерамура и его золото совсем не так, как «швейцарские митрополиты».

Tante Grillade ввела Шерамура в свой *arrière boutique*,³⁹ что составляет своего рода «святая святых» еврейской скинии, и пригласила его всыпать там все золото в комод, запереть и ключ взять с собою. *Vous* положили пока не собирать. Tante сказала, что знает нечто лучшее, — и назначила Шерамуру прийти к ней вечером, когда она будет свободна. Они вместе должны были обдумать, как лучше распорядиться таким богатством, которое в практичных руках нечто значило.

Шерамур, которому до сих пор никакие комбинации никогда не приходили, думал просто: оставить деньги у Танты и водить к ней голодных, пока она подаст счет и скажет: *tout est fini*.⁴⁰ Но Tante Grillade была гораздо дальнзорче и умнее Шерамура, и притом, на счастье его, она имела на него планы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Вечером, когда Шерамур пришел к Танте, он встречен был необыкновенно: «кормежная» зала, дальше которой и во дни благополучий не заходил Шерамур, теперь была свободна от гостей, подметена и убрана. В ней еще было влажно и пахло «картофелем и маркофелем», но в угле, шипя и потрескивая, горела маленькая угольная печечка и очищала воздух. Зато через открытую дверь виднелось настоящее чудо декоративного устройства. *Arrière boutique*, которая днем казалась отвратительным колодезным днищем, куда никогда не проникал свет и где Tante Grillade едва поворачивалась, как черепаха в шайке, теперь представляла очень уютный уголок. Серая стена, которая заслоняла весь свет широкого, но совершенно бесполезного окна, теперь была заслонена пышною белою драпировкою с фестонами, подхваченными розовыми лентами. Вместо слабых, тщедушных рефлексов внешнего света комната была до изобилия освещена и согрета огнем двух ламп, стоявших по углам неизбежного мраморного камина. Вся эта комната была так мала, что представляла какой-то клубочек, в котором ничто не расходилось, а все сматывалось. На пространстве каких-нибудь четырех квадратных аршин тут были и двуспальная кровать Tante Grillade, и комод, где теперь хранилось Шерамурино золото, и камин с веселым огоньком, и круглый стол, на котором прекрасно дымилась чистая вазочка с бульоном из настоящего мяса. Кроме этого, тут же стояли литр красного вина и корзинка с лакомством «четырех нищих».

Сама Grillade тоже была в авантаже: седые крендели на ее висках были загнуты как-то круче и крепче обыкновенного и придавали ее опытному лицу внушительность и в то же время нечто пикантное.

Здесь у места сказать, что Шерамур в этот раз впервые вкушал хлеб и пил сок винограда *tête-à-tête* с женщиной. И он не рассуждал, но чувствовал истину догмата, что для счастья недостаточно достать кусок хлеба, но нужно иметь с кем его приятно съесть.

Затрапезный разговор их никем не записан, но он был очень серьезен и шел

³⁹ задняя комната за лавкой — франц.

⁴⁰ все кончено — франц.

исключительно о деньгах. Tante доказала Шерамуру, что если держать его деньги в ее комодике и кормить на них *voуou*, то этих денег хватит не надолго; они выйдут, и *voуou* опять будет не на что кормить.

Шерамур согласился и задумался, а Tante Grillade показала выход, который состоял в том, чтобы пустить деньги в оборот. Тогда эти деньги дадут на себя другие деньги, и явится неистощимая возможность всегда жрать и кормить других.

Шерамур захопал руками: «Voila⁴¹ — говорит, — *voila*, это и нужно! Одна беда: как пустить деньги, кому доверить; кто не обманет?»

Шерамур закивал головою: ему вспомнились его швейцарские митрополиты, и он как перепел забил: «Вуй, вуй, мадам, вуй, вуй, вуй».

А потом, когда вслед за тем Tante встала, чтобы подать *compote des pommes*,⁴² Шерамур, глядя ей стыдливо в спину, вымолвил:

— Да возьмите вы эти деньги, Танта!

— На какой предмет, *monsieur*?

— Да делайте что знаете, наживайте.

Но Танта нашла это невозможным.

— Я наживу и умру, а вас выгонят.

— Гм... Да... подлость... А сколько бы человек можно постоянно кормить?

— Можно человека два кормить раза по два в неделю, или, еще лучше, троих каждое воскресенье. И кроме того, раз в год можно сделать особый пир, на котором никого не будет, кроме бездомных *voуou*.

У Шерамура даже сердце забилося от такой мысли, и когда Tante Grillade, вооружась щипчиками, принялась за *noisettes*,⁴³ он застенчиво приступил к ней.

— Ну так как же, Tante, — как это сделать? — а Tante, надавливая крепкий орех, посмотрела на него и дружески ответила:

— Надо жениться.

— Ну вот! Зачем?

— Затем, что у вас тогда все будет общее, и если жена наживет — это принадлежит и мужу. Тогда, например, будь это я: я отдаю вам весь мой ресторан, и мы никого сюда больше не пустим.

— Да, да, вот... это самое: никого, никого не пустим! — вскричал Шерамур, и в сладостном исступлении ума и чувств он схватил Tante за обе руки и мял их и водил из стороны в сторону, пока та, глядя на него, расхохоталась и напомнила ему, что пора убираться.

На другой день вечером его опять повлекли сюда и мысль о пире нищих и, может быть, приютный уголок при камине, чего он, по своей непрактичности, не знал, как устроить даже с деньгами.

И вот он опять явился и говорил:

— Можно ли, чтобы опять... здесь... по-вчерашнему?

— Ага, я понимаю: ты, плутишка, верно нашел себе жену и хочешь со мной говорить? Хорошо, хорошо, — садись: вот вино и баранина.

— Да; а жены нет. Вот если бы вы... захотели...

— Найти тебе невесту?

— Нет, если бы... вы... сами...

— Что это? уж не хочешь ли ты сделать позднюю поправку к проступку третьего

⁴¹ Вот — франц.

⁴² яблочный компот — франц.

⁴³ орешки — франц.

Наполеона?

— Именно это!

— Но едва ли это будет тебе по силам, мой бедный мальчик. Ведь тебе с чем-нибудь тридцать, а мне сорок восемь.

Видя простоту Шерамура, Tante Grillade решила на этот случай сократить свою хронологию более чем на пятнадцать лет, но это было совершенно не нужно. Ни лета, ни наружность Танты не имели в глазах Шерамура никакого значения.

— Это ничего.

— А если так, то вот тебе моя рука и дружба до гроба.

Они обнялись, поцеловались и обвенчались, причем Танта безмерно возросла в глазах мужа через то, что получила какие-то деньги с какого-то общества, покровительствующего бракам.

Вечером у них был «пир нищих» — пир удивительный. Гости пришли даже из Бельвиля, и все один голоднее другого и один другого оборваннее. Шерамур, приодетый Тантой в какую-то куртку, был между ними настоящий король, и они с настоящей деликатностью нищих устроили ему королевское место.

Без всяких ухищрений с ним совершился святой обычай родной стороны: Шерамур был князем своего брачного вечера. Им занимались все: жена, гости и полиция, которая могла заподозрить здесь некоторое движение в пользу наполеонидов.

Особенно возбудителен был один момент, когда подали *beignets aux pommes*,⁴⁴ и три человека, подученные Tante Grillade, вынули из-под стола незаметно туда прятанную корзинку; в корзинке оказался большой, немного увядший венок, дешево купленный Тантою у какого-то капельдинера. В венке были стоптаны несколько цветков, но зато его освежили ярким пучком румяных вишен и перевязали длинным пунцовым вуалем с надписью: «Bon oncle Grillade».⁴⁵

Венок возложили на голову Шерамура и этим актом навсегда лишили его клички, данной ему англичанкою: с сей поры он сделался «теткин муж» и очень много утрачивал в своей непосредственности. Но он об этом не думал. К тому же историческая точность обязывает сказать, что добрый *oncle Grillade* в настоящую торжественнейшую минуту его жизни был пьян, и это не его вина, а вина доброй Танты, которая всеми мерами позаботилась облегчить все предстоящие ему задачи.

И, к чести ее, она с первых же шагов показала, что знает и тактику и практику. Когда *sergent de ville* постучал в дверь, чтобы честная компания разошлась, и довольные необыкновенным угощением *voeu* рассыпались, а *jeunes mariés*⁴⁶ остались одни, Tante Grillade, ни слова не говоря, взяла своего маленького мужа на руки, повесила его венок над кроватью, а самого его раздела, умыла губкою и положила к стенке. Шерамур все выдержал с стоицизмом своего звания и потребовал только одно, чтобы ему дали оставшийся в венке пучок вишен. И когда Tante его удовлетворила, он их немедленно «сожрал» и покорился своей доле.

Но не была ли эта доля слишком сурова? Вот небольшие сведения, которые позволяют кое-что умозаключать об этом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Tante не злоупотребляла своими преимуществами: она была великодушна, как

⁴⁴ оладьи из яблок — франц.

⁴⁵ «Доброму дяде Грильяд» — франц.

⁴⁶ молодожены — франц.

настоящая дочь бульвара. Единственное, что отравляло покой Шерамура, — опять-таки губка — это страшное орудие, которым повсюду ему угрожали женские руки. Но зато он из этого научился навлекать некоторые выгоды в пользу бедных. Если ему встречалась надобность помочь ближнему не в счет абонементу и Танта этому противилась, — он «не давался умыть» и всегда успевал настоять на своем.

Повествователь видел его в такой борьбе и уловил кое-что из ее сути. Он говорил, как они многие сообща хотели кому-то помочь и как к этому стремился дядя Грильяд, но ничего не принес и сам пропал. А потом, когда рассказчик зашел к нему вечером, чтобы увести его на прощальную пирушку, он застал дядю в стирке: Танта только что вытерла ему лицо губкою и обтирала его полотенцем.

Здороваясь с гостем, он сейчас же сунул ему в руку золотой и сказал:

— Передайте, я только сейчас у нее выпросил.

— Но я за вами, чтобы вместе попить.

— Это теперь невозможно.

— Отчего?

— Я занят — видите: меня уже губкой вытерли.

— Тем лучше идти в гости.

— Нет, — как же в гости, — я говорю вам, что я занят. Надо же честно нести свой сакрифис.

И он остался в пользу бедных при своей Омфале.

Сообщил я об этом толстой няне в «панье» и со шнипом. Хлопнула себя она обеими руками по крутым бедрам и расхохоталась.

— Видишь, — говорит, — какое ему вышло определение.

— А как полагаете: счастлив он этим или нет?

— А отчего же не быть счастливым: как она женщина степенная и в виду, так и очень, может быть, счастлив.

И впрямь — все же это лучше, чем было ему во всю его прошлую жизнь.

Я боюсь, что мой Шерамур вам не совсем понятен, читатель, но это не моя вина; я его записал верно. Лично я, по долгому навыку с ним обращаться, все в нем нахожу простым и понятным. Это видовая, а не родовая особенность: он сын своего родителя, и мне в нем видны крупные родственные черты, сближающие его даже с обращавшего его в христианство графинею. Это не новая новинка, а только остатки давнего худосочия. Шерамур такой же «мизантроп, развлекающий свою фантазию», как его родитель и графиня; только он, разумеется, их без сравнения сердечнее; но это взято им не от них, а принесено оттуда, откуда дух дышит — приходит и уходит, но никто его не узнаёт. Шерамур человек ни на что не нужный, точно так же, как и те, и он благополучно догниет в одно с ними время. Вся разница будет в том, что о первых скажут: «они скончались», а о Шерамуре, что он — «окошел». Но, может быть, это не так серьезно, как некоторые полагают, или по крайней мере не составляет самого решительного для вечности с ее бесконечным путем.

Пьеса кончена, и читатель может меня теперь спросить: зачем она попала в одну книгу с рассказами о трех праведниках, с которыми у Шерамура, по-видимому, нет ничего общего в природе?

Такой вопрос очень возможен, и я, предвидя его, спешу дать мой ответ. Шерамур поставлен здесь по двум причинам: во-первых, я опасался, что без него в этой книжке не выйдет определенного числа листов, а во-вторых, если сам Шерамур не годится к праведным даже в качестве юродивого, то тут есть русская няня, толстая баба с шнипом, суд которой, по моему мнению, может служить выражением праведности всего нашего умного и доброго народа.

Впервые опубликовано — «Новое время», 1879.